

ЭРВЕ БАЗЕН

АНАТОМИЯ
ОДНОГО
РАЗВОДА



ЭРВЕ БАЗЕН

**АНАТОМИЯ
ОДНОГО
РАЗВОДА**

РИГА «АВОТС» 1984

ИБ № 1148

Эрве Базен

АНАТОМИЯ ОДНОГО РАЗВОДА

Художник Виталий Ковалев

Редактор Л.Усачева. Художественный редактор В.Ковалев.
Технический редактор С.Зандберга. Корректор И.Елисеева.

Сдано в набор 15.02.84., подписано в печать 07.06.84. Формат 84×108/32.
Типографская бумага № 2. Литературная гарнитура. Высокая печать. 13,02
усл.печ.л. 13,23 усл.кр.—отт. 14,13 уч.—изд.л. Тираж 200000 экз.

Заказ № 834. Цена 1 руб. 60 коп. Издательство «Авотс», 226047 Рига,
бульвар Падомью, 24. Изд. № 46/J-363. Издание подготовлено с использовани-
ем диалоговой издательской системы ДИС при участии ОВЦКП. Отпечатано
в типографии «Циня» Государственного комитета Латвийской ССР по делам
издательств, полиграфии и книжной торговли 226011 Рига, ул.Блауманя, 38/40.

Обложка отпечатана в Образцовой типографии,
226004 Рига, Виенибас гатве, 11.

Базен, Эрве

Б 174 **Анатомия одного развода: Роман/Перевод**
с франц. яз. Ю. Жукова и Р. Измайловой. Пре-
дисл. В. Катаева — Р.: Авотс, 1984.—248 с.

Роман известного французского писателя посвящен проблемам семьи
в буржуазном обществе. Повествуя об одной семье, вступившей на путь
расторжения брака, Базен обнажает социальную структуру этого общества,
показывает казуистическую сущность буржуазного суда.

470300000—46

Б —————.153.84.

М 803(П)—84

84.4Fn

© Editions du Seuil, 1975

© Статья и перевод на русский язык
журнал «Иностранная литерату-
ра», 1977

© Оформление издательство
«Авотс», 1984

ПРЕДИСЛОВИЕ

Роман современного французского писателя Эрве Базена «Анатомия одного развода», названный так в русском варианте с согласия автора, а в подлиннике именуемый «Мадам Экс», — явление во многих отношениях незаурядное хотя бы уже по одному тому, что оно совершенно определенно утверждает в современной западной литературе, склонной к декадансу, путь реалистического романа.

Считается, что основная, если не единственная, тема Базена — это извечная проблема семейных отношений.

А вот что говорит об этом сам Базен в одном из своих интервью: «Многие считают меня специалистом по «семейным трудностям». Можно спорить, так ли это, поскольку, к примеру, мои романы «Головой об стену» и «Встань и иди» не имеют никакого отношения к «семейным трудностям». Но такое толкование вполне понятно, если учесть, что, начиная с «Гадюки в кулаке» и кончая «Супружеской жизнью», я действительно много занимаюсь проблемами семьи».

Теперь к романам на семейную тему прибавился роман «Анатомия одного развода», до сих пор еще неизвестный советским читателям.

«Анатомия одного развода», несомненно, делает Базена одним из самых сильных исследователей семейной проблемы современного буржуазного общества.

В XIX веке было в обычае пользоваться в художественной литературе термином «физиология»: физиология определенного класса, определенной семьи, города, страны и т. д. Базен продолжил этот обычай, идущий со времен Золя, а быть может, из еще более далекого времени. Но Базену показалось слово «физиология» недостаточным. Он пошел дальше своих предшественников: здесь мы имеем дело с «анатомией», ибо романист, видимо, считает, что в особо тяжелых случаях социального заболевания вместо традиционного пера или же шариковой ручки следует применять скальпель хирурга.

И он прав.

Подчас хирургическое вмешательство — единственный

способ спасти больного, в особенности когда речь идет о жизни не какого-нибудь одного человека, а целого человеческого клана или, если хотите, класса. В данном случае класса «мелкой буржуазии», как неоднократно определял сам Базен ту социальную среду, в которой он оперирует скальпелем своего не знающего пощады пера художника-реалиста.

Впрочем, я бы, скорее, назвал Базена не реалистом, а натуралистом, вернее, «натуралистом социальным» или даже просто материалистом, что еще точнее. Впрочем, так оно и есть на самом деле: оперируя в сфере, ограниченной рамками одной супружеской пары, вступившей на путь расторжения своего брака, Базен, в сущности, обнажает социальную структуру всего общества, к которому принадлежит сам.

Сюжет романа прост: разводятся супруги, долго прожившие вместе, имеющие уже четверых детей и вступившие некогда в брак по взаимной любви. И вдруг — развод! Повод — измена мужа. Банальный адюльтер, впрочем, не вполне банальный, так как неверный муж настолько увлечен, что решил жениться на своей любовнице, забыть все прошлое и начать новую жизнь, что в обычных адюльтерах случается не столь часто.

Он разлюбил мать своих четырех детей и готов на все для того, чтобы иметь возможность создать новую семью с новой, желанной, любимой и молодой женщиной.

Ну, что же. Начинается ничем не примечательный, весьма обычный, даже несколько скучноватый в силу своей банальности бракоразводный процесс из числа тех французских бракоразводных процессов, которые в большинстве случаев кончаются тем, что государственная власть в лице своего судебного аппарата разводит мужа и жену, которой возвращает ее девичью фамилию, но, конечно, не может вернуть девичьей юности и невинности. Казалось бы, о чем тут писать, а тем более объемистый роман.

Однако это не так.

Судебное решение о разводе, имеющее силу закона, отнюдь не исчерпывает сюжета. Роман не кончается, а, напротив, только еще начинается: возникает длинный ряд острых послесудебных ситуаций, вытекающих одна из другой в ходе исполнения судебного решения. В силу бюрократической инерции и несовершенства закона судебное решение дает повод к возникновению мучительно длинной цепи дополнительных и зачастую почти непре-

долимых трудностей, сложностей, тупиков, связанных с разделом имущества, продажей дома, проблемой детей — как с ними поступить? — алиментами, различными судебными кассациями и новыми процессами, ведущими не только к трепке нервов, но и к крупным, даже подчас непосильным материальным затратам на адвокатов и так далее, и так далее, не говоря уже о том, что вся эта запутанная юридическая волокита в духе Диккенса болезненно ранит души тяжущихся сторон, а также тягостно отражается на брошенных отцом детях, которых суд, разумеется, присудил матери, однако при этом постановил два дня в месяц в обязательном порядке проводить с отцом.

Можно себе представить всю трудность этого обязательного положения, регламентированного математически точными календарными сроками: второе и четвертое воскресенье каждого месяца и половина всех каникул. Вот уж, что называется, настоящий идиотизм, так как нарушение этого судебного решения одной из сторон дает другой право возбудить новый процесс, связанный с увеличением или уменьшением алиментов.

А то, что дети — живые существа, во внимание не принимается... ими швыряются, как шарами. Короче говоря, все вертится вокруг денег. Во всем решающую роль играют деньги. Деньги, деньги, деньги, только деньги.

Кошмар!

Разворачивая с неуклонной логической и хронологической последовательностью свой сюжет, Базен по ходу действия — неизменно отмечая его повороты календарными отметками (такого-то числа, такого-то месяца и года), что придает роману особую документальную достоверность, — как бы за ниточку вытаскивает на свет божий целую галерею возникающих один за другим персонажей, имеющих непосредственное отношение к содержанию романа, не говоря уже о портретах главных действующих лиц — «ее», «его» и «разлучницы», написанных с блеском, которому могут позавидовать самые лучшие из современных беллетристов; в романе появляются и все люди, сопутствующие аналитическому исследованию, предпринятому писателем. Тут и разного типа адвокаты, судьи, судебные клерки, чиновники, родственники «ее», родственники «его» и «разлучницы», агенты по продаже имущества, рассыльные, полицейские, торговцы, соседи-сплетники, знакомые соседей, вовсе не знакомые любители вмешиваться в чужие дела и т. д. и т. п., причем

главное внимание писателя сосредоточено — хотя и очень незаметно — на четверке брошенных отцом детей, из которых у каждого свой особый, индивидуальный характер и которые все вместе вовлечены в тягостные перипетии развода своих родителей.

Стиль Базена — четкий, точный, строгий, лишенный сентиментальности, скорее стиль судебного документа, чем романа, однако зачастую украшенный чисто разговорными, даже уличными оборотами речи, что делает его особенно живым и естественным: ни одного портрета, ни одной сцены, ни одного слова, не имеющего отношения к операции, которой занят писатель. Каждое слово двигает действие, как в хорошей пьесе. Однако попутно со строгой объективностью повествования вдруг, как бы невзначай, возникают подробности, мелкие, но точные наблюдения, счастливо найденные эпитеты.

Мы убеждаемся, что Базен обладает редким качеством — умеет гармонически сочетать в художественной ткани своего произведения элементы «повествовательного» с «изобразительным». Он повествует изображая и изображает повествуя, что является самым драгоценным свойством литературного мастерства. Обе эти стороны — изобразительное и повествовательное — строго уравновешены.

Завидное золотое равновесие!

Благодаря этому свойству таланта Базена, дочитав роман до конца, вы вдруг замечаете, что перед вами только что было развернуто широкое живописное полотно, где каким-то магическим образом жанровые сцены сочетаются с пейзажем, портреты с натюрмортами, интерьеры квартир и судебных помещений с дождевыми каплями, повисшими на спицах раскрытых зонтиков, а все это вместе является зримой, почти стереоскопической, осязаемой, густонаселенной картиной современного французского города, его мелкобуржуазного общества.

Да вы и сами убедитесь в этом, прочитав роман. Я, например, начал его читать без особой охоты, но вдруг на третьей же странице увлекся и проглотил его буквально залпом, хотя сам принадлежу к совсем другой литературной школе, чем Базен, стараясь в своих вещах избегать хронологичности, и предпочитаю связи формально-логической связь ассоциативную, люблю развернутые метафоры, фигуры умолчания и поступки своих персонажей пытаюсь, что называется, «взять изнутри», пропустив через себя.

Узкая специализация писателя в какой-нибудь одной области (например, военной, медицинской, педагогической, детской) кажется мне весьма опасной для искусства. Писатель должен быть по возможности более широк и вовлекать в сферу своего внимания человеческую жизнь во всех ее личных и социальных аспектах. Тем не менее проза Базена, зачастую имеющая узкое направление, мне очень нравится, быть может, потому, что это проза человека одержимого.

«Одержимая проза».

Подобно Вольтеру, одержимому неистребимой ненавистью к католической церкви и к феодальному строю, его отдаленный литературный потомок, Эрве Базен, одержим ненавистью к несовершенству современных буржуазных государственных институтов и угнетающей глухости мелкобуржуазного общества, разделенного на глухо враждующие между собой семейные кланы, превращающие прекрасное чувство любви мужчины и женщины в унылую супружескую повинность — постоянный источник адюльтера — и в повод для порабощения одной человеческой личности другой.

Базен в корне своем глубоко пессимистичен. Его ирония убивает, он бескомпромиссен в непризнании социальной структуры своего общества. В этом непризнании есть даже что-то толстовское. При всей самобытности базеновского стиля сквозь социальную направленность Золя, сквозь ярость великого Бальзака, сквозь магическую стереоскопичность гонкуровского реализма я замечаю ядовитую, убивающую улыбку Вольтера. Несомненно, Базен в чем-то вольтерьянец.

В романах Базена нечего искать счастливого конца или в крайнем случае выхода из создавшегося положения. Его герои почти всегда оказываются в тупике. Перед ними — непреодолимая стена. Быть может, это происходит потому, что в общественной среде, которую изображает или, вернее, оперирует Базен, существует застарелый предрассудок, заключающийся в том, что люди придают слишком большое значение акту физической близости между мужчиной и женщиной, считая только это высшим наслаждением, высшим блаженством человека. Ведь такого рода любовь есть вечный двигатель жизни. В чем-то это, конечно, справедливо. Но не следует при этом забывать, что существует в мире другая, высшая форма любви —

любовь духовная; дружба между супругами, симпатия, взаимопонимание, уважение, терпимость друг к другу — именно та любовь, о которой неустанно повторял Лев Толстой, противопоставляя ее любви половой и считая ее выходом из трудного жизненного положения. В особенности это ощущается в повести «Семейное счастье».

У Базена такого рода духовная любовь совсем не принимается в расчет, в чем он является последователем мировоззрения Мопассана.

Базен пишет в своем романе «Супружеская жизнь» следующее:

«Пороки супругов могут послужить основанием, чтобы с общего согласия признать брак недействительным. И все же самый главный порок брачной жизни — само время, убивающее основы супружества...»

Это справедливо лишь в том случае, если придается слишком большое значение такому, в сущности, пустяку, как время, а также при отсутствии понятия о высшей форме любви: духовной, над которой время не властно.

Как стилист Базен широко пользуется, как я уже здесь заметил, хронологией. Хронология у него — равноправный элемент языка. У него каждый эпизод романа имеет свою календарную дату, что делает писателя на сегодняшний день вполне современным, даже злободневным, но в будущем неизбежно превратит его роман в несколько старомодный.

Впрочем, ведь и Диккенса мы воспринимаем сегодня несколько старомодным, что не мешает ему быть великим и вечным. Однако Базен умеет кое-где применять и более современные приемы: строфичность прозы, когда писатель оставляет между отдельными особо эмоциональными абзацами пробелы, некие пустоты, что так заметно в печатном тексте. Эти типографские пробелы как бы приближают прозу к стихам, что очень украшает жесткий, сугубо прозаический язык Базена, делая его мягче, пластичнее и даже — я бы рискнул сказать — современнее: так, например, в одной лишь страничке романа «Супружеская жизнь» я насчитал четыре таких типографских пробела, придающих грубоватой прозе прелесть верлибра.

Порой Базен прибегает к формам почти фельетонно-газетным. Иногда это закономерно, но иногда разбивает впечатление стилистического единства, так, например, в «Анатомии одного развода» слишком фельетонно дано описание клуба брошенных жен «Агарь». Читателя эти страницы, конечно, позабавят, но я бы лично свел их к минимуму,

ограничился бы только намеком. Ведь надо же дать пищу и читательскому воображению. В романе нельзя все без исключения разжевывать, нельзя писать без особой необходимости слишком густо. Нужен воздух.

Впрочем, довольно. Я, кажется, слишком затянул свое предисловие. Пусть остальное домыслит за меня читатель.

В заключение надо заметить, что крупнейший современный прозаик-реалист Эрве Базен пользуется громадной популярностью не только у себя на родине, но и далеко за ее пределами. У нас тоже. Базен по справедливости является президентом знаменитой Гонкуровской академии в Париже, быть может, самой мощной, непоколебимой цитадели хорошего литературного вкуса, а также великого французского реализма, уходящего корнями в глубину истории французской национальной культуры.

Валентин Катаев

22 декабря 1976 г.

Переделкино

17 ноября 1965

15 часов

Алина устала бегать по этому лабиринту, стуча каблучками по каменным плитам, распахнув пальто, под которым виднелась красная блузка, на вкус Луи слишком яркая, но именно ее она выбрала для церемонии примирения. Может, из желания показать свою независимость? Когда поражение неизбежно, то уж лучше самой содействовать ему... Но где же ей назначил встречу мэтр Лере? Где именно? Алина прошла мимо узорной решетки с гербом, украшенным королевскими лилиями, направилась к буфету, не без некоторого смущения разглядывая, как несколько адвокатов потягивают пиво, кто с оробевшими клиентами, кто с жизнерадостными коллегами, которые минут через десять уже станут противниками; Алина не обнаружила среди этих людей своего защитника с бородкой, которая делит пополам белый нагрудник, похожий на детский слюнявчик; она вспомнила, что их первая встреча состоялась именно здесь, но нервы ее определенно сдали, она все путает — ведь новая встреча должна быть у подножия памятника какому-то Беррье или Перрье, в Большом зале; она тут же взбежала по центральной лестнице, вблизи которой высились четыре гигантские колонны, а меж ними виднелись три слова национального девиза: «Свобода, Равенство, Братство»; войдя в стеклянную дверь, вместо того чтоб повернуть направо, повернула налево — и снова заблудилась, опять попала в галерею Сент-Шапель, затем в галерею Президентов и вернулась в галерею Купцов; запыхавшись, упала на скамью с химерами, опять пошла дальше, пропустила нужную дверь, кстати сказать широко распахнутую; потом растерянно бродила в галерее Узников, попыталась разузнать дорогу у какого-то неразговорчивого посетителя, затем у полицейского, с насмешкой посмотревшего на нее, и, наконец, очутилась во вполне соответствующем своему названию Большом зале, просторном, как деревенская площадь, но разделенном на две части — как на любой тягбе — восемью прямоугольными колоннами; Алина прислонилась к одной из них, чтобы справиться с головокружением, с желанием удрать отсюда, чувствуя, что ей

сейчас предстоит попать торжественный венчальный ритуал: «да», сказанное в церкви, в этом судебном храме сменит «нет», и в нее вопьются десятки недоброжелательных и строгих глаз; Алина устало опустила веки, внезапно вспомнила Луи, некогда встретившегося с нею в сквере, того же Луи, обнаженного, ранним утром, Луи, склонившегося над только что родившейся Агатой, и многое, многое: его губы, его руки, его плоть; она успела еще раз подумать: *Нет, не может этого быть, неправда, это не со мной случилось*, сгорбилась, потом вдруг выпрямилась, открыла сумочку, подсинила запавшие глаза, поддурмянила эту позеленевшую от волнений женщину... На все ушло минут пятнадцать.

Алина закрыла сумку, подняла голову. У памятника, да — но у какого? Меж десятком величественных дверей здесь множество всяких мраморных глыб, не считая мемориальных плит, досок объявлений, бронзовых канделябров, высоченных радиаторов в форме столбов, скамей с высокими, как в храме, спинками; здесь же приемная в форме ротонды, уставленная зелеными лампами, около которых теснятся растерянные люди, отделившиеся от этой печальной толпы, рассеянной на полосатых плитах мраморного пола, по которому с непринужденным видом прохаживаются одни только адвокаты, важно поглядывая вокруг; медленно колышутся их мантии, и все это напоминает китайских рыбок в стеклянном аквариуме, прозванных «вуалехвостами» из-за их пышных хвостов и плавников.

Надо идти! Проще всего обойти кругом, вслед за группой туристов, ведомых сурового вида молодой дамкой, которая вполголоса по-английски разъясняет что-то молодым людям, у которых на лацканах пиджаков значки, изображающие миниатюрные весы. Алина подходит к ним, рассматривает первое надгробное изваяние некоего субъекта, усевшегося, словно святой, в нише, окруженного двумя дамами в пеплумах; одна из них протягивает ему венок, а другая поглаживает большого курчавого каменного пса. Алина слышит слово «Сез» и, решив, что речь идет о Людовике XVI, а вовсе не о его защитнике¹, уходит, сочтя, что сходства с королем весьма мало. Мэтра Лере

¹ Seize (франц.) — шестнадцать. Раймон де Сез — судебный чиновник, один из трех защитников Людовика XVI. — *Здесь и далее примечания переводчиков.*

тут нет. Нет его и дальше, метрах в двадцати, около памятника погибшим, где полная вдохновения Франция надевает военный шлем на судебного чиновника в мантии, более пригодной для зала суда, чем для окопов. Далее, следуя за туристами, направляющимися в гражданский суд, Алина оказывается в коридоре у большой лестницы с балюстрадой и останавливается как вкопанная; ноги у нее вдруг подкашиваются, но взгляд становится злым, рот приоткрывается — не то она хочет укусить, не то поцеловать. По лестнице медленно идет, опустив глаза, Луи, с плащом на руке, в сиреновом галстуке, хотя это никак не вяжется с его синим костюмом, купленным Алиной шесть лет назад, — если бы та, другая, была заботливой, давно бы сдала его в химчистку. Луи не похож на уверенного и довольного собой человека — это видно по его лицу, по руке, судорожно впившейся в рукав мантии идущего рядом мэтра Гранса, розовая лысина которого так и блестит, обрамленная монашеским венчиком седых волос. Жан Гранса, вы только подумайте! Тот самый троюродный братец, который в прежние времена нашептывал ей, Алине, всякие плоские остроуты, и вот теперь он против нее. Он заметил ее, этот судейский крючок, вежливо поклонился и прижал к сердцу портфель, словно щит, потом сразу же отвернулся, как совсем посторонний этой женщине, с которой его породнил ее брак: ведь его задача справиться теперь с Алиной; он слегка подтолкнул Луи, предупреждая его о присутствии супруги; у Алины стеснило дыхание, словно это ее толкнули в бок. Стало быть, они уже снюхались, эти троюродные братцы, стыдливо отошедшие в сторону, чтоб направиться еще дальше, к круглой вентиляционной решетке, где им удобнее нос к носу шушукаться.

— Мадам Давермель! — раздался возглас.

Задумавшаяся Алина не услышала. Пришлось мэтру Лере пробраться к ней, тронуть за руку и сказать:

— Я же говорил вам — встретимся около Беррье¹, это вон тот малый, что стоит меж кабинетом председателя суда и Первой палатой. Пошли, у нас есть еще полчаса, а до этого надо многое уточнить.

— Ах, это вы! — сказала Алина.

Мэтр Лере увел ее, обеспокоенный близким соседством недоразведенных супругов. Даже наиболее безобидные из

¹ Адвокат, защитник маршала Нея в 1815 году.

них, когда входят в раж, могут поорудовать зонтом по спине истца и даже ткнуть его острым концом в глаз — такое не раз бывало, а уж что касается яростных нападок, сдобренных руганью, так это в счет не идет. Ну-ка, попробуйте после этого приступить к переговорам, предложить компромисс, до которого судьи, обремененные тяжбами, весьма охочи; Большой зал, где взад и вперед снуют клиенты,— обычное место этих компромиссов. Мэтр Лере размашистым жестом делает знак коллеге, который там, в отдалении, занят тем же, что и он. Потом Лере усаживает Алину на ближайшую скамью около пресловутого Беррье, весьма почитаемого в суде, тоже взгромоздившегося на пьедестал между двумя дамами — одна из них сильно смахивает на кормилицу, проветривающую грудь на свежем воздухе, другая же, более интеллектуальная с виду, кончиком гусиного пера строчит какой-то трактат. У Алины уже влажные глаза. Но мэтр Лере не дает ей времени вынуть носовой платок. Он с ходу приступает к делу:

— Мадам, простите мою настойчивость, но ведь мы договорились, не правда ли? Сейчас нам надо быть осмотрительными. Полезно показать, что мы прежде всего пытаемся спасти семью и лишь оставляем за собой право изложить свои претензии, чтобы виновный не мог торжествовать...

Алина рассеянно кивает. Она едва его слушает. Ей жарко. Ей холодно. Ей стыдно. Она смотрит на Луи и шепчет:

— Так тяжело видеть его таким непреклонным. В прошлый раз мы хоть переругивались.

— Сейчас не время этим снова заниматься!— сурово бросает адвокат. — Сегодня вы разыгрываете терпеливую жертву... Ваш муж, несомненно, постарается, чтобы примирение не состоялось. Но нам очень важно добиться хотя бы временных благоприятных для нас мер. Суд обычно склонен утвердить такие требования. Я их вам перечислю.— Стоя перед Алиной, Лере считает по пальцам:— Первое: мы требуем, чтобы дети остались у матери, в доме, где жила семья. Второе: в целях защиты ваших интересов мы будем добиваться предварительного исполнения решения *ad litem*¹. Третье: мы сами исчислим размеры пособий. Судя по тем данным, что вы мне представили,

¹ По делу, процессу (лат.).

я полагаю, что нужно восемьсот франков для вас и по четыреста на каждого из детей.

— Ведь это он от меня уходит, он нагло требует развода!— ворчит Алина, не сводя глаз с изменника, упорно стоящего к ней спиной.

Цифры, названные мэтром Лере, наблюдавшим за ней исподлобья, тем не менее возымели свое действие. Алина едко продолжает:

— Нет, тысячу двести франков и по пятьсот. Вы знаете мое мнение: люди не расстаются, если у них есть дети. Я развода не хочу, но, если вынуждена идти на него, потребуем максимума. Не понимаю, почему я и дети должны себя ограничивать.

Она не закончила фразы. Лицо ее приняло жесткое выражение. А Луи там уже закончил сговор, развернулся на каблуках, лицом к ним, рассмеялся — хотя на таком расстоянии услышать это было трудно, но тем не менее видно, — и ей стало противно. Он прыснул, да, прыснул, прикрыв рот рукой. Должно быть, издевается над кем-то, а над кем же в такую минуту можно издеваться, я вас спрашиваю, как не над своей женой?

На самом же деле Луи, стоя рядом со своим адвокатом, вовсе не смеялся. Он просто кашлянул в ладонь, а издали это походило на сдержанный смешок. Баланс, подведенный его советчиком, троюродным братом, — он тоже готовил клиента к полюбовной сделке, — не мог дать повода для веселья. Конечно, Луи достиг цели. За пять лет ему удалось довести Алину до точки, заставить ее делать глупости; он мог бы подобрать досье, которое состояло бы из оскорблений, правда не столь уж страшных, но вполне годных для подкрепления судебной жалобы, и мог бы даже добиться решения в свою пользу, если Алина, обезумев, не решится его контратаковать. Но Лере уже предупредил Гранса: если Алину довести до отчаяния, она может выпустить когти. Она никогда не согласится признать вину обоюдной. Она потребует опеки над детьми, откажется их поделить, потребует, чтобы они продолжали воспитываться все вместе. Она не уступит их Луи, пусть лучше увязнет в тяжбах; она доставит себе удовольствие тем, что вынудит Одиль ждать долгие годы. Она сказала вот что: *Лежать с мужчиной или стоять с ним перед мэром — это не одно и то же! Эта девка заполучила моего мужа, но не мое имя.* Алина прекрасно понимает, что

в этом ее сила, что Одиле уже осточертело быть незаконной женой, а вот ей, Алине, пусть она вовсе и не жена, пока еще не наскучило числиться ею по закону.

— А ты знаешь этого Лере?— спросил Луи.— Что, он опасен?

Жан Гранса, прежде чем ответить, подумал, посмотрел на часы, потом на коллегу, склонившегося к своей клиентке.

— Он блеет себе в бородачку, когда выступает в суде, но хорошо знает, за какую веревочку дернуть. Кроме того, видишь ли, Алина весьма неплохо осведомлена. Она на всякий случай уже давно вырезает из женских журналов подходящие статейки. Лере мне одну из них показал: *«Как надо действовать женщине во время развода, чтобы ее не провели»*. Алина многие места подчеркнула красными чернилами, в частности, такое: *«Не оплошайте: статья триста первая гражданского кодекса в известных случаях предоставляет вам право на возмещение убытков»*.

— Ну, это уж чересчур!— воскликнул Луи, оттягивая галстук от шеи. — Действительно, счастье дорого обходится.

Рукав адвоката взлетел в воздух.

— Даже первое счастье бесплатным не бывает,— сказал он.— А когда его ищешь во второй раз, поверь мне, оно всегда недоступно дорого.

Его тон не удивил Луи: кузен хоть и взялся вести развод, так как это дело выгодное, однако жалеет об этом. Ведь хозяину кафе тоже не нравится, если у стойки торчит его родня. Жан Гранса охотно получал бы прибыли от закона Наке¹, но предпочел бы не связываться с родственниками. Но вот он куда-то устремляется.

— Обожди меня здесь.

Мэтр Лере, оставив Алину на скамье, тоже сорвался со своего места; его бородачка приближалась, как бы нацелившись на коллегу. Они прошли шагов по двадцать, и вот уже тога рядом с тогой, рука в руке, и адвокаты добродушно расспрашивают друг друга о здоровье жен. Сколько же раз тут встречались эти чередующиеся чемпионы бесконечных судебных тяжб, за которые они брались то по личному выбору, то по долгу службы? Луи топчется на месте, а эти господа что-то комментируют или сопостав-

¹ Альфред Наке — французский политический деятель, утвердивший закон о разводе.

ляют, дружески приветствуя других крючкотворов, которые проходят мимо, переговариваясь со своими клиентами. У обоих адвокатов в левой руке портфель. А правая в движении. У обоих одинаковые белые нагрудники на одинаковых черных мантиях (у Гранса — он постарше — видна красная орденская розетка), и их можно различить только по движениям головы. Лере покачивает головой из стороны в сторону, Гранса чаще кивает.

Луи продолжает переминаясь с ноги на ногу. Внезапно он ощущает жалость к Алине, съездившейся на своей скамье. Прошло много лет с той давней поры, когда к сидевшей на скамейке молодой девушке подошел молодой человек. Похож ли будет конец на то далекое начало? В тот день скамья стояла не у такой, как сегодня, строгой стены, а на фоне зелено-желтого кустарника, усыпанного мелкими красными ягодками. В тот день не было у этой девушки ни гусиных лапок, ни мешков под глазами, ни этой морщины на шее; вся она трепетала, такая женственная, в легком летнем платьице — минимум материи и максимум обнаженного тела. Хозяин отпустил ее на часик раньше, и у нее был такой же растерянный вид, как сейчас... Неужели вместо того, чтобы предоставить решение своей судьбы двум наемным крючкам, они — Луи и Алина — не смогли бы договориться? Недоуменно пожать плечами, изменить решение? Нет, не смогли бы. С Алиной невозможно без спора что-либо обсуждать, она никогда не вникает в чужие доводы, в крайнем случае только выслушает ваши соображения, хотя они затронут ее столь же, сколь крепость — летящие в нее стрелы. Даже в былые времена, когда удавалось улестить ее поцелуями и объятиями, этого хватало до смешного ненадолго, она тут же высвобождалась, шипела: *Этим ты меня не возьмешь* — и с яростью продолжала спорить. И Луи, все еще переминавшийся с ноги на ногу, запретил себе двинуться, пройти эти сорок шагов, воскликнуть: *Да ну же, Алина, давай лучше по-дружески все уладим!* С Алиной не улаживают, нет. С ней нужно покорно согласиться или же послать ее к черту! О чем тут рассуждать? Когда можно уладить дело, не разводятся.

Луи перестал переминаясь. Он как бы врос в эту каменную плиту. Надо быть откровенным. Не разведешься с одной, потеряешь другую. Бросить одну — значит сохранить другую, но потерять детей. Аргументы нужны судьям, истина же заключается именно в этом. И однако, Алина и Луи восемнадцать лет не разводились, старались

как-то приспособиться. И все было не так уж плохо, они не только приспособивались, не только терпели друг друга. Когда речь идет о вынужденном браке, то в поговорке «женился на скорую руку, да на долгую муку» есть своя правда. Но в те времена так ли уж они мучились, эти любовники, сочетавшиеся браком, наплодившие детей? Четверых! Это ведь не пустяки. То, что казалось непрочным, тем не менее держалось. Однако Одиль это вовсе не смутило. Преемница обычно объясняет господство своей предшественницы слепотой, что ж, тем лучше! Выходит, она заблуждается. Огласка, вот в чем дело. Бывают мужчины, у которых любовь умирает, как только исчезает чувственность. У других любовь возрождается — эти обычно меняют жену, ибо не могут перенести происшедшей в женщине перемены. Но можно ли открыто в этом признаться? Вторая жена, десять или пятнадцать лет спустя, как бы воскрешает ту первую, которая теперь на себя не похожа. Это воскрешает и тех, кто не может сохранить верность ценой отрешения, тех, кто ищет молодости в омоложенной любви.

Бедная Алина, так быстро увядшая, так далеко ушедшая от той хорошенькой девушки, у которой и тогда не было ни хороших манер, ни вкуса, ни образования, а был такой же характер, те же недостатки, но она была свободной, она была свеженькая, без живота, с упругой грудью; она была нежная, и, хотя в нежности этой уже сквозили черточки собственницы, это еще не проявлялось столь навязчиво. Бедная Алина, растерявшая все свои женские качества и столь неудачно заменившая их другими: жаждой достатка, поисками выгод, связей, использованием родственных уз! Бедная Алина, измотанная своими детьми и прозванная друзьями *Наседкой* за раздраженное кудахтанье! История весьма банальная. Гордиться не приходится. А для волнений оснований много. Как все это воспримет Четверка? Что станет с ней, с Алиной?

— А ну-ка! Прочти мне вот это.

Луи, задыхаясь в своем тесном воротничке, хотел было подойти к окну; не для того ли, чтоб увидеть Одиль, которая по этому случаю сумела удрать из конторы и пристроилась на террасе бара напротив суда, где она, видимо, дрожит от холода? Но оба адвоката в этот момент ринулись к своим клиентам. Гранса, который уже минут пять что-то царапал под диктовку своего коллеги, вырвал листок из записной книжки. Луи вяло взял у него этот листок. Прочел — и подскочил:

— Ну и ну. Только и всего?

Попробуйте проявить деликатность и объективность! Жилы все вытянут, изведут упреками. А твоя драгоценная супруга, Луи, призывает тебя не терять чувства реальности. В этом зале, где сейчас происходят все эти бурные споры из-за денег, ты всего только некий Давермель, Луи, сорока четырех лет, художник по интерьеру, женатый, имеющий на иждивении четверых детей, проживающих в Фонтене-су-Буа,— так определяет тебя декларация о доходах и платежные ведомости о получаемом жалованье в ателье «Мобильяр», фотокопии которых были представлены сюда заинтересованным в деле лицом. Допустим, что эти раскопки, произведенные секретарем ателье, соответствуют действительности. Но нельзя допустить другого — того, что, попросту говоря, с тебя хотят содрать все. Или почти все...

Они основываются на твоих прошлогодних доходах,— говорит Гранса.

— Это если совершенно не считаться с расходами,— возражает Луи. — И не принимать во внимание, что год был исключительный, почти на треть доходней, чем предыдущий.

— Ты имеешь возможность доказать это?

Стоит ли краснеть оттого, что он проявил такую осмотрительность? Да, у Луи есть три недавних уведомления чиновника по сбору налогов, в которых фигурируют цифры чистого дохода, куда более скромные. Он вынимает из кармана эти бумаги и молча передает своему защитнику.

— Во всяком случае, существует установленный законом предел,— продолжает объяснять троюродный брат.— Однако встречаются иногда такие щедрые мужчины, которые отдают все до последней рубашки, лишь бы добиться возможности быть с другой, пусть хоть в полной нищете. Что ты на сей счет думаешь?

Луи сквозь зубы бормочет:

— Одиль ведь тоже ест.

Широкий рукав адвокатской мантии опять взлетает вверх.

— О нет, мой дорогой. Через полгодика, когда ты на ней женишься, такой аргумент еще может пригодиться. Сегодня же он произведет обратный эффект. Впрочем, тебе даже повезло. Некогда статья кодекса запрещала супругу, обвиненному в адюльтере, жениться на своей сообщнице... Ну что, больше разъяснений не требуется?.. Ладно, надо возвращаться к нашему ловкачу.

Он уходит. Прошел уже метров пять, когда Луи крикнул ему вслед:

— Тысячу франков, не больше! И право на продолжительные встречи с детьми. Тут я буду непреклонен.

Туда, сюда — и так уже четыре раза. Только попытаешься умерить претензии — разгораются споры. Алина понимает, что наносит вред семье, изображая мадонну в опасности. Но сопротивляется яростно, не позволяет снижать цифры, не желает смириться с тем, что расторжение брака способно повлечь за собой утрату какой-то части средств к жизни, и упрямо повторяет: *Ну и свинья же!* — чтоб подхлестнуть себя; и только лишь когда ее поверенный в третий раз возвращается с переговоров и когда ее уже совершенно доконали призывы к умеренности, она откровенно признается:

— Сколько бы я ни требовала, все равно будет мало. Тем, что я уступлю, воспользуется другая. Что же, разве с моими детьми надо считаться меньше, чем с его девочкой, а?

Мэтр Лере покачивает головой, он уже совсем отупел. Еще раз идти! Деньги мешают уладить дело. Там, где чувство поколеблено, корысть никогда не знает границ, жадность оскорбляет одного, отказ раздражает другую, и каждая новая претензия заставляет все обсуждать заново. Во время процедуры примирения толковать только о деньгах! Да как! Чуть ли не до поножовщины. Но что подделаешь? Это обычное дело. Обычно и то, что муж приходит в ярость и начинается грубая брань.

— Сволочь! — орет Луи во время четвертого тура. — Она и впрямь хочет остаться для меня дорогой.

Наконец на пятой попытке, всего за две минуты до того, как предстать перед судьей, который будет стараться примирить мадам и мсье, Давермель, адвокаты с трудом договариваются об условиях на случай, если к согласию не удастся прийти. Мэтр Лере довольно ухмыляется, мэтр Гранса потирает лысину: вот и еще одно подтверждение, что, если как следует все оговорить, не будет бесконечных препирательств в суде, а адвокаты получают возможность лишней раз подтвердить свою репутацию специалистов, отлично знающих, как подготовить досье, чтобы кончить дело в темпе. Содержание дома для бывшей семьи, тысяча сто франков для матери и по четыре сотни на каждого из детей, опекать которых будет Алина, уступая два воскресенья в месяц — второе и четвертое, с девяти утра до

девяти вечера — отцу, а также отдавая ему детей на половину школьных каникул.

— Более благоприятного для вас решения никакой суд бы не вынес,— сказал мэтр Лере, раздраженный недовольной миной Алины, и добавил:— Ну, пошли туда. Уже пора.

Она идет. Лере следует за ней. Алина нерешительно замедляет шаг, взяв под руку адвоката; Луи, сопровождаемый своим защитником, продолжает брюзжать:

— Да, я понял; ну и облапошила она нас.

Когда расстояние между обоими супругами сократилось метров до трех, у него дрогнули колени. Алина и ее спутник отчетливо слышат, как Луи обсуждает одну деталь со своим адвокатом.

— Тебе надо бы,— сказал Гранса,— подыскать себе отдельную квартиру. Ты не можешь указывать свой настоящий адрес!

— А если адрес матери?— предложил Луи.

— Бедняжка!— засмеялся Гранса.— Он вернулся к своей мамочке.

Пройдя мимо дверей Глашатаев, мэтр Лере толкнул следующую дверь, узкую и обитую кожей, галантно придержал ее рукой, пропуская вперед свою клиентку, затем столь же вежливо пропустил ее противника. К счастью, предыдущие клиенты не отняли много времени: не придется ждать в коридоре. Судебный исполнитель уже принял эстафету и ввел супругов прямо в кабинет судьи; полная дама в сером, с жидкими, рассыпающимися седыми волосами и серыми глазами посмотрела на них. Она дышала так незаметно, что ее грудь с синей орденской ленточкой на платье оставалась совершенно неподвижной. Шея казалась столь же одеревенелой, как и спина судебного секретаря — весьма худощавого молодого человека; уверенным движением руки с коротко остриженными ногтями судья указала супругу на стул слева, супруге — на стул справа.

— Я хотела сначала принять каждого из вас отдельно,— сказала дама,— но — увы!— у меня нет на это времени.

Рука секретаря суда, под широким обшлагом охваченная часами-браслетом, протянулась к ней; лиловая папка скользнула на стекло письменного стола, в котором блеклой радугой отражались папки других цветов; судья-примирительница внимательно слушала почтительный шепот — ей тихо сообщали о людях, сидевших в комнате,

и об их защитниках, ожидавших там, за дверью. Дама в сером просматривала дело, останавливаясь на отдельных листках.

— Да! — прошептал ее помощник. — Относительно предварительных условий стороны могут предложить свои соображения, они договаривались.

Дама в сером бросила взгляд, довольно безразличный, на упомянутые стороны — они застыли в неподвижности и словно отсутствовали, разделенные некоей воздушной стеной и внезапным параличом, мешавшим им повернуть головы друг к другу. Дама в сером опустила свои серые глаза, и на ее серьезном лице с двойным подбородком выразилось удовлетворение от того, что чтение заняло так мало времени, и сдержанное сожаление по поводу вероятного провала ее миссии. Она начала с заранее подготовленной формулы:

— Мне было бы приятно, мсье и мадам, если бы вы сидели рядом друг с другом не в последний раз. Сейчас моя задача заключается в том, чтоб заставить вас вспомнить, как это было впервые...

Далее следовали несколько фраз, сказанных доверительным тоном и призванных вызвать в памяти их полное согласие, которое никогда не должно было превратиться в разногласие, упоминались и дорогие маленькие головки (подумайте-ка о них, ведь они так нуждаются в добрых отношениях между папой и мамой), и даже если эти отношения немного испортились — так в жизни бывает, — то мелкие стычки не стоит превращать в большую драму. Далее последовали пятнадцать секунд торжественной тишины — для размышлений. Потом на истца снова был брошен взгляд исподтишка, сопровождаемый шепотом:

— Вы настаиваете?

Голова Алины слегка повернулась в сторону мужа. Голова Луи, его упрямо вздернутый нос не дрогнули. И так, он настаивал на своем. Он настаивал даже взмахом ресниц. Секретарь суда поднялся и впустил в комнату адвокатов.

— Мы сожалеем, — сказал мэтр Лере. — Мы были готовы все предать забвению.

— Вы разрешите? — спросил мэтр Гранса, протягивая новую бумагу.

Дама в сером разрешила и с сосредоточенным видом снова принялась читать. Подобно брачному контракту, обычно составляемому до свадьбы, которая может порой

и расстроиться, этот клочок бумаги в конечном счете является контрактом для развода и тоже готовится до судебного решения. Конечно, дама в сером в этих делах достаточно поднаторела — об этом говорит ее горделивая осанка. Но правосудие, спешащее скорей утвердить судебное дело, может легко превратить желание в постановление.

— Это по крайней мере мне кажется разумным, шепчут величественные уста на ухо секретарю.

Чтобы подтвердить это черным по белому, казенными чернилами, вновь воцаряется тишина, нарушаемая лишь скрипом пера. Поставлена последняя точка, и секретарь тихим, равнодушным голосом перечитывает короткую запись. Дама в сером незаметно перелистывает уже новую, зеленую папку. Затем, чуть приподняв веки с редкими ресницами, она завершает процедуру, роняя короткую реплику, которая так не вяжется с грустной интонацией:

— Хорошо! Благодарю вас.

Луи не помнил, как выбежала Алина, прикладывая платок к глазам, как он сам снова шел через Большой зал и спускался по боковой лестнице, выходящей в какую-то мрачную конуру, заставленную велосипедами и заклеенную постановлениями. Он шел на цыпочках, будто опасаясь раздавить что-то на пути. Он шел, терзаемый какими-то посторонними мыслями, и никак не мог понять, чем же он недоволен: ведь он добился своего.

— Что за комедия!— ворчал Луи.

— А ты полагаешь, что мы иначе думаем?— ответил Гранса.— Любой адвокат, если это человек, достойный своего звания, желает настоящего примирения для своих клиентов, хочет самого откровенного разговора о том, что же предпринять, какие найти средства, чтобы все-таки спасти семью. Но процедура в суде все опошляет и обесценивает все усилия.

Внизу Гранса останавливается, держа Луи за пуговицу пиджака.

— Брось расстраиваться,— говорит он.— Развод подобен хирургической операции — это всегда неприятно, но необходимо.

Асфальт потемнел от дождевых капель — может, это ветерок нанес? Гранса идет рядом и твердит свое:

— Кстати, я узнавал у Лере, что они собираются делать дальше. Сколько бы он ни толковал, что они, мол, готовы пойти навстречу, чувствуется, что наши показания

их беспокоят. Он мне сказал прямо: *Так как ты вынуждаешь меня подать встречный иск, выбирай: либо будем судиться бог знает сколько, либо забирай свой иск и пошли моей клиентке письмо от мужа, который сам признает факт измены и подтвердит, что отказывается продолжать совместную жизнь.*

— И что тогда?— спросил Луи, глядя вдаль затуменными глазами.

— Что тогда? Ты должен сам выбрать. Если согласишься, то за полгода дело будет закончено. Но учти! Алименты будут пересмотрены, и тебе придется всю жизнь тянуть ляжку.

Через открытую дверь хорошо видна Одиль, которая уж целый час ожидает в пивном баре напротив. Она расчесывает свои длинные черные волосы, ниспадающие до талии.

— Так или иначе,— говорит Луи,— я не могу оставить Алину без гроша.

— Значит, ты знаешь, что тебе остается делать,— отвечает Гранса. — Между нами говоря, ты обязан для Алины сделать это. Ведь ты же больше виноват, чем она. Если бы дело о разводе разбирали, как автомобильную аварию,— а это, кстати, было бы не так уж глупо,— ты бы, конечно, нес восемьдесят процентов ответственности. Что же касается твоего письма к Алине, я над этим подумаю и предложу тебе текст.

Он поднялся еще на три ступеньки, обернулся и добавил:

— Не забудь послать мне деньги, о которых я тебя на днях просил: на одном чеке — гонорар мне, другой пошли чистый, чтоб можно было в него вписать сумму в счет платежа *ad litem*, ибо закон обязывает тебя платить также и защитнику твоей жены. Сольфрини, наш поверенный, сам пошлет тебе свой счет. И еще тебе придется заплатить поверенному Алины, когда он будет назначен. Мне кажется, лучше предупредить заранее: тогда ты будешь знать, к чему надо быть готовым. Вряд ли в этом году тебе удастся купить новый автомобиль.

Гранса убегает, а Луи застывает на месте перед каким-то объявлением о распродаже имущества по суду. Черт побери, вот снова он начал мучиться. Ему обязательно надо терзать свою душу. Как будто достаточно быть чистосердечным, чтобы оправдать себя. Только двадцать процентов вины за развод несет Алина, тут можно поспо-

рять, но в этом ли дело? Мужья, которые покидают семью, всегда ссылаются на то, что жена стала невыносима, да так оно и есть на самом деле; это главное зло, из-за которого ее наделяют всеми прочими изъянами. Упрямая, мелочная, требовательная, раздражительная, вечно недовольная — да, Алина именно такая. Агрессивная или, точней, бесконечно придиричивая, всегда портящая мужу настроение. Ей нравится без конца повторять: *Этой мазней ты ничего не заработаешь*. Никогда не поделится радостями, но неприятностями — сколько угодно; никакой благодарности, одни упреки. Вдобавок еще глуповата, любит посплетничать, собирает эти нелепые марки, которые прилагают торговые фирмы в качестве премий за покупки, закупает какие-то там стиральные порошки — в общем, единственный интерес ее, чем бы набить кошелку... И несмотря на все это — такая безупречная. *Увы, безупречная!* — говорит Гранса. Этакая ведьма невинная! Но *все же* ведьма. Измена зачастую — следствие, а не причина супружеского несогласия. Разве не так? Люди всегда верны своей природе, это для них оправдание и одновременно самое тяжелое обвинение. От темперамента не лечат. Ничего не сделаешь и с этой коварной болезнью — брачной аллергией... Но кто возражает? Одно с другим не связано. Мой друг Габриель говорил: *Тебя ведь устраивает, что это неизбежно. Алину бросаешь ты, вот и скажи ей об этом напрямик*.

Луи поправляет галстук, решается выйти. Ему нужно только побыстрей обогнуть это скопление автомобилей, у которых «дворники» смахивают со стекол дождевые струйки. Но на тротуаре, справа, его ждет сюрприз. Вокруг Алины под шестью зонтами неподвижно стоит целый клан кумушек, явившихся за новостями, о которых они толкуют вполголоса, — неверный муж так часто оказывал услуги этим дамам. Была здесь поспешившая из Шазе мамаша — мадам Ребюсто, урожденная Леклав (Люси — для своего мужа, Ме — для внуков, с той поры, как старший из них, Леон, совсем еще маленький, изобрел это уменьшительное, распространившееся затем на сурового управляющего именем, на дедушку, прозванного Пе¹). Была тут и прикатившая из Кретея младшая сестрица — мадам Фиу, более известная как моя сестра Жинет-

¹ Детское сокращение французских слов: «Mère» — мать, «Père» — отец.

та (так ее называла Алина), или тетушка Сало — так ее называли дети. Была тут и самая младшая, сестрица моя Анетта, она же тетушка Косточка, которой следовало пребывать в это время в конторе «Сосьете женераль», и школьная учительница, близкая подруга, опасная мадам Вальду, с маленькой дочкой метиской Флорой, и именно мадам Вальду только что первая заметила виновного мужа и указала на него пальцем.

17 ноября 1965

17 часов

Первый посетитель уже появился, склонился к ней и тихо прошептал: *Послушай-ка малютка, ну чего ты сидишь одна?* — и получил обычный в подобных ситуациях ответ: *Благодарю за внимание, мсье, я жду своего мужа, он с минуты на минуту будет.* Одиль трудно назвать недотрогой, но она благоразумна: когда приходится подолгу ждать то здесь, то там, такого сорта любезности принимаешь без лишней резкости, и если отвечаешь сухим тоном, то он все же смягчается улыбкой.

Другой посетитель, менее решительный, который, видимо, уже поразмышлял над тем, чего ради эта цыпочка так упорно здесь околачивается, начал было ей подмигивать левым глазом; две смазливые девчонки, сидевшие на вертящихся табуретах перед стойкой бара, повернулись в сторону Одилы и уставились на ее голубое платье, почти всегда обеспечивающее излишний успех его владельце. Глаза Одилы, тоже голубые, но с металлическим отливом, смотрели прямо перед собой, взгляд ее был жестким, как щит. Надоели ей уже все эти парни, осточертело ей ради Луи сидеть здесь за кружкой желтоватого пива с остатками пены по краям. Ну что за дрянная должность — все еще числиться той, *другой!* Если парень пропустил свидание или нахально удрал, потому что девушка на десять минут опоздала, то ему дают отставку! Мужчине не преуспеть в любви без пунктуальности, терпения, траты драгоценного времени. Одарить куда проще! Но ведь брошка или кольцо свидетельствуют лишь о содержимом бумажника, а отнюдь не о пылкости чувств. Даже когда девушка считает, что все это вполне естест-

венно, она отлично знает, что самое драгоценное, чем ее одаривают, — время...

И однако! Свежеотлакированным ноготком Одиль тербит родинку на подбородке... И однако, вы все пересматриваете, вы полностью изменяете своим принципам, если вместо юноши вам достался женатый мужчина, да еще к тому же отец семейства. Ибо тогда все бывает совсем по-другому. Временем своего мужа располагает за натуральную ренту его жена, она вроде арендаторши, не так ли? И в те минуты, которые удастся урвать, биение сердца так зависит от ударов стенных часов. Надо выкроить эти минуты, надо сделать их упоительными, надо принять как должное то, что близкий человек очень редко бывает с вами, чаще — без вас, что по поводу ваших забот его уста хранят молчание, но всегда готовы целовать вас, — нет, все совсем не просто. Такую женщину, пожалуй, можно считать примерной, хоть с этим не согласятся суровые блюстители нравов, которые не способны осознать, что значит быть безмерно преданной мужчине, которого — увы! — приходится делить. После Лии Иаков должен был томиться семь лет, пока он добился Рахили, так утверждает Ветхий завет. Но это же можно толковать иначе: Рахиль терпела целых семь лет, пока не добилась Иакова. Что же касается долгого ожидания и чуткости, то едва ли Алина уделила Луи хотя бы десятую долю того, что дала ему она, Одиль, разве не так? Из пяти лет не меньше трех ушло на ожидание и беспрестанное поглядывание на часы — в кафе, в гостиницах, в магазинах, в музеях, в метро, на улице; бесконечное ожидание то там, то здесь этого человека, который, боясь, что его могут застигнуть на месте преступления, редко проводил ночь у Одилы и даже сейчас придавал какой-то романтический налет этой долгой игре в прятки и получал от нее письма на адрес своей матери. То, что творилось там, напротив, в суде, произошло с большим опозданием. Одиль уже не могла больше оставаться за бортом его жизни, так же как Луи не мог больше оставаться двоеженцем. Ему уже давно пора было обрести свободу, решительно сбросить с себя семейные узы одним движением плеча, как он умел сбрасывать подтяжки, прежде чем кинуться к дивану.

— Ну вот, все кончено. Теперь судебным крючком остается завершить свое дело.

Неожиданно он оказался у нее за спиной. Одиль не заметила, как Луи перешел улицу. Он обнял ее за плечи, чмокнул за ухом, прошептал:

— Видишь, вон она там, напротив, в красной кофточке, между матерью и сестрами?

— Как? Это она?— взволнованно воскликнула Одиль, вскочив со стула.

Чтобы лучше видеть. Чтобы тверже поверить в то, что увидела. Может, и для того, чтобы ее, Одиль, тоже лучше смогли рассмотреть. До сих пор она не видела Алину. Ей ни разу не удалось обнаружить ее фотографию в бумажнике, откуда Луи всегда с готовностью вынимал фотографии своих детей. Поистине великий день! Великое новшество! Теперь тебе ничто не мешает показаться с ним, поддержать этот вызов через окно. Это о многом говорит в сложившейся ситуации. Там, за окном, льет дождь, капли стекают с кончиков спиц всех шести зонтиков, тесно сплоченных общим негодованием, похожих на черные купола. Там, нацелившись взглядом на кафе, Алина, наверно, тоже воскликнула, но совсем другим тоном: «Это она!» Там Алина, наверно, обрекает Одиль на вечное презрение брошенных замужних женщин, которые, брызжа слюной, сутяжничают всю жизнь, добиваясь того, что им причитается, и настаивая на своих правах... Но Одиль уже пожалела о своем внезапном порыве и скользнула за спину Луи, чтобы быть менее заметной, чтобы не выглядеть вызывающе. К чему эта дерзость, когда чувствуешь жалость? Так вот над кем она одержала победу! Вот, значит, от кого Луи так долго не мог освободиться, скованный брачным свидетельством и четырьмя детскими метриками? Пусть его удерживало чувство долга, это лишь подчеркивало подлинную борьбу, более трудную, чем распри двух соперниц,— борьбу мужчины с угрызениями совести. Одиль уже не могла питать неприязнь к этой саранче — одному богу известно, как долго надо поститься, чтобы соблазниться такой.

— Сколько же ей лет?— спросила Одиль, не подумав.

— Мы ровесники!— ответил Луи.

Его совсем не смутил этот вопрос, а может, он притворился, что не смущен, бросил на стол монету для официанта и сказал:

— Сейчас этому трудно поверить, но в двадцать лет она была очень хороша. А потом — четверо детей, три операции, ничего удивительного...

И все же Одили показалась необычной смягченная жесткость в тоне Луи, когда он это сказал. Но он, не дожидаясь сдачи, уже повел ее к двери, поддерживая под локоть и молодецки поглядывая на юнцов с сальными

глазками, сидевших в кафе. Луи, как всегда, был взбешен, но в то же время ликовал от их тайной зависти, от их изумления. Он знал, что трое или четверо подобных юнцов добились еще до него успеха у Одилы; но то обстоятельство, что двадцать лет тому назад он, Луи, встретил Алину девственницей, меньше его радовало, чем то, что сейчас он мог похитить Одиль у ее поколения.

— Что будем делать?— спросила она.

— Пойдем домой,— ответил Луи, выходя на улицу.— Я сказал на работе, что процедура примирения займет весь вечер.

Дождь прекратился, и семейство Ребюсто, закрыв зонтики, удалялось к площади Сен-Мишель. Только малышка Флора оглядывалась, отчаянно крутя головой.

— Пойдем домой, надо же это отпраздновать!— повторил Луи, направляясь в сторону Цветочного рынка.

Одиль прижалась к нему. «Можешь не рассказывать, чем тебя держит эта девица!»— однажды крикнула Алина своему мужу. Это была правда. И вместе с тем неправда. Кто из них кого держал? Одиль уже познала, какими жалкими дилетантами выглядят в постели эти юнцы, неумелые и торопливые, познала и безразличия, в которое они потом тут же впадают. Алина же вопила о собачьей случке, но забывала об одном: собака — животное ласковое. И главное, не понимала, а скорее, не хотела понять, что мужчины не потому разбивают семьи, что решили спать с другой — этим могут заниматься все мужья, вовсе не прибегая к разводу, и они почти никогда не лишают себя такого удовольствия,— напротив, случается, что наслаждения чисто плотские приводят некоторых к истинной любви, когда невозможно жить вдали от другой. В последнее время Луи возвращался в Фонтене с чувством все большего отвращения, и те замечания, которые он бросал Одиле: *Мне казалось, что я оставил плащ там, у Алины, но он тут, у нас*, уже не оставляли никакого сомнения в этом. Одиль вдруг рванулась к нему.

— Ну что? Что происходит? Ты меня любишь?— прошептал Луи стесненным голосом, оттого что ему тут же, на ходу, закрыли рот поцелуем на глазах у толстой продавщицы цветов, которая опрыскивала свежей водой кудрявые белые хризантемы.

Объяснений не последовало. Одиль считала их ненужными. Она только склонила голову и потерлась о плечо Луи.

— Распутница! Хитрюга! Обманщица! — произнес Луи, пародируя нудную супружескую сцену.

Прижавшись друг к другу, они несколько минут неподвижно стояли среди этих белых зимних цветов, наводящих на мысль о похоронах. Луи вдруг нахмурился, проводив взглядом двух школьниц в таких же юбочках, какие носили его дочки. Потеря детей была для него главным горем, а для Одилы — победой, но сомнительной. Она все еще улыбалась, но уже с серьезными глазами. Наконец-то Луи решился, это вызвало в ней ликование, но и ощущение стыда и даже беспокойства; теперь положение ее изменилось, ей придется не воевать за него, а беречь его; незамужняя становится женою, она как бы меняется ролью с этой Алиной и отныне должна находиться на страже своих хрупких прав.

— Пошли!

Луи, широко шагая, пошел дальше. Может, по пути он купит ей букет роз? Но он спустится в метро, пробежит коридор, забьется в угол вагона, и только когда они выйдут и поднимутся по лестнице, его уверенность возрастет. Всю дорогу, не желая признаваться, что думает об утраченном, он будет держать Одиль под локоть совсем так, как некогда держал ее отец, книготорговец в Ля-Болле, когда вел свою шаловливую дочку купаться, широко и вольно дыша всей грудью, на которой черный пушок уже начинал сесть.

И дома, на улице Летьер, Луи кинется к Одиле все с тем же видом победителя, как бы говорящим: «Ну вот, я для тебя порвал со всем. Но что значит несправедливость в сравнении с личным счастьем?» Напрасно. Даже в пылу любовного порыва он не сможет изгладить из памяти те двадцать лет, когда он был тысячи раз близок с женой и даже не подозревал, что где-то подрастает маленькая девочка, предназначенная заново украсить его брачное ложе.

17 ноября 1965

20 часов

Голова у нее раскалывается от боли, ноги ноют. Она лежит полуобнаженная, острые локти торчат, отчетливо, как клавиши, выделяются тонкие ребра, бедра такие

плоские, что резинки от трико даже не оставляют рубчи-ков на коже,— Алина чувствует каждую косточку, будто ее специально сотворили под стать жесткому деревянному ложу, которое уже никогда не будет супружеским. Она только что приняла четыре таблетки аспирина; глотнула прямо из крана над умывальником тепловатой воды с привкусом хлорки. Затем снова начала бродить по комнате, так как была не в силах сидеть на месте. Увидя себя в зеркале шкафа из карельской березы, прошептала: «Ну конечно!»— и, чтобы не видеть себя больше, открыла дверцу настель, выставив напоказ полки с аккуратно уложенным в стопы бельем.

— Ну конечно, это его единственное оправдание!— осмелилась уточнить для себя Алина.

Вслух. Даже слишком громко. Были ли у Луи еще какие-то оправдания? В ушах Алины все еще звучали суждения ее клана, этакая горькая смесь, в которой было достаточно замечаний и по ее адресу: *Мы вовсе не собираемся становиться на его сторону, но, признайся, ты ведь никогда не умела держать его в руках.* То же мнение, но в менее мягкой форме, было высказано однажды вечером за садовой изгородью: *Луи, конечно, где-то таскается, сомнений нет, однако можно понять, что такая зануда могла ему осточертеть...* Совсем безвинной никогда не бываешь, не так ли? Даже если тебя обманули, то оказывается, ты сама в этом виновата. Но чтоб своя же семья... Конечно, она, Алина, сумеет их сплотить. Она их восстановит против зятя. Но ее репутация девушки, которая хотя и была немного легкомысленной, но в конце концов неплохо устроилась, сейчас сильно пошатнулась.

— Ты и не представляешь,— сказала ей мать,— как отнеслись у нас в Шаде к твоему разводу. Половина наших знакомых просто избегают со мной встречаться. Другие едва здороваются или говорят: *Как же вы это допустили!* А как я могла помешать, если тебе самой не удастся ничего сделать? Только вмешайся я, Луи без всякого стеснения стал бы смеяться мне в лицо. Что касается его родителей, то я написала им, но ответа не получила. Они ведь неверующие: им не кажется это постыдным.

— Наверно, даже порадуются тому, что случилось,— сказала Анетта.— Как же им не понравилась твоя молниеносная свадьба! Чуть ли не двадцать человек повторяли мне тонкую шуточку твоего свекра, сказанную

в тот день: *Хорошенькая брюнетка, да, пожалуй, это так! Но не стоит делить это слово пополам*¹.

Алина мучительно думает. Конечно, до нее доходили провинциальные толки, от которых она считала себя уже избавленной, а вот теперь ее снова делают посмешищем. Самое противное услышала она от сестрички Жинетты: *Я тебе говорила, что все кончится именно так! А ведь еще месяц назад та же Жинетта только пожимала плечами и заверяла: Да нет же, он никогда не решится, и Алина тоже была в этом уверена. Правда, Жинетта уже не раз вселяла в нее сомнения. Более десяти лет сестра указывала ей на признаки, предвещающие разлуку: раздражительность, редкие ласки — иной раз даже украдкой губы вытрет, — новая привычка не замечать жены, не слышать, не касаться ее, вести себя так, будто он отсутствует в собственном доме, невнимание, чередующееся с подарками, цветами, странное стремление похудеть, носить свитера, походить на молодого обличком, прической, манерами. Жинетта уже замечала это, но Алина все еще считала, что у нее просто резвый муж. Опасное легкомыслие, что и говорить. И все это вскоре подтвердилось. Но отрицать неприятности — один из способов их избежать или же оттянуть время, чтоб они сгладились. Успокаивая себя иллюзией, обычно ждут, терпят, спорят по мелочам. Увядающая женщина, живущая с сохранившим молодость мужчиной, утешается тем, что время уравнивает все. Невзирая на бесконечные семейные сцены, устраиваемые ею, чтобы спасти свою репутацию (и чем больше старалась, тем больше теряла), — не была ли она, Алина, такой всепрощающей душой: пусть Луи уходит, пусть возвращается, пусть опять уходит и снова приходит через неделю, а то и через месяц, будто он коммивояжер или морской офицер? И когда такие мимолетные наезды вошли в привычку — и все ради одной-единственной женщины, более опасной, чем двадцать других, — разве Алина не захотела увидеть в этом признак ослабления сильной натуры? На фоне самых мерзких сплетен она еще решалась думать, что, если муж так часто лжет, значит, он все еще привязан к жене; что, если он еще уделяет ей какое-то время, пусть бывает с нею все меньше и меньше, значит, хочет сохранить главное, то, чем отличается семейный очаг от побочной связи. Она все еще втайне мечтала: *Если**

¹ Игра слов: *Bru nette* (франц.) — безупречная невестка.

он и завел себе любовь где-то в другом месте, то пусть хоть иногда проявляет ко мне нежность! А сколько раз она восклицала: *Обожду, пока у тебя это кончится!* Луи ничего не опровергал. Когда кончались семейные сцены, он становился ласковым, и даже время от времени разгоралось в нем старое пламя, и он безотказно выполнял ночью свой долг, ставя свою марку на преданной забвению собственности, обманывая любовницу с женой, проявляя весьма уважительное отношение к брачному договору. Из жалости. Быть может, из осторожности. Или просто из любезности, чтобы ублажить хозяйку дома. И себя ублаготворить, раз все под рукой. Или чтоб заменить ту, другую, когда она далеко или по нездоровью на пять дней выбывает из строя.

— И ты соглашаешься! Я бы чувствовала себя оскорбленной,— возмущалась Жинетта, словно она королева со свитой покорных возлюбленных.

Алина со злобой размышляла обо всем этом и ходила, даже не набросив на себя халата. *Потеряла свое достоинство, и зазря. Вела себя как трусиха и дура.* Но ведь Луи так часто повторял, что разводиться не будет: надо, чтоб у детей была семья. Этот палач не раз говорил, какую жертву он приносит, он-де мученик отцовского долга. Правда, уже два года, как Луи стал менее категоричен. И особенно последние полгода. Со времени той сцены с чемоданом. Еще одна глупейшая выходка с ее стороны. Было ли какое-нибудь доказательство, кроме сплетни, пущенной соседями, будто Одиль провожала Луи до самой двери их дома? Конечно, подобное вторжение в семейную обитель нетерпимо. Но было ли так на самом деле — сомнительно. Во всяком случае, у Алины не имелось достаточной причины, чтоб затеять скандал, тут же запихнуть свои вещи в большой чемодан, который обычно брали с собой, отправляясь на летний отдых, ринуться со всем этим добром в гостиную и там продолжать кричать: *Ну, хватит с меня. Я ухожу. Устраивайтесь тут со своим папашей как вам будет угодно.* К счастью, спустя час, уже в метро, Алине вспомнилась искорка интереса, заблестевшая во взгляде Луи, поведение которого было, впрочем, весьма достойным: он проявил и сдержанность и огорчение. К счастью, ее подруга Эмма, провожая Алину обратно в Фонтене, устроила ей суровую выволочку и разъяснила, какой сильный козырь Алина, по сути дела, дала мужу.

— Ты просто с ума сошла! Ему достаточно побе-

жать в комиссариат и заявить, что ты сама бросила семью.

Алина продолжала размышлять. Именно с того дня все так изменилось. Грубая перебранка после ее возвращения домой, к тому же истерика, которую она себе позволила, рыдания Агаты, растерянность Ги, хмурое молчание Розы — все это лишь усилилось после неблагоразумной выходки Алины, решившей провести ночь в комнате дочек, чтоб мучить их горькими сетованиями и полностью разрушить миф и рассказать, что папа редко бывал дома не потому, что занят работой, а потому, что ночевал у девки, и дети, все глубже увязая в грязи семейных будней, разделились во мнениях. Несомненно, это и переполнило чашу терпения Луи, вызвало у него новый приступ гнева; он громко воскликнул:

— Я хотел пощадить Четверку. Но сейчас думаю, не будет ли развод для них меньшим потрясением?!

Алина перестала ходить взад и вперед по комнате. Все кончено. Луи совсем исчез. Последние два месяца он отделялся только почтовыми открытками детям. Сама Алина за это время получила лишь голубую повестку, которую принес горбатенький чиновник с глазами столь мутными, как и его речь. Вот эту голубую бумажку Алина порывисто схватила с тумбочки, листок трепетал у нее в руках. Она снова его перечла, и подбородок у нее дрожал, а глаза были неотрывно прикованы к этой галиматье:

«Согласно жалобе, поданной мсье Девермелем Луи-Жорж-Филлипом, проживающим в Фонтене, улица Нестора, № 36, на имя которого записан дом, судебный поверенный главной парижской инстанции мэтр Сольфрини... а также в силу подписания, вынесенного по жалобе председателем суда... нижеподписавшийся судебный исполнитель на этот предмет посылает в запечатанном пакете нижеприведенную выдержку поименованной здесь и проживающей по данному адресу... чтоб явиться в суд согласно предписанию для ответа на изложенные истцом претензии...»

Ах так, имеются изложенные истцом претензии! Разве всегда успеешь взвесить, как поступить, как сказать? Какое же чудовище!.. Он все записал, все использовал, провоцируя для этой цели доведенную до отчаяния женщину.

«...Высказывая эти претензии, истец находится в тягостной необходимости возбудить дело против своей супруги

с требованием развода, в поддержку которого он излагает и представляет нижеследующие факты:

1. В течение многих лет мадам Давермель, ссылаясь на недостаточные профессиональные навыки истца, каждый раз, когда он возвращался домой, встречала его градом ругательств, изводила подозрениями, несправедливыми обвинениями, не отвечала взаимностью на его привязанность, грубо обрывала его в присутствии детей, соседей, друзей, многие из которых могут засвидетельствовать, что она, не стесняясь, обзывала своего мужа «недостойным отцом» и «кобелем».

2. Мадам Давермель нередко наносила своему мужу ущерб в деловом отношении. Например, 18 января по ее вине он потерял важный заказ, поскольку она ответила клиенту, пришедшему с предложением к ним домой: «Проваливайте! Плевать я хотела на махинации этого мерзавца!» И тем¹ 2 февраля истец, у которого не было с собой ключей от входной двери, должен был вместе со своим приятелем ожидать под дождем в течение двадцати минут, пока его супруга соизволила открыть ему, кинув вместо извинения следующую фразу: «Раз твоя жизнь — дурной роман с продолжением, мне хотелось по радио послушать хороший».

И так далее. «Грубые нарушения супружеского долга между мужем и женой делают нетерпимым дальнейшее существование их брачного союза...» На четырех последующих страницах судебным жаргоном перечислено многое другое на основании свидетельств друзей, словом, вполне достаточно, чтобы суд мог вынести свое решение. Два или три таких свидетельства недалеко от истины, но остальные сильно искажают факты, преувеличивают; взять хотя бы последний, завершающий абзац, который полностью извращает истину.

«3. В итоге — вечные обиды и оскорбления вынуждают истца, к великому его сожалению, во имя защиты своего дела, ограждения своего достоинства, а также покоя своих детей, возбудить дело о разрыве брачных отношений...»

Вот уж действительно!.. Алина вдруг хватает свой халат, рывком натягивает его, нервно затягивает пояс. Туфли она забыла снять. Она бежит вниз по лестнице, прыгает, не глядя, через ступеньки. Бросается в гостиную,

¹ Равным образом (лат.)

откуда слышится пулеметная очередь из американского ковбойского фильма. Кидается прямым к автопортрету Луи, свисающему на зеленом шнуре с золоченого гвоздя. Поворачивает портрет лицом к стене. Потом подбегает к телевизору, выключает звук, прерывая речь внезапно онемевшего сию — вождя индейцев, и обессиленно падает на стул, рядом с сидящими детьми.

На Леоне серый костюм. Галстук у него цвета бордо, из-под брюк выглядывают того же тона носки, он сидит в большом кресле перед самым экраном. Но странно, глаза его за стеклами очков смотрят совершенно не мигая. Агата лихорадочно ерзает по дивану, вдруг вскакивает; она в джинсах, в полурасстегнутой кофточке; ее плечи и грудь дрожат от волнения, как и ее босые ноги, пальцы которых впились в ковер, дрожит и грива, и голубоглазая мордочка. Но Роза, закутанная в халатик, даже не шевельнулась, сидит, облокотившись о стол, прижав к вискам руки, и что-то штудирует. Филуменист Ги настойчиво разглядывает болгарскую спичечную коробку, которую он принес из школы. Роза и Ги упорно хотят подчеркнуть, что они даже не замечают того, что произошло в комнате.

— Только что вернулась из суда,— говорит Алина.— Теперь это уже официально: ваш отец нас покидает.

После слова *нас*, цель которого — завербовать всех здесь присутствующих, можно добавить:

— Ваше воспитание, разумеется, доверено мне.

— Ну, уж этого, во всяком случае, следовало ожидать!— восклицает Агата своим звонким, как у синицы, голоском.

Она подходит к матери, и та крепко ее обнимает. Но трое других молчат. Однажды, спускаясь с откоса, Алина сильно помяла свой «ситроен» и разбила в нем стекло. С какой яростью они тогда высадили покореженные дверцы, чтоб вытащить невредимой свою мать, как они бросились ей на шею! А ведь новая беда несравнима с той, что случилась тогда.

— Может, хотя бы полюбопытствуете, что вас ожидает?— говорит Алина.— Это ведь дело серьезное.

— Мы в курсе,— говорит Роза.— Папа звонил нам.

Самое ужасное, что Луи умеет все предвидеть; такую сцену он тоже предвидел и предотвратил возможный эффект. Алина гладит волосы Агаты, ласковой своей союзницы; Алина решает, что ей надлежит вздохнуть.

— Никогда бы не поверила, что он расстанется с вами без борьбы. Но вас, видимо, это мало трогает?

Но что это с ними? Они все встают.

— Он мне об этом иначе сказал,— прерывает ее Ги, нечаянно раздавив упавшую на пол спичечную коробку.

— Да и мне тоже,— говорит Роза.— Если хочешь знать, он спрашивал перед уходом, что я об этом думаю.

— И меня спросил,— признался Леон, неожиданно повернувшись ко всем лицом.

— Что вы об этом думаете!— бросает Алина с изумлением.

Ее окружают детские лица с разными глазами, волосами, выражением, чувствами; однако же у всех у них есть нечто общее — это характерное для рода Ребюсто уло со сросшейся мочкой! Алина думает, собирается с силами и берет себя в руки. Пусть мнение детей остается при них. Осторожней! Не надо узнавать, что они ему ответили, нельзя показывать, что придаешь этому значение. Осторожней! Ведь Луи не только купил этот дом, не только сам выбирал эти вещи, и не только они хранят его присутствие здесь — влияние его распространяется по крайней мере на двух или трех человек, живущих в этом доме.

— А с тобой, — прошептала мать, сжимая руку Агаты,— с тобой отец тоже советовался?

— Он отлично знает, что я об этом думаю,— ответила девочка.— Он не рискнул.

У Алины перехватило дыхание, когда она увидела замкнутые лица детей. Теперь, когда их поручили ее опеке, отважатся ли они, замороженные своей долгой и нежной привязанностью к отцу, противостоять примеру Агаты?

— Бедняга,— прошептала Алина,— против него решительно все, даже его друзья.

— Кто же?— спросила Роза.

Она порывисто собирает книги и тетради, готовясь скорей удрать в комнату, которую без всякого удовольствия делит с сестрой. Было бы хорошо оставить одну Агату хозяйкой этой комнаты, освободить отцовскую мастерскую, теперь ему ненужную, и пристроить там Розу с ее коллекцией ракушек. Леон уже протянул руку к телевизору, чтоб включить звук и найти себе надежное укрытие в разглагольствованиях индейцев о трубке мира, куда менее неприятных, чем разговор, ведущийся сейчас в комнате. Ги, вместо того чтобы заняться математикой, направился к двери. Нет, Алина, сейчас не время сканда-

лить, надо держаться спокойней! Быть снисходительной. Надо готовить детей, чтоб они отрешились от воспоминаний, освоились со своим новым положением: ведь они наполовину сироты. Алина чуть покраснев, начинает защитительную речь:

— Вы отца любите, это естественно. Вам не менее больно, чем мне, от того что приходится покоряться обстоятельствам, и это тоже естественно. Но все же будет очень несправедливо, если мне придется расплачиваться за то, что вас обманули.

Роза уже вышла, но в коридоре задержалась и оттуда крикнула:

— Так не заставляй же нас расплачиваться за то, что обманута ты.

Ги исчез. Леон недоуменно тер кончик носа. Даже Агата была сконфужена. К счастью, стенные часы в стиле Людовика XVI, обладающие, как и бабушка, которая их подарила, весьма пронзительным тембром, прозвонили шесть раз. Алина отбыла на кухню, скорбная, задумчивая, усердно поддерживаемая Агатой, хотя этого усердия не хватило, чтоб помочь матери в долгой процедуре приготовления жареного картофеля. Агата удовольствовалась тем, что посадила мамочку, принесла ей два килограмма картошки в рыночной зеленой пластиковой сетке и вытащила из ящика картофелечистку. Затем, как это обычно делал папа, она чмокнула мать в шею около уха и шепнула ей:

— Да хватит уж! Выбрось из головы!

Алина услышала слова Луи, слетевшие с очень похожих губ! Круглый задок Агаты, втиснутый в линиялые голубые джинсы с какими-то белыми точками, исчез в коридоре. Алина так одинока в своем доме, хоть он полон детьми, а она-то думала, что они сплотятся вокруг нее. Семнадцать, пятнадцать, тринадцать с половиной, девять — все они уже в разумном возрасте, и те, кто с ней согласен, и те кто против. Однако в тот миг, когда она так в них нуждается, Алина совсем одинока. И она со злостью скребет картофелину. Конечно, она действовала не так, как нужно. И зря отговорила свою мать и сестер, хотевших остаться на этот вечер у нее в Фонтене, собрать своего рода торжественный и суровый семейный конгресс, чтоб эта тяжелая дата в жизни детей стала им ненавистой. Но Алина побоялась слишком разволновать детей, а вот теперь оказалось, что они совсем не взволнованы.

— Ну погоди, мой голубчик!

Слава тебе господи, никто не слышит, никто не видит, как злобно она прокалывает насквозь картофелину. Эта картошка, розовая, странная, виновата лишь в том, что имеет форму сердца! Ну и глупец Луи! Он не понимает, что его ненавидят, потому что любят. Да и сама она дуреха! Она не понимает, что ему невыносимо именно то, что вполне естественно. Я тебя больше не люблю, ты еще любишь меня — такова судьба! Ни я, ни ты иначе поступить не можем. Какие могут быть у нее колебания, если он поступил так великодушно? Все, что ей остается, — это дети, и они с ней, они у нее, в обычной обстановке, где их привычки, их распорядок дня куда важнее, чем бабушки, дедушки, друзья, соседи (к ним еще надо тщательно присмотреться). Тонкий рот Алины так сильно сжат, что видна лишь красная черточка, скривившаяся в холодной улыбке. Мэтр Лере говорит, что дети во время развода свидетельствовать не могут, и это, конечно, правильно. Но дети будут свидетельствовать позже своей привязанностью и своим выбором. Начинается другой процесс, каждодневный, и Алина прекрасно понимает, кто будет давать им советы.

18 ноября 1965

Леон нередко разрешает свои проблемы на ходу, сейчас он в своей комнате и вот уже целый час размеренным шагом ходит от окна к двери, поскрипывая расшатавшейся половицей. А вот Ги, видимо, принимает в это время ванну; он всегда плещется, как утка. Роза, по обыкновению пристроившись на своей кровати лицом к стене, спиной к людям, читает. Агата только что открыла свой заветный сундучок, вытащила из него знаменитую тетрадь в обложке из красной пленки, которую никому никогда не дозволяется перелистывать, и берется за маленькую ручку с серебряным колпачком, подаренную ей к пятидесятилетие дедушкой Давермелем; ручка эта отлично ведет себя на уроках родного языка, но становится совершенно негодной при столкновении с математикой. Высунув кончик языка, соблюдая красную линию полей в тетрадке, не забывая о точках, запятых, правильном написании слов,

тщательно выкручивая букву «о» и выводя заглавные буквы, Агата синими чернилами выводит строчку за строчкой:

«18 ноября 1965. Вот и свершилось — папа нас бросил. Будто бы он сказал Розе: «Я уйду от вашей мамы, но не от вас».

Однако семья — ведь это одно целое, и я не вижу никакого различия.

Теперь все будет не так, как прежде. У дома ведь четыре стены, а у крыши два ската. Мы, четверо, были стенами; папа и мама — крышей. Но вот половина крыши обвалилась, и, когда я возвращаюсь вечером домой, мне стыдно, будто я живу среди руин и дыры зияют.

Но я уже поняла, что мы разделились, как сказал Ги, на папиных и на маминых.

Для меня ясней ясного: я осталась там, где была, с мамой, которая не изменилась. Папу я очень люблю, но, если он не хочет быть с мамой, для меня он перестает быть тем, кем был прежде, и превращается в некоего представителя Мужского Рода, отвергшего Женский Род. Последнее время, когда он возвращался, я уже не могла его целовать, как прежде: я бы почувствовала тогда вину перед матерью. Раз нам надо сделать выбор между ними, я выбрала ее — маму. Он не может на это жаловаться: он все это начал, найдя себе другую».

Внизу у лестницы раздался звон колокольчика, съезжающего к ужину.

Роза закрыла свою книгу и молча вышла из комнаты, но чувствовалось, что она взволнована. Агата уложила дневник в сундучок, вынула ключик, постоянно висевший у нее на шее и греющийся, вместе с двумя медальками на тонкой цепочке, в вырезе платья. Один поворот налево, один направо. И вот сундучок, в котором помещались еще сберегательная книжка, шесть серебряных монет по пять франков, один луидор, брошка, сто двадцать франков в мелких купюрах, конверт с открытками и письмами, еще один конверт с фотографиями (право собственности на три из них весьма сомнительно), — сундучок со всеми крововищами исчез под кроватью.

28 ноября 1965

9 часов

Когда Луи, весьма не уверенный в себе и потому захвативший с собой Габриеля Бомонжа, своего старого друга и крестного Леона, остановился у дома № 36, поставил машину в двух метрах от калитки, чтобы дети могли пройти со своими велосипедами, он услышал, как с ним поздоровался, приподняв шляпу, мсье Жибу, сосед из дома № 38, тут же по обыкновению добавивший: «А как мадам Давермель? Она здорова?» И Луи на несколько мгновений будто забыл, что за это время произошло. Он вытащил ключ из правого кармана и привычно ткнул его в отверстие замка. Ключ внутрь проник, но после поворота почему-то не издал обычного скрипящего звука.

— Они опять что-то натворили! — проворчал Луи.

Это случилось уже не впервые: ватага местных ребятшек, с которыми, возможно, шалил и Ги, однажды испортила замок искривленными гвоздями. Но сейчас под коробкой замка на темно-зеленом фоне двери резко выделялось красное пятно, и говорило это о другом: накануне замок наскоро сменили, а подкрасить в этом месте еще не успели.

— Она не теряла даром времени, — разозлился Луи. — Вот я и выброшен из дома. Подумать только — я целых пятнадцать лет гнул спину, чтобы заплатить за эту проклятую лачугу!

— Ты не очень-то баловал ее своим присутствием, — заметил Габриель.

Луи только улыбнулся. Рассчитывать на поддержку Габриеля значило покориться суровому суду вдовца, который был в ужасе от предстоящего развода и всеми силами старался оттянуть это самовольное вдовство. Габриель всегда будет таким же несгибаемым, как та голубая ель с ровными ветвями, которую он посадил через неделю после рождения Ги и которая сейчас напоминала ему о том, что ушло. Луи, вынужденный торчать на улице, как эта елка, которая торчала там, за оградой, вынужденный звонить, чтобы войти в калитку, никак не мог решиться на это и был в ярости. Садик, его садик, был запущен, завален кучами опавших листьев. Бирючину давно не подстригали. Сорняки своими мелкими звездочками заби-

ли садовую гвоздику. Штамбовые розы «Белая королева» и «Дама сердца» неряшливо разрослись...

— Здесь ты был хозяином, теперь это видно,— сказал Габриель, нажав на кнопку звонка.

Пока все усилия ни к чему не привели. В доме было слишком шумно. На верхнем этаже Роза снова сцепилась с Агатой, которая почти нагишом целый час вертелась перед зеркалом в ванной, выщипывая себе брови. Леон, прижав ухо к транзистору, ибо батарея села, комментирует спортивные новости, вопит изо всех сил, чтоб его слышала в ванной сестра — как и он член спортклуба в Фонтене:

— Камиша пробежал за десять минут и три секунды! Я так и знал!

Алина, вынужденная чинить в доме всякие мелочи — ведь сыновья в таких делах менее одаренны, чем их отцы,— крепко чертыхается, пытаясь ударами молотка вправить расшатанные ножки стула; виноват в этом Ги, который раскачивается как одержимый, на чем бы он ни сидел. Только после второго звонка Алина, растрепанная, примчалась на кухню и заняла свой обычный наблюдательный пост — у третьего квадрата правого окна за занавеской. И, ни минуты не медля, забыв о решении суда, Алина начинает мечтать. Луи возвращается к ним! После этой отвратительной комедии на прошлой неделе в суде он все же возвращается. А Габриель, этот чудесный Габриэль, который никогда не принимал ни сторону Луи, ни сторону Алины, а стоял за сохранность семьи, решил воспользоваться воскресеньем, и ради своего крестника он притащил с собой Луи в Фонтене, чтобы попытаться примирить супругов по-настоящему.

— Ты что, ожидала крестного?— спросил Леон, подойдя к матери.

— В конце концов,— ответила Алина, продолжая развивать свою мысль и сообразуя ее с недавними замечаниями своего адвоката,— если твой отец к концу месяца не подпишет мне нового ассигнования, все полетит кувырком... Быстрей, Леон, отвори им, а я пока причешусь.

Что это? Почему в доме так жарко, разве опять затопили? Алина суетится, кричит: «Агата, Роза, Ги» — вызвав в ответ из комнаты девочек целый каскад восклицаний: «Что там у тебя?» Она пока приглаживает волосы, по ошибке второпях схватив одежную щетку.

Стало быть, в последнюю минуту Луи решил не доводить дело до суда и, не чувствуя себя достаточно уверенным, взял с собой третье лицо. Не виноват он в том, что в прошлый раз их занесло и проявлять сдержанность стало уже невозможно. Да, конечно, его надо принять; надо вернуть ему мастерскую и дать новый ключ, все это так. Но не задаром же, пусть принесет повинную, выразит сожаление, скажет о своем решении перед всеми, и в том числе перед детьми. Пусть выдаст письмо о разрыве с той, с *другой*; письмо должно быть крайне сухим — она, Алина, сама отшлифует написанное, сама отправит его заказным, и лишь после того, как снимет фотокопию: ведь все надо предвидеть.

— Привет!

Луи входит первым, вытирает ноги о коврик, снимает пальто и вешает, как прежде, на крючок большой вешалки, опять, как бывало, тянет носом, чуть пофыркивая (это упрек: в доме отдает жареным мясом, и, как уверяет Одиль, все его пальто насквозь пропитано этим запахом). Разочарованная такой нарочито разыгранной развязностью, Алина уже ненавидит этого агрессора, нагло вторгшегося в ее владения, и в том состоянии, в котором она находилась, ей тяжело наблюдать радостные прыжки детворы, высыпавшей отовсюду. Только одна Агата, поспешно набросив зеленоватую куртку с вышитыми на кармашке инициалами французского спортивного клуба, сдержанно подставила отцу щеку. Роза целует его четыре раза врасос, впившись как пиявка. Ги, в трусиках, сменяет ее, пылко кинувшись к Луи, обхватив тощими, как палки, руками своего блудного папашу, а тот еще решается сказать самым спокойным тоном:

— Ну что же вы, ребята, все еще не одеты? А ведь сегодня четвертое воскресенье, с девяти до девяти мы будем вместе. Пойдем на улицу Вано, к нашей бабушке.

Вот и рассыпался карточный домик.

— Но ты не предупредил меня,— сказала Алина, побледнев и прислонившись к стене.

Стало быть, Луи вовсе не собирался искать примирения! Какое же он чудовище; явился к ним, уверенный в своем праве, требуя немедленного и точного его соблюдения. Еще одно отягощающее обстоятельство: преспокойненько напялил на себя свитер, в свое время связанный Алиной. Подумать только, бросает свою жену, носит свитер ее работы, и шерсть не раздражает ему кожу! Другое отягощающее обстоятельство: не обращая ника-

кого внимания на Алину, Луи вместе с детьми прошел в гостиную, иронически посмотрел на свой портрет, повернутый лицом к стене, но нахмурился, заметив на другой стене темный квадрат обоев — доказательство того, что здесь с гвоздя сняли какую-то картину. В коридоре Габриель дружески обнял Алину и тихо заметил:

— Ты разве не знаешь, что решение уже автоматически вступило в силу. Твой адвокат должен был тебе разъяснить...

Алина с досадой оттолкнула его, спросив сквозь зубы.

— Теперь ты ему помогаешь, а?

— Послушай, Алина, я ведь хорошо знаю твой характер и хотел только помешать тебе делать глупости. Подумай, что будет дальше, если с самого начала ты дашь Луи повод жаловаться, что ты не выполняешь решения суда.

Обманывал ее Габриель или нет, но он был прав. Однако на горизонте появилась новая туча: через стеклянную дверь Алина заметила, что Луи, тыкая пальцем в стенку, расспрашивает о чем-то Розу.

— Скажи ему, чтоб он ждал детей на улице, — с раздражением заметила Алина. — Насколько я знаю, закон не обязывает меня принимать его у нас.

Но Луи уже вошел и, насупясь, спросил:

— Что ты сделала с моей большой картиной?

Алина немного помедлила, потом ответила с вызовом:

— Разве я должна давать тебе отчет? Я нахожусь у себя, а твой дом в другом месте.

— Ты имеешь право только пользоваться этим домом, и все. А продавать ничего не можешь. Ты знаешь, что эту картину я любил. Расставаться с ней не собирался. И если ты ее кому-то сбыла...

Сомнений не было. Ги обо всем ему рассказал, и потому Алина завопила:

— Да, я продала ее. У меня ни сантима не осталось, а нас ведь пятеро садится за стол, представь себе!

Дети уже взбежали по лестнице к себе — только Агата в качестве боевой охраны осталась с матерью.

— Я перевел тебе твое пособие, — отчеканил Луи.

Взбешенная, Алина повернулась к Габриэлю:

— Хотите говорить о пособии — извольте! Да на такие деньги нам придется вполонину урезать себя. Ничего не поделаешь — придется, раз мсье бросил нас. Но я должна оплатить уже произведенные расходы. Я-то не имею аванса. Я ведь не спрашиваю, что он сделал со своим счетом

в банке и с тем, что было у него в сейфе. Я оказала ему доверие, а он наверняка принял меры предосторожности.

— На этот раз хватит,— сказал Луи, суетливо роясь в правом кармане брюк в поисках трубки, которую он тут же сунул в рот, и буркнул в сторону:— Одевайтесь, ребята, и отныне будьте уже готовы, когда я зайду за вами.

— А если ты вовсе не явишься? — вызывающе спросила Алина, скривив рот и вцепившись в ткань своего халата. — Они что же, должны по твоей милости ждать весь день, стоя на карауле?

Пылающий взгляд и взгляд ледяной, холодный. Алина устало опустила веки. Она не была уверена, что ей удалась эта назидательная, крикливая и мстительная сцена. Агата, дорогая ее малышка, не тронулась с места, но Роза и мальчики уже помчались в свои комнаты. Что ж, уступка — ведь еще не согласие, но лучше заранее предвидеть, что предстоит еще перенести. Луи вправе поступать, как считает нужным, по крайней мере там, по другую сторону решетки этого дома.

— В те дни, когда я не смогу прийти, я заранее предупрежу,— пообещал он.

— Ну, Алина, нельзя же так, будь благоразумна!— уговаривал ее шепотом Габриель.

Алина закрыла глаза и замерла, изображая статую матери-великомученицы, затем испустила глубокий вздох и уткнулась носом в дочкины волосы.

— Иди, дорогая. Я предупрежу твою подругу,— И, отойдя от Агаты, добавила с каким-то мрачным удовлетворением: — Ее ведь пригласили в гости к Буалу, а Леон должен был состязаться в беге на тысячу пятьсот метров в Монтрее... Что поделаешь! Придется им привыкать, что каждое второе воскресенье у них пропадет.

Она повернулась и пошла в кухню, чтобы уединиться там.

И снова стала на свой пост у кухонной занавески. И зажмурила наполнившиеся слезами глаза. И увидела Луи, твердо шагающего по асфальту и все еще пытающегося зажечь пустую трубку. И почувствовала, как зашипало в носу при виде Ги, который выскочил из дома, крепко хлопнув дверью и даже не обернулся. И горько пожалала плечами, когда появился Леон, уже смирившийся с тем, что пробег состоится без него, а за ним Роза, дерзко усевшаяся в машине рядом с отцом, на место Алины, покойницы, живой покойницы — она ведь уже никогда

там не сядет. И улыбнулась тому, что Агата намеренно заставила себя ждать, вышла не торопясь, да еще надувшись, медленно волооча ноги к машине, а потом забилась в дальний угол, предварительно трижды помахав рукой. Когда машина тронулась, Алина устало сгорбилась, как бы сломалась надвое. Потом внезапно вскочила и, пробежав по коридору, бросила в унитаз свое обручальное кольцо, так резко дернув цепочку для спуска, что в тишине опустевшего дома вода зашумела, как водопад.

И вот она снова очутилась на кухне и начала натягивать резиновую перчатку, обнаружив, что белая полоска на пальце упорно напоминает о прошлом. Задумчиво натянула другую перчатку и, наконец, принялась мыть духовку... Измены, уходы, развод, предательство самых близких людей — все может произойти в жизни женщины. Но даже когда у нее от слабости кружится голова, когда сердце дает перебои, хозяйка воскресает в своих заботах, и ее руки продолжают выполнять привычные дела.

28 ноября 1965

Полдень

В смежной комнате, которая прежде была комнатой Луи и время от времени еще служила ему, так как здесь все еще стояли его холостяцкая кровать и старый мольберт, сейчас яростно сражались в «пинг-фут»¹, девочки выступали против мальчиков, и судьей был Луи, который, держа в руке карандаш и не теряя времени, делал наброски.

Выкрики, удары мальчиков по мячику, посылаемому в ворота девочек, оглушали старую мадам Давермель; волосы ее были искусно подсинены и уложены, и она чинно восседала в кресле, занятая распутыванием ниток для вязания, а заодно и путаницы в своих мыслях. Дети производили столько шума — наверно, соседка с нижнего этажа будет жаловаться. Но что скажешь в такой момент этим несчастным детишкам! Они были до того удивлены подарком отца: часы каждому, и подарены просто так, без

¹ Слово изобретено самими детьми и обозначает своеобразный футбол.

всякой причины — ни праздника, ни именин, ни даже дневника с хорошими отметками, никакого предлога. Возможно, Фернан был прав, сказав, что не стоило бы так отмечать этот грустный день, заставляя детей думать, будто их желают утешить. Во всяком случае, несмотря на «пылающих перепелок», несмотря на торт «Татен», дедушка оставался мрачным. Тайком поглядывая на него и быстро отводя глаза, чтобы он этого не заметил, мадам Давермель отлично понимала настроение своего дорогого мужа! Он, конечно, не жаловался, не проявлял уныния — держать себя умел всегда. Но был желт, словно у него печень разыгралась, и сидел в каком-то напряжении, будто его мучит артрит. Сынок доставил ему немало переживаний. Отказался от профессии фармацевта в пользу изящных искусств, сменил живопись на ремесло художника по интерьеру — ну, это еще ладно! Подхватил Алину, такую, в общем, сварливую бабенку, и сразу же направился ворковать на стороне — и мимо этого еще можно пройти. Что же касается развода, то дед Фернан был ни за, ни против. Он уже много раз говорил: *я никогда в жизни себе такого не позволил бы. Однако я не кюре, чтобы запрещать развод другим.* Алину он не любил и почти никогда ее не защищал. Но четверо детей, черт побери! Луи разбил семью.

— Пойду посмотрю, что там делается в духовке, — сказала мадам Давермель.

Он что-то прошептал — только чтобы напомнить ей о своем существовании, не ожидая ответа; просто взмахнул ресницами — дружелюбная улыбка человека, поглощенного тем, что он делает пометки на полях книги «Теория психотронов», для всякого другого абсолютно неудобоваримой. Мадам Давермель исчезла, мягко ступая в домашних туфлях, но тотчас вернулась. Муж даже не шевельнулся, сидя верхом на плетеном стуле. Он все еще продолжал свои пометки. И, не поднимая глаз от книги, произнес:

— Отныне, Луиза, они будут у нас редкими гостями.

Сдержанное замечание, скупое слово, намек — все остальное надо угадывать по этому лицу, обрамленному бородой, словно лентой от шляпки,двигающейся у висков вместе с густой седою шевелюрой, маскирующей слуховой аппарат.

— До решения суда мы будем видеть их дважды в месяц, — сказала мадам Давермель. — А как потом, это уже зависит от Алины. Если она вернется к себе на

родину, то даже Луи будет трудно с ними встречаться. Надо было вовремя об этом думать.

Луиза обычно весьма легко выражала свои мысли; Фернан же, высказывая сомнения, помахивал рукой себе в помощь. Лет пятьдесят тому назад молчаливый аптекарь беседовал лишь со своими пробирками, а кончил тем, что женился на своей помощнице.

— Кроме того, это еще будет зависеть и от молодой особы,— негромко добавила старая мадам Давермель.

Она потрогала рукой свою драгоценную прическу и снова принялась разматывать шерсть для вязания. Кто же окажется опаснее? Семья Ребюсто, эти провинциалы, в интересах которых, похоже, обернется дело? Или же эта молодая женщина, которой удалось добиться того, чего она хотела, за пять лет?

— Как бы то ни было,— продолжала мадам Давермель,— Луи очень доволен, что у него есть родители. Он мне недавно откровенно рассказывал о своих трудностях. Как быть с детьми? Не может же он таскать их весь день по Парижу — тогда всем станет ясно, что у него неблагополучно дома. Было бы, конечно, замечательно поразвлечь их в день встречи с отцом; но они все разного возраста, и трудно остановиться на чем-то одном — пойти в зоопарк, на матч или в кино. И кроме того, они все же немного растеряны после того, что произошло. У нас дома им, пожалуй, легче, они чувствуют себя непринужденней.

Она умолкла. Седая голова повернулась к ней, острый нос навис над густыми усами, и сквозь них послышалось:

— При детях ни слова, особенно против их матери.

— Боюсь, что это условие не всегда будет соблюдаться обеими сторонами,— сказала Луиза Давермель, повернувшись.

Зазвонил телефон. Она тяжело встала с кресла, подошла к аппарату, стоявшему на столике в стиле Луи-Филиппа, и, когда прижала трубку к своей серьге с аметистом, глаза ее зажмурились, рот беспокойно скривился, обнажив вставные зубы, и она отчетливо произнесла:

— Да, мэтр, мой сын здесь. Передаю ему трубку.— Затем прошептала, но так тихо, что глухой муж ее не услышал: — Это Гранса. Он мог бы позвонить Луи куда-нибудь в другое место.

Как и опасалась бабушка, Четверка, встревоженная

словом *мэтр*, тут же прекратила игру. Они отвернулись, притворяясь, будто интересуются оставленными здесь набросками отца, среди которых был и портрет Агаты, воздушной, резвой, совсем не похожей на недоверчивую, насупленную, укрывшуюся за спиной Леона девочку, — словно зверек, попавшийся в западню.

— Это, конечно, ты. Похожа, — сказала мадам Давермель, разглядывая рисунок через очки.

Бабушка старалась смягчить выражение лица улыбкой, но она, как и дети, томилась. Эти семейные сборища, кажется, станут веселенькими! Агата сразу заняла весьма определенную позицию. Казалось странным, что ее мордочка — копия Луи — выражает тревогу за мать, в то время как Роза — точный слепок с Алины — старается улыбкой ободрить отца, который, подбежав к телефону, даже не потрудился понизить голос.

— Секундочку, я возьму записную книжку, и ты мне продиктуешь текст.

— Кто поможет мне накрыть на стол? — спросила бабушка, чтоб увести детей из комнаты.

Они пошли за ней все, но продолжали напряженно прислушиваться, вынимая из буфета тарелки с цветочками и на этот раз бесшумно ставя их на стол в столовой, отделенной от гостиной передвижной стенкой, которая — увы! — сейчас была раздвинута. Дети хорошо видели отца; прижав головой телефонную трубку к левому плечу, он неловко царапал карандашом, записывая то, что жужжало в ней и предназначалось ему одному; однако, как ни кратки были его реплики, нетрудно было догадаться, о чем идет речь: *Это не слишком сухо, а? Хочешь, я немного сглажу? Ну что ж, ты лучше знаешь, пусть будет по-твоему.* Дети отлично видели всех — деда, там, в своем углу, рядом с ним бабушку, видели и друг друга — все они вместе словно участвовали в каком-то представлении, застыв с каменными, неподвижными лицами. Только Луи, казалось, ничего не замечал. *Ладно, я сделаю копию и немедленно тебе отошлю. Надо заказным, а?* Наконец мадам Давермель не выдержала и без всяких объяснений задвинула перегородку; это произошло в тот момент, когда Луи, отойдя от аппарата, протянул отцу листок, вырванный из записной книжки, и в ответ услышал:

— О нет. У меня по этому вопросу нет твердого мнения. Это твое личное дело.

28 ноября 1965

21 час 05 минут

Алина стояла у занавески в кухне и пристально вглядывалась в сумерки, рассеченные мелким дождиком, в струйках которого расплывался ~~видный свет~~ ~~трех стоящих~~ в близости фонарей.

— Потерпите! Они скоро будут,— сказала ей Эмма.

О том, какие чувства вызовет в ней это первое свидание детей с отцом, Алина раньше и не думала: не думали над этим ни ее сестра из Парижа, ни другая сестра, из Кретея. А вот Эмма подумала. Эмма всегда обо всем думает. Вместе со своей девчонкой Флорой она явилась сюда в пять часов. Даже еще извинилась:

— Мне надо было уроки проверить, а то я пришла бы раньше. Была уверена, что застану вас в таком состоянии. Если бы мне пришлось отправить Флору в гости к отцу...

Флора, подняв носишко, с удивлением уставилась на мать. Все кругом знали, что мать родила ее от своего коллеги гвинейца, когда работала учительницей в Конакри; знали, что она заботливо растила ее одна, сразу перестав думать об этом гвинейском парне.

— Ничем не занимайтесь, Алина,— сказала Эмма.— Ведь ужинать будут только женщины. Я сама обо всем позабочусь.

Одинокая женщина, она была подлинной сестрой милосердия для других одиноких; к тому же она обожала пересуды. Среди друзей Эммы числились главным образом дамы, разведенные или близкие к разводу, чаще всего матери ее учеников. Начиналось обычно с вполне безобидного вопроса: *Что же происходит, мадам? Я никак не могу встретиться с отцом ребенка, на который следовал несколько смущенный ответ: Потому, мадам, что мы сами его очень редко видим, а затем при выходе из школы Эмма подкарауливала мамашу и начинала ей пылко сочувствовать, что приводило к исповеди, к выслушиванию советов, и таким образом эта женщина попадала в твердые руки Эммы: Бедняжки! Они не умеют защищать себя!* Эмма же знала все: законы, права, издержки, формальности, адреса. Она была счастлива, когда удавалось загнать в угол одного из мерзавцев — этим выражением клеймились

мужья, бесспорно его заслуживающие, впрочем, как и те, которые могли бы таковыми стать.

В этот день Эмма была крайне огорчена глупейшим поступком одной из своих подопечных: *Представляете себе, мамаша маленького Гонзаса снова сошлась со своим пьяницей, что скажете, а?* — и решительно нацепила кухонный фартук Алины. Она взбила, перевернула, сложила вдвое омлет с ветчиной, действуя очень осторожно, чтобы не поцарапать сковородку с тефлоновым покрытием. *Мужчины всегда плохо обращаются с такой посудой, когда пользуются ею.* Покончив с оладьями и с кофе, она тут же кинулась мыть посуду, заметив мимоходом, что в доме, из которого деньги уплывают к потаскушкам, никогда нет машины для мытья посуды, это правило. А в девять часов пять минут, ссутулясь, уже стояла у занавески, рядом с изнервничавшейся, непрерывно смотрящей на часы Алиной.

— Надо предупредить Луи, чтоб в следующий раз он приводил детей домой вовремя. Только, пожалуйста, не вздумайте журить их за опоздание.

Алина ничего не ответила. Впервые вся Четверка ушла из-под ее крыла. Она была уже готова вообразить самое худшее. Несчастный случай. Похищение. Поистине у страха глаза велики. Но вот десять минут спустя (ей-то казалось, что прошла целая вечность) она наконец вскрикнула:

— Вот и они!

Луи действительно только что высадил детей на перекрестке, чтобы не делать объезда, так как на этой улице было одностороннее движение, и Четверка уже тянулась домой гуськом, в порядке, обратном их возрасту.

Ги шел без шапки, держа под мышкой плащ и шарф, прыгая по краю тротуара с плиты на плиту, стараясь не ступать на полоски меж ними. Обычно это ему хорошо удавалось. Чем же он так озабочен, что на каждые два прыжка один раз дает маху?

За ним шла Роза в габардиновом пальто, застегнутом на все пуговицы, с низко опущенным капюшоном, все еще встревоженная неотвязной мыслью: *Значит, всему действительно конец?* Именно это, прощаясь, она шепнула на ухо бабушке.

Затем следовала Агата, как колоколом, укрытая прозрачной дождевой пелериной; смявшаяся синтетика похлопывала ее по ногам.

Заключал шествие Леон: серьезный, невозмутимый, он шел по самой середине тротуара и пальцем протирал стекла своих очков.

Они не разговаривали. Они шли поодаль друг от друга. Пригнувшись, торопились к дому под проливным дождем, который вдруг неожиданно хлынул, и — вслед за кошкой с поднятым мокрым хвостом, бросившей своих кавалеров, — ринулись к калитке; в несколько прыжков проскочили шесть ступенек и вот уже топали по коврику, вытирая ноги, затем по коридору и на кухню, где их ждала негодующая мать.

— Это еще что? — закричала она. — Я уже хотела в полицию звонить.

— А разве папа не провожал вас? — спросила Эмма.

Роза поняла. Мамаша Вальду — ее только не хватало! И девочка пробурчала, толкнув дверь:

— Папа довез нас до перекрестка. А что? Ведь нам не пять лет.

Леон помахал рукой в знак приветствия, глухим голосом сказал: «Добрый вечер!» Отныне он единственный мужчина в этом доме. Пример отца, отвечавшего на крики невозмутимостью, уже давно научил его тому же. Любому шуму, бушует ли мать, или бьют стенные часы, можно противопоставить учтивую глухоту. И Леон преспокойно последовал за Розой. Только Агате не пришло в голову, что к ней осмелиться придраться, и она сбросила свои грязные сапожки и пошла мыть их под краном. Алине же хотелось кричать: водопровод засорится! Никто из детей даже ее не поцеловал, значит, она им совсем безразлична. Алина так больше не может. Но Агате она ничего не говорит. Алина смотрит на Эмму, та на нее, предостерегающе приподняв брови, настойчиво требуя мира. Но Алина чересчур возбуждена, чтоб пропускать удобный случай, когда можно выпустить весь заряд. Ну чего Ги так весело приплясывает, так доволен часами, что ли, он ведь уже успел ей наивно поведать: *Видела штуковину? Это мне папа подарил!* что за чертенок, сколько он говорит об отце и как похож на него! Тот же нос, те же глаза, подбородок, да еще эти часы... Если папаша о нем так заботится, тем хуже! Сейчас мы ему покажем, этому Ги.

— А ну, пошел в кровать!

Ги смотрит на электрические стенные часы — по ним ему остается еще двадцать минут.

— Что я сказала: в кровать! — бушует мать, угрожающе наступая.

— Ну зачем ты, Алина?

Слишком поздно: вмешательство Эммы уже не может ее удержать. Справа, слева — шлеп, хлопок, и вот на ничем не повинных щеках багровеют пятна. Гнев Алины утих, руки повисли, она словно оцепенела. Ги с ревом убегает — разве может он понять, что эти пощечины адресованы не ему, а отцу и достались ему как бы по доверенности. Агата это поняла и подчеркнуто пожимает плечами, а затем, в одних чулках, тоже решает удалиться. Эмма стоит рядом, поглаживая тщательно выпрямленные в парикмахерской курчавые волосы Флоры, и тихо говорит:

— Зачем так зло! Вы что, хотите настроить его против себя?

— По крайней мере он не решится больше болтать мне о своем папочке! — бросила Алина и вся в слезах рухнула на стул.

Лучше предоставить фонтану бить. Ведь условились же, что Алина будет с ними ласковой, скажет им что-нибудь вроде: *Без вас, мои дорогие, я провела такой грустный день.*

Но предугадать поведение брошенных жен нельзя. В момент, когда им так нужна нежность, они, не имея возможности сорвать зло на том, кто их покинул, срывают его на ком попало. У Эммы на сей счет уже двенадцатилетний опыт. Несносный человек невероятно быстро делает несносной и вас. Надо внушить этим жертвам, что, чем больше они кричат, тем больше отпугивают тех, кто им сочувствовал, тем скорей отпускают грехи улыбающимся палачам, которые в сравнении с ними ведут себя куда осмотрительней, чтобы не казаться виноватыми. Защищается лучше тот, кто умеет быть сдержанным, организованным и действует с расчетом.

— Оказывается,— вдруг говорит Эмма,— четвертое воскресенье будет двадцать шестого числа, на следующий день после рождества. Стало быть, их свидание с отцом не состоится: ведь первая половина каникул принадлежит вам.

Алина, еще шмыгая носом после пережитого волнения, оживляется:

— Но вторая половина каникул — его. Стало быть, на Новый год дети останутся с ним. — Она нервно всхлипывает и со стоном выкрикивает: — Некому будет пожелать мне счастливого Нового года в полночь.

Но Эмма продолжает свою мысль:

— А вы не собираетесь съездить в Шамрусс?

— На какие же средства? — удивляется Алина, еще не понимая, к чему та клонит.

Эмма идет к двери, закрывает ее. Потом возвращается и шепчет:

— Ради этого стоило бы занять денег, а то продать кольцо или что-нибудь из мебели... Подумайте! Ваши дети никогда не занимались зимним спортом. Какая была бы радость для них! Но если вы должны делить пополам рождественские каникулы и если еще вычесть время, которое займет дорога, то не успеете вы приехать, как надо уже будет возвращаться. Попросите Луи, чтоб он уступил вам его часть каникул.

— Откажет,— ответила Алина.

— Вот и замечательно! — восклицает Эмма. — Тогда дети поймут, по чьей прихоти они не смогут порезвиться на снегу. — И, тихо посмеиваясь, она раскрывает свои карты: — Даже если он согласится, все равно не будет выглядеть лучше. Детям покажется, что отец так быстро перестал ими интересоваться... Ну, что скажете?

Вместо ответа Алина пробормотала что-то невнятное, заговорщически улыбнулась. Ну и Эмма! Она часто преувеличивает. Она никогда не простит мужчинам, что ей пришлось обратиться к одному из них, чтобы стать матерью, а чтобы вкусить удовольствие — к нескольким другим. Тем не менее Эмма порой может дать полезный совет.

— Это, однако, еще не все,— продолжает мадам Вальду. — Но мне пора уходить. Если вы верите моему опыту, Алина...

Алина предваряет конец фразы.

— Да,— говорит она,— пойду посмотрю, чем занялся малыш там у себя.

АПРЕЛЬ 1966

7 апреля 1966

Втиснувшись тучным телом в скрипучее плетеное кресло, Ме пребывала, как обычно, под сенью софоры, подстриженной «зонтом», в глухом углу сада, круто сходящего к Аргосу, мутному, заросшему лохматыми старыми кувшинками, вяло омываемому удлиненные, зеленоватые, морщинистые мели, меж которыми то там, то тут мелькала

пугливая серая спинка плотвы. Пе тоже сидел на своем обычном месте — на укреплявшей берег стене, которая едва достигала метровой высоты со стороны салатных грядок, но возвышалась на три с половиной метра со стороны реки, где стена заросла диким левкомом и сколопендрой. А внизу была лодка, из которой уже больше двух недель не вычерпывали воду; настил ее бултыхался в большой грязной луже, напоминавшей о продолжительных весенних дождях, сама же лодка была притянута к нижней перекладине железной лестницы цепью с висячим замком. Но мсье Ребюсто, рассеянно глядя куда-то перед собой, не замечал ничего: ни Аргоса, катящего свои воды направо, под мостик, через который проходила проселочная дорога, ни все еще оголенных деревьев, там, слева, в парке маркиза, не смотрел он даже на свою дочь, растянувшуюся на теплом песке, которая только что сказала:

— Кстати, в понедельник было вынесено решение. Дело выиграла я.

— Ну и выигрыш! — пробрюзжал мсье Ребюсто. — Выигрывает тот, кто все теряет, пожалуй, лучше не скажешь!

— Да, правда, лучше не скажешь! — эхом откликнулась мадам Ребюсто.

Алина, всегда такая крикливая, здесь, в Шазе, была очень смиренной, хотя своей матери почти не боялась; мадам Ребюсто, доморощенная Кассандра, умела предсказывать всякие мелкие беды — повышение цен на телятину, опасные последствия сквозняков, — но, когда разражались большие несчастья, она тут же превращалась в агнца божьего, глубоко потрясенного несправедливостью к преданному богу Ребюсто. Но перед Леоном Ребюсто, весьма властно управлявшим не только старой усадьбой маркиза, но и собственным домом, дочка робела. Конечно, она научилась стоять за себя. Она все еще не простила некоторые разговорчики, ходившие накануне ее свадьбы: *Ну и повезло Алине, заполучила такого шута, так ей и надо, пусть теперь с ним возится!* Ей все еще помнился гнев отца, когда она во время каникул дала ему прочесть письмо от Луи, видимо продиктованное ему адвокатами: *Можете всем сказать, моя дорогая! Я к Вам никогда не вернусь. Вы же отлично знаете, я решил снова жениться... У отца побагровели шея, щеки, уши, он крикнул тогда непреклонно и решительно:*

— Какое бесстыдство! Нет, Алина, ты не воспользу-

ешься этим любезным посланием. Разглашая его, не делая всего возможного, чтобы избежать развода, ты сама становишься его сообщницей. — И весьма холодно добавил: — Ну что ты мне тут толкуешь? Ты собиралась ехать в Шамрусс? И ты перерешила, когда твой муж предупредил тебя, что хотел бы воспользоваться своим правом и встретиться с детьми там? Надо было иначе поступить: ты должна была воспользоваться случаем, чтобы попробовать помириться с ним вдали от любовницы. Не надо было отказываться от поездки из-за денег. Хотя я и не богат и не так часто вижу с детьми, но я бы охотно понес эту двойную жертву.

Даже мать, столь близкая ему по воззрениям, начиненная теми же предрассудками, остолбенела от этих слов, но все же нашла в себе силы высказать свое мнение:

— Но, Леон, на что же тут можно надеяться? Викарий говорил, что нельзя аннулировать развод, даже если бы вмешался Ватикан. Впрочем, у Алины есть еще право бороться. Она-то замуж не выходит.

Хорошо еще, что они оба не знали всей правды. Что Луи, почуяв ловушку, вдруг предложил встречу в другой гостинице, там же, в Шамруссе, и хотел сам за все заплатить; что Алина уже разгадала его, этого хитреца, мечтающего, наверно, кроме законных свиданий с детьми, устраивать экспромтом еще и дополнительные где-нибудь на лыжне, в отсутствие ничего не подозревающей матери. Что Алина обманула всех, придумав, что получила от своих родных предложение срочно приехать в Шазе недельки на две — туда Луи не осмелится сунуться со своими просками. *Бороться?* Вот она и борется. Ведь не она хотела развода. *Он развелся, он, он. А ее развели.* Тут есть различие! Она не соглашалась признать себя виновной. А как же священное таинство брака? Хотя со дня своей свадьбы Алина не ходила в церковь, однако полного безразличия к религии не проявляла. С появлением же Четверки она снова стала следовать религиозным заветам. Однако, если говорить откровенно, то развод имеет свои преимущества. Например, получать положенную тебе долю, правда, мизерную, а не вымаливать ее нищенски при каждом появлении этого господина, не нуждаться в его разрешении, его подписи, не ощущать больше себя униженной, попусту не ждать, считаться главой семьи, чувствовать независимость — да, всем этим пренебрегать не следует. Подлец, наносящий вам последний удар, иной раз оказывает этим услугу.

— Я посмотрел отметки у детей,— сказал мсье Ребюсто. — Они не столь уж хороши!

— Было бы странно, если бы случилось наоборот,— сухо ответила Алина. — Дети так потрясены.

Но тут же пожалев о своей резкости, Алина подошла к отцу и положила руку ему на плечо, а он нервно бросал в реку камушки, целясь в кувшинки. Этот патриарх, обычно столь уверенный в себе, горестно сетовал:

— Три дочки, и три неудачи! Ты в разводе, Жинетта помыкает своим ничтожеством, Анетта даже такого себе не нашла.

Что тут ответишь? Решив сделать выбор — терпеть, обуздывать или бежать,— дочки управляющего тем самым показали, что были явно не подготовлены к брачному равновесию.

Но Пе уже сменил тему:

— Правду говорит твоя мать? Ты хочешь опять переехать сюда к нам?

— Хотела бы,— уточнила мадам Ребюсто.

— Какая разница? — обрезал ее муж.

Пробный шар. Заполучить обратно хотя бы одну из дочек — а все они, как только исполнилось двадцать один, вырвались в Париж — такова была мечта матери. Видимо, родители уже обсуждали друг с другом эту тему. Впрочем, и Алина говорила о том же с Четверкой, которая не выразила особого энтузиазма.

— Мне это кажется сложным,— сказала Алина. — Как быть с лицом? Как быть с жильем? Не могу же я поселиться у вас со всей своей детворой? Но главное, адвоката тревожит, как бы Луи не воспользовался этим для пересмотра вопроса об опеке, сославшись на то, что из-за большого расстояния он не сможет встречаться с детьми. Мне-то казалось, что скверный муж станет и плохим отцом, что его скоро утомят родительские обязанности. Ничего подобного! Вы даже представить себе не можете, до чего он изводит меня.

— Это доказывает, что Луи любит детей,— заметил мсье Ребюсто.

— Если он редко их видит, то ведь он сам так хотел, а если страдает от этого, то разве не заслужил? — злобно заметила Алина.

— Меня больше всего волнует мысль, что он может привезти их к этой девице,— сказала мадам Ребюсто.

Управляющий вдруг взволнованно вскочил с места.

— Что они знают о ней, скажите толком?

— Все,— ответила Алина. — Нужно же было поставить их в известность. Если все так пойдет, то через полгода она станет их мачехой.

— Нет,— отрубил мсье Ребюсто,— эта женщина никогда не будет их мачехой. Мачеха — это вторая жена вдовца. Но я надеюсь, ты деликатно рассказала им?

— Достаточно было дать им прочесть письмо Луи,— даже не сморгнув, сказала Алина.

— Письмо? И ты это сделала?

Мсье Ребюсто побагровел. Но Алина, чувствуя себя взрослой, принялась кричать:

— В конце концов, папа, то, что он мне писал, хотим мы того или нет,— правда!

Отец тяжело опустился на край стены.

— Конечно, правда! — пробормотал он. — Но дети имеют право, чтоб ее несколько приукрасили.

Вот и нравоучение в стиле: *Послушай меня, моя девочка...* Алина знала это вступление. Знала она и продолжение — поучительную тираду: *Необходимо, чтобы ребенок сохранял хорошее мнение о своих родителях, даже если оно не соответствует истине; чтобы он никогда не участвовал в их распрях, чтобы питал одинаковую нежность к отцу и к матери, а те тоже должны бережно относиться друг к другу...* Алина не могла к этому серьезно относиться. Одинаковую нежность! К виноватому и к невинной. К тому, кто всегда отсутствует, и к той, кто постоянно тут. Дочь искоса наблюдала за выражением лица своей матери, круглого, изборожденного морщинами, обрамленного жирными, гладко зачесанными за уши волосами,— ее чинно опущенные веки уже трепетали от вынужденного молчания. Этот шуанский святоша читает, следуя новым обычаям, Евангелие с амвона. Пусть так. Но как его понять, когда будучи непримиримым в своих воззрениях, он начинает толковать о христианском снисхождении к окаянному? За ошибку молодости, которую теперь не в моде считать ошибкой, разве его мало помучили?! Мужчина всегда старается шадить других мужчин — Алина твердо в этом уверена, тем более, что отец заключает:

— Только что я предложил детям написать ему общее письмо, чтобы несколько исправить то, что ты натворила. Хотя ты знаешь, как я отношусь к твоему мужу.

Взгляд, брошенный на него Алиной, казалось, не смутил его. Он поднялся, разминая ноги.

— Что же касается твоего возвращения сюда, я все же

не советую тебе, несмотря на все наше желание. Конечно, тебя бы приняли неплохо...

— Но я чувствовала бы себя неловко, я это знаю, представь себе!

— Я пошел к теннисному корту,— сказал, уходя, Леон Ребюсто.

Прошла минута. Три домашние утки, дружно переваливаясь, появились под мостиком. Немного поодаль, там, где Аргос, изгибаясь, меняет путь, проплыла, раздвигая носом водоросли, водяная крыса, а апрельское солнце появилось в небесной вышине, окруженное двойным нимбом. Увы! Мягкая прелесть природы не отразилась на обитателях этих мест. В городах, где все течет, все меняется, где люди вас почти не знают, так как встречаются редко, соседи недолго злословят о неприятностях, случившихся в семье. А вот в деревне, где все дома, как и семьи, наперечет, развод, если даже в него не вмешиваются святоши, сразу бросается в глаза, как внезапно образовавшаяся брешь. Эта беда влечет за собой другие, на вас смотрят как на зачумленных. Мужчина может считать себя свободным, а женщина всегда будет выглядеть отвергнутой. Всем вокруг будет понятно, что есть в ней нечто такое, из-за чего она не смогла, не знала как, а может, и не захотела удержать мужа. Несчастье становится ее естественным состоянием, и она, словно частоколом, окружена всякими подозрениями, жалостью, неусыпным любопытством. Вчера Алина сама убедилась в этом, когда ей пришлось вместе с родными пройти по поселку: даже шествие безногих инвалидов не привлекло бы к себе столько взглядов. И в самых обычных приветствиях звучали унижающие нотки утешения... Но родители ошибались. Алина приехала в Шазе на рождество специально, чтобы отдалиться от Луи; потом она привезла сюда детей на вербное воскресенье, но вскоре должна была вернуться обратно, чтобы передать Четверку мужу, у которого им предстояло провести пасху. Алина вовсе и не собиралась искать убежища в Шазе.

— Маркиз нас не предупреждал, но я не удивлюсь, если он сюда вдруг заедет,— сказала мадам Ребюсто.

Мама, конечно, не так уж хитра, но не лишена интуиции. Маркиз, вот именно! Еще одно основание оставаться здесь, в пригороде. Вот почему его преданный служащий отправился прогуляться к теннисному корту. Пе управлял поместьем, владелец которого появлялся здесь не больше чем на два месяца в году, и мсье Ребюсто, таким образом,

все остальное время царил над восемью фермами, владел всеми ключами, мог разрешать иногда своим внукам пользоваться кортом, бассейном, прудом, парком, однако весьма расторопно и учтиво убирал ребят из всех этих мест, если хозяйский «мерседес» вдруг появлялся на большой аллее. *Да пусть они играют!*— конечно, говорил отечески настроенный сеньор, который ребенком тоже бегал в этом парке с Алиной, а несколько позже, желая удостовериться в своих предположениях, засовывал руку к ней под свитер, правда, без грубой настойчивости. С высоты хозяйского величия мсье Ребюсто называли просто Леоном, а его жену — Софи; но их дочь — мадам Давермель: ведь, став снохой аптекаря, она, в сущности, поднялась еще на одну общественную ступеньку, *на известный уровень*, как целых восемнадцать лет гласила молва, и ей уже не нравилось, чтобы ее, как дочь Леона, звали просто Алиной. Однако теперь, с уходом Луи, она теряла и общественное положение. Но хватит расстраиваться! Надо воспользоваться отсутствием отца и вернуться к цели этой поездки.

— Мама,— с трудом призналась Алина,— у меня большие неприятности. После развода нам предстоит еще и раздел имущества.

— Что?!— мадам Ребюсто всплеснула руками.— У него не хватило благородства оставить все тебе?

— Он сказал, что с меня хватит и половины, и то это чересчур много, раз я ничего не принесла в приданое и ничего не заработала.

Поток слез. Сила Алины всегда была в умении рыдать по заказу и всех этим обезоруживать. Но чем могли сейчас помочь эти слезы, капавшие в песок?

— Жаль будет расставаться с мебелью,— продолжала Алина, и подбородок у нее затрясся.— А что касается продажи дома, то это уже просто катастрофа. Добрая четверть уйдет на нотариуса, налоги, оплату агента по недвижимому имуществу. Аванс, который придется вернуть банку «Земельный кредит», съест еще одну четверть! И если разделить остаток пополам, то у меня не хватит на покупку даже самой крохотной квартирки. Мы очутимся буквально на улице...

— И ты не решилась попросить помощи у отца? Ждешь, пока я сама это сделаю?— вяло пролепетала мадам Ребюсто.

Алина рукой вытерла слезы. Растерянность матери показывала, сколь она беспомощна. Молча смотрела

Алина на реку. Если любая ветка — подмога для утопающего, то ведь нужно, чтобы она еще выдержала тяжесть его тела. Мадам Ребюсто забила поглубже в кресло.

— Не строй себе иллюзий,— сказала она.— Дом придется продавать. Ведь ты у нас не одна — вас трое. Даже если бы ты была единственной, и то разве отец смог бы сразу выплатить твоему мужу причитающуюся ему долю да еще платить ежегодные взносы в «Земельный кредит»? Ведь ему уже шестьдесят пять. Будь он чиновником, давно бы вышел на пенсию. Но ему никак нельзя бросить работу: домик, в котором мы живем, принадлежит маркизу, и в таком случае мы бы с нашими жалкими сбережениями тоже остались без жилья. Не буду ничего ему говорить. Зачем терзать его, когда сделать он ничего не может.

— Тем хуже для меня! Придется снимать квартиру,— процедила сквозь зубы Алина.

У нее был дом, собственный дом. Ее дом. А вот родителям всегда приходилось жить в хозяйском, сестра Жинетта снимала небольшую трехкомнатную квартиру в Кретее, сестра Анетта оплачивала одну меблированную комнатенку. Алина была превосходно устроена, ей завидовали, в семье считали самой удачливой, но этот Луи, опять же этот Луи, лишил ее всего. Какой негодяй! Кто отбирает то, что дал сам, наносит сильнейший удар — лучше бы он вообще ничего не давал.

— Приди же в себя, идут дети,— сказала мать, прикоснувшись губами с пушком к щеке Алины.

А та и не заметила, как мать поднялась с места. Пришлось ли когда-нибудь ей — ее матери — ощутить силу ненависти? Око за око, дар за дар, отнятое за отнятое. Она, Алина, дала детей своему мужу и до этой минуты колебалась, внимая добрым советам. Но теперь ей ясно, как поступить: я заберу у тебя, подлеца, детей и нанесу тебе такой удар, что ты скажешь: лучше бы она их не рожала.

| 8 апреля 1966

Хорошо, что этого не видела Наседка и он не услышал ее сострадательного кудахтанья: *Итак, мой милый, ты тоже нервничаешь?* Вторую половину дня Луи пришлось

провести у молоденькой клиентки, с трудом удерживая ее в рамках беседы эстетическо-коммерческого характера, долго обсуждать цвет обоев, окраску стен под цвет дивана, к которому Луи боялся приблизиться, чтобы не оказаться на нем, а потом поспешно удрал, говоря себе, что можно, то должно, и что в другие времена он не ушел бы так — еще одна победа осталась бы за ним; но все же Луи вернулся с заказом в кармане и в шесть часов вечера покинул ателье «Мобилляр», чтоб спокойно отправиться на улицу Сент-Антуан; и там на другой стороне он увидел Одиль, которая целовалась с каким-то парнем лет тридцати. Есть от чего встревожиться!

Но Луи не встревожился. Поток автомобилей, ринувшийся на зеленый огонь светофора, помешал ему тотчас же перейти улицу, но, оказывается, его заметили и оттуда, с тротуара, указывали на него пальцем; конечно, было бы странно, если бы Одиль решилась показать своего первого поклонника второму. Луи поднял руку, что на всех языках означает: а вот и я! Одиль тоже подняла руку. Да и парень повторил этот жест. Ладно, стало быть, и они там стоят, как и он стоит; ни нежности, ни предупредительности по отношению к друг другу, и вид у них простодушный, и смотрят они друг на друга почти так же безразлично, как смотрят на стенные часы. Могло быть одно объяснение: этот парень — ее родственник. Но вот наконец светофор открыл дорогу, и Луи неторопливо перешел на другую сторону.

— Мой брат! — представила Одиль, протянув Луи губы для поцелуя.

Уф! Оказывать доверие — значит доверять самому себе. Но за эти несколько секунд немало мыслей пронеслось у него в голове! Развестись неизвестно ради чего — такое случалось нередко; разве нет горемык, разрушивших свое прошлое, но оставшихся в одиночестве? (Вот и Алина теперь одинока, именно это произошло с ней. Когда же, мадам, я избавлюсь от этих неотвязных мыслей? Не стоит гадать, откуда это долготерпение, которое я проявляю к вам.)

— Раймон позвонил мне в контору, — объяснила Одиль. — И я назначила ему здесь свидание. Его жена и сын сейчас на Эйфелевой башне. Они сами доберутся ко мне домой.

Был ли звонок случаен или организован? Одиль взяла Луи под руку, с другой стороны подхватила под руку брата и повела обоих в метро. Луи с трудом подавлял

смех, которым порой мы маскируем смущение: *Только освободился, а мне уже подсовывают новую родню.* Раймон Милобер, сбегая по лестнице, уже расспрашивал:

— Вы художник, насколько я знаю?

— Мне это льстит,— ответил Луи.— Я, правда, немного занимаюсь живописью, но зарабатываю на жизнь оформлением квартир. А вы, если не ошибаюсь, инженер?

— Не льстите и вы мне,— сдержанно ответил Раймон.— Я всего лишь прораб.

Они влезли в битком набитый вагон. Луи устроился, прижав коленом Одиль. Он улыбался. В общем-то не так уж плох этот сынок книготорговца. Своим шутивым тоном, который столько лет повергал в растерянность его бывших родственников Ребюсто, Луи надеялся взорвать лед недоверия к нему в семье Милобер, лед образовался затор — таково было последствие его пятилетней связи с Одилью. Без сомнения, виноват во всем он, Луи. Встретил как-то на выставке мебели маленькую, затерявшуюся провинциалку, неделю спустя уже сделал ее своей любовницей; подыскал ей работенку, так как не было денег содержать ее,— к счастью, узнал, что есть место стажера в издательстве; с опозданием признался Одилье, что женат и у него четверо детей; ухитрился вопреки соображениям морали и всякой логике сохранить при себе девушку, считая, что все происшедшее — естественно, хотя ее семья считала, что это настоящий скандал; он понятия не имел, что в справочнике Шекса числится по крайней мере четыре зимних поезда и восемь летних, идущих в Ля-Боль. О, мать божья! — как принято говорить в тех местах... Чему же удивляться, если упоминание его имени не вызывало никакого энтузиазма там, на Кот-де-Жад?

Напряжение немного ослабло. Но после некоторого усилия поддержать разговор беседа заглохла, а новых попыток возобновить ее не было, хотя вопрос *«Кто кого выручит?»* так и реял в воздухе, переходя от одного к другому. Одилье пришлось громко воскликнуть: *Сен-Манде, нам выходить*, к сведению провинциала, а парижанину шепнуть на ухо: *Слушай, будь с ним любезен, расспроси о том, о сем.* Это привело к тому, что по пути на улицу Летьер Луи обменялся с Раймоном несколькими репликами о погоде на западе.

Не успели они подняться, как лифт привез вторую партию Милоберов. И тут началось: *Позволь познакомиться тебя с Армелью, это моя невестка, а это мой племянник,*

а вот Луи; она назвала его только по имени, и Луи с головы до ног был внимательно осмотрен небольшого роста дамочкой с зелеными глазами и рыжим мальчуганом, которые топтались на ковре, не зная, где бы усесться в этой маленькой комнатушке.

Но вот устроились как смогли. Мальчик на полу, законное семейство — на двух кубках из пластика, а незаконное — с краю дивана. Портвейн, пирожные. И конечно, обычный семейный разговор: *Как поживает мама?.. А папа?.. А как идет торговля книгами? Все хорошо?.. Ну, знаешь, если б не учебники...* Они уже все перенеслись мыслями в Ля-Боль — кроме Луи, который молча сравнивал Милоберов с Ребюсто. Семейные раздоры удивительны не тем, что они часты или долго длятся, а тем, что они сравнительно легко улаживаются. Вы познакомились с девушкой, только с ней одной, она вступила с вами в близкие отношения, стала вашей, и больше ничьей; эта любовь существует сама по себе — что же общего у нее с семьей, которая тут ни при чем? И вот, нате вам! Всякая перелетная птаха где-то народилась; птенец улетает, а в старом и грязном гнезде горюет ласточка-мать. И только потом начинает строить новое гнездо.

— Как вы предполагаете устроиться?— спрашивает сестру брат.— Здесь слишком тесно, чтобы принимать детей твоего супруга.

Одиль осторожно поглядывает на своего супруга, шедро выданного ей раньше срока.

— Будут некоторые трудности,— сдержанно соглашается она.

И в молчании есть своя сила. Из-за трудностей, тщательно проанализированных, Алина не меньше трех лет оттягивала расторжение брака. Пасхальная неделя рождала одну такую проблему, не слишком сложную, но срочную, поэтому Луи, к собственному удивлению, вдруг вмешался в беседу.

— Сначала,— сказал он,— хотелось бы мне знать, что я буду делать с ними эти восемь дней? Взять отпуск на работе не могу. Рассчитывал без достаточных оснований на своих родителей, но они едут лечиться в Дакс. Единственный выход: воспользоваться их квартирой, призвать на помощь сестру отца — тетушку Ирму, чтобы она стряпала.

Пусть послушают! Пришли сюда такие скромники, поджав губки. Пусть знают, с какими трудностями придется сталкиваться ради прекрасных глаз их сестры.

А ведь трудности только начинаются! Нелегкое это дело — примирять требования двух кланов. А ведь скоро их будет три и даже четыре, если мадам вновь выйдет замуж. Какая была бы удивительная игра генов! Однако раз Луи тут, его балуют любезностью и пониманием.

— Если бы все было улажено,— говорит невестка,— то я бы вам предложила отправить детей вместе с Одилью к нам в Ля-Боль. Но, конечно, пока не...

Пауза. Разговор становится определеннее. Назовите дату, дорогой мсье, мы очень хотели бы привезти в Ля-Боль эту дату. Одиль растерянно мигает, она явно раздосадована настойчивостью своей родни. Покинул старую любовь, превратившуюся в простую обязанность, чтобы погрузиться в новую, и опять оказался в ловушке. Но если уже целых пять лет, триста шестьдесят пять дней в году любовное желание и радости плоти не угасают, значит, ты в том невыразимом состоянии, когда тебе без этой женщины труднее, чем наркоману без наркотиков, и не к чему обманывать себя, говоря: я человек конченный. Пусть приходится менять Ребюсто на Милоберов. Но гораздо важнее и другой обмен: вместо сорока двух — двадцать пять, вместо уксуса — мед, вместо увядшего стручка — душистый горошек. Луи склонился, чтобы лишний раз чмокнуть Одиль за ушком.

— Все будет улажено в июле,— сказал он.

10 апреля 1966

8 часов

Чемодан открыт. Вернувшись ночным поездом (конечно же, поездом, раз машины уже нет — кстати, если Луи успел записать ее на свое имя, теперь надо будет бдительно следить, чтобы при разделе имущества он возместил ей половину), Алина начала развешивать свои вещи в гардеробе. Она повесила голубое платье, взяла еще одну вешалку, вдруг передумала, оставила ее болтаться на металлической перекладине и повернулась к тумбочке, стоявшей у изголовья. Вот она, выписка из решения суда, которую принесли, когда Алины не было дома; это уведомление, адресованное Луи, но Алина внимательно перечитала его не меньше десяти раз. Три ценнейших листка!

Один напечатан на голубой бумаге — на бланке суда высшей инстанции департамента Сены; два других — белые; этот вот на бланке Первой палаты первой секции за номером 21168, с маркой в два франка пятьдесят сантимов и так же, как последний, с текстом на обеих сторонах. Восемьдесят восемь строк — Алина сосчитала. Четырнадцать *«ввиду того, что»*, и в частности: **«ОСНОВНОЕ ТРЕБОВАНИЕ МУЖА: Ввиду того, что Давермель возбудил против своей жены дело о разводе; ввиду того, что мадам Давермель возбудила с той же целью встречный иск; ввиду того, что согласно заключению судебной инстанции от 18 февраля 1966 года Давермель заявляет, что не смог собрать необходимые свидетельства и отказывается подтвердить доказательствами факты, изложенные им по пунктам...»**

Отказался подтвердить доказательствами! Теперь он навсегда останется в роли обвинителя, взявшего свои слова обратно. Алина наклоняется, хватая свое серое платье, расправляет его на плечиках и продолжает читать: **«ПО ЭТИМ ПРИЧИНАМ считаем, что иск Давермеля недостаточно обоснован...»** Слышите вы, Четверка? Не обоснован! Слушайте же продолжение: **«Прижав встречный иск мадам Давермель, выносим решение о разводе супругов по ходатайству супруги и в ее пользу...»**

Алина повесила в шкаф шаль из ангорской шерсти. Но самое главное в конце, после слишком великодушных по отношению к виновнику развода оговорок о том, кому поручается воспитывать и опекать детей, и о праве отца на встречи с ними. Именно так он и назван — «виновник». Так его определяет закон, таков и глагол, употребленный для разъяснения его обязанностей: **«Приговорить Давермеля к уплате алиментов в пользу жены. Приговорить Давермеля к уплате всех судебных издержек»**. Конечно, известно, что все суды, даже гражданские, других формулировок не употребляют, что в этих учреждениях никому не приходит на ум применить менее убийственные глаголы вроде: *принудить, обязать, потребовать*. Ну, это просто великолепно: Луи — приговорен. Слушайте дальше: **«Вследствие вышесказанного Французская Республика требует и приказывает всем судебным исполнителям привести в исполнение вышеизложенное и учредить за его выполнением прокурорский надзор, а представителям власти оказывать поддержку»**. Что, непонятно разве: законодательные органы хотят, чтобы все были извещены о решении суда, и оно должно стать публичным достоянием.

ем. Алина укладывает чулки — на двух спустились петли. «Вследствие чего...» Надо бы этот приговор оставить в гостиной на столе, чтобы о нем узнали все, чтобы каждый гость, если Алина отвернется, заглянул в эту бумагу.

Раздался звонок, и Алина, побежав было вниз, вернулась и бросилась к окну, выходящему на улицу. Это пришли гости на традиционный пасхальный ужин: яйца в майонезе, баранья ножка, маринованная стручковая фасоль, присланная из Шазе, пирог с консервированными сливами, тоже оттуда. Есть и некоторый запас на случай, если явится кто-то неприглашенный. Сестра Анетта, которая по субботам, дважды в месяц, ночует у Жинетты, сопровождает семейство Фиу, а вон и сыновья, Артюр и Арман, уже на добрую голову выше своего папаши-коротышки. Алина стучит по стеклу, это условный сигнал: *а ну-ка, девочки, поднимайтесь наверх!* Мальчики ушли к ее сыновьям, в комнату внизу. Сам Анри Фиу, у которого своего садика нет, счел, что грядки Алины заброшены, возмутился, бросился за тяпкой и, как отличный помощник бухгалтера, посеял морковь и горох аккуратными рядами, напоминаяшими колонки цифр в ведомостях. Хоть это сделано — и то хорошо.

Лестница уже поскрипывала под каблучками-гвоздиками. Комната заполнилась гостями. Поцелуй в обе щеки. На линолеуме, испещренном маленькими вмятинками, подпрыгивают тощая Анетта и пухлая Жинетта — впрочем, довольно похожие, а Луи даже как-то заметил, что если слегка накачать тощую, то ее совершенно не отличить от толстой. Радостно подпрыгивает и Агата, выскочившая из ванной, дабы принять участие в диспуте о бюстгалтерах. Не хватает только Розы. Но Роза в этих праздниках обычно не принимает участия.

— Ну как, ты хочешь лишить его встречи с детьми? Не боишься неприятностей? — спрашивает очень возбужденная Жинетта.

Если есть на свете образец телефонного симбиоза, то это, конечно, Алина и ее сестры, а также подруги, которые звонят из конторы, из кафе, из автомата или из дому, чтобы в любое время быть в курсе событий семейной хроники и распространять ее дальше. Алина, вернувшись домой, позвонила только Эмме, чтоб узнать ее мнение. Однако новость мгновенно разнеслась. Сестер не приходилось убеждать: они все были заодно, им не требовалось обсуждать детали, чтобы признать правоту сестры. Агата

внимательно прислушивалась: пристрастная защита ободряет. Алина же пустилась в объяснения:

— У Леона самая настоящая ангина, у Ги тоже небольшая краснота в горле. На сей раз весьма кстати. Во всяком случае, надо попробовать. Моя маленькая Агата и сама вам скажет, что с нее хватит! Ведь всю неделю дети заняты. Прежде воскресенье было в их распоряжении, делали что хотели. Теперь же каждое второе воскресенье по решению суда принадлежит их отцу. Нравится им это или нет, он их все равно увозит. А вот сегодня «его» воскресенье совпадает с пасхой и еще с днем рождения Агаты. Я просила Луи оставить дома всю Четверку еще на денек и приехать за ними на следующий день... И разговаривать не стал! Даже кричал: он, видите ли, глубоко сожалеет, что уступил мне рождество и что я пользуюсь любым случаем, лишь бы урезать его в законных правах.

Агата снова начала кусать ногти, и не мудрено догадаться, почему. Как плохо все получается! Времени мало, пора приободриться. Ну что же, подарки она все равно получит, но сам праздник, свечки на пироге, веселая вечеринка с приятелями — все пропало! Может, ей справят день рождения там, на улице Вано? Однако разве это можно сравнить с весельем дружеской пирушки!

— Свидание с папой,— говорит она,— не должно стать наказанием.

Алина послала нежный взгляд своей милой девочке. И тут же поспешила к окну — обозреть улицу, будто враг уже близок.

— Я запретила Луи приходить до обеда. У детей тринадцать дней каникул, а половина тринадцати — это шесть с половиной. Нет, права Эмма: нужно нажимать, нужно вывести его из терпения. Уже целых полгода я отказываюсь менять дни свиданий с детьми, переносить с одного воскресенья на другое. Но отныне, если Луи до десяти часов не появится, будем считать свидание отменным.— Алина вынула из кармана жакета крохотную записную книжку, перелистала ее.— Я кое-что тут подсчитываю. Луи три свидания пропустил, один раз не предупредив заранее. Дважды он пришел после десяти часов. Он еще достаточно осторожен и старается без задержки переводить алименты. Даже досадно. Мы уже заблокировали его счет в банке до конца раздела имущества. В случае необходимости мы можем наложить арест и на его жалованье. А если он перестанет платить нам и я

подам на него жалобу, он рискует получить три месяца тюрьмы... Вы об этом знали?

Глаза Анетты мстительно сузились. Жинетта, более сухая, промолчала. Агата снова принялась грызть ногти. Может, Алинахватила через край? Некогда в Индокитае, во времена колониальных законов, можно было изгнать наложницу-туземку, но детей, зачатых от белого, она могла оставить себе. А развод, разве не похож на такое изгнание: ведь и за ним следуют притязания на тех, что зачаты в твоём чреве. Спровадьте суку — и щенят больше не будет. Подрубите яблоню — и останетесь без яблок.

Алине все же пришлось, к великому сожалению, сбавить тон:

— Итак, двое больных и одна идти отказывается. Поглядим, как отреагирует папенька.

— Но Розе ты не сможешь помешать,— сказала Агата.

— Ну и пусть отправляется,— выкрикнула Алина.— Силой я никого не держу.— Усмехнулась и повторила:— Пусть отправляется! Это подтвердит нашу добрую волю.

10 апреля 1966

Утро

Какой прекрасный день! В восемь часов утра, после телефонного звонка брата, остановившегося с женой в маленькой гостинице Двенадцатого округа, Одиль позволила себя убедить и решила: *Раз ты собираешься все шесть дней провести со своими детьми на улице Ваню, то я воспользуюсь этим и съезжу в Ля-Боль.* Конечно, она права, принимая такое решение. Но уехала она впервые за время их прекрасного уединения, уехала с целью узаконить их союз в глазах своего клана и других кланов тоже, а что такое клан, Луи отлично знал.

В половине десятого позвонил Габриель, на этот раз подстрекаемый Алиной: *Алина просит напомнить тебе, что сегодня день рождения Агаты. Агата хочет отметить свой праздник непременно дома, в Фонтене, того же хотят ее братья и сестра, к тому же двое из них больны. Я думаю, будет лучше, если ты заедешь за детьми не сегодня,*

а завтра. Луи, однако, счел это неприемлемым по двум причинам: уступить Алине означало вызвать сотню других притязаний; к тому же допустить, что день рождения можно хорошо провести только у матери, значит признать за отцом второстепенную роль

В десять часов утра Луи позвонил к Гранса. Адвокат, к счастью, никуда не уехал — опасался предпасхальных заторов и несчастных случаев на дорогах. Гранса тут же начал ворчать, что Луи вытащил его из постели, что он забыл послать ему гонорар, который полагался еще в начале месяца. Все это вызвало у Луи раздражение. *Авансы, судебные расходы, определения издержек, акты об описи имущества за подписью судебного чиновника и многое другое — это уже стоило ему около полумиллиона. Пять тысяч франков?*— повторил Гранса, который считал, что исчисление в новых франках выглядит скромнее. — *Делу так быстро дали ход, поднажали, уловили благоприятную ситуацию, провернули вне всякой очереди в суде, все «прояснили»— за такую работу это не дорого.* Луи перевел разговор, поговорил о судебном решении — два дня назад он получил официальное уведомление — и добавил, что некоторые выражения стоят у него просто поперек горла. *Это форма,*— сказал Гранса, — *всего только форма. Я ведь тебя предупреждал. Архаическая, оскорбительная, отжившая, согласен с тобой! Мы все во Франции еще нет утвержденного развода — есть только санкционированный развод. Еще хуже то, что мы выносим решения, исходя только из фактов, без анализа породившей их причины. Измена — это факт, даже если она может быть объяснена длительным конфликтом с женой. Твоя супруга в восторге, можешь мне поверить. Ты в глазах всех черный баран, а она — белая невинная овечка.* Луи рассказывает о своих распрях. Должен ли он уступить в отношении пасхальных каникул? Гранса из адвоката вновь превращается в кузена. Он сердится: *Только этого не хватало. Брак свой вы уже испортили — можно было бы не портить развода. Оба вы чертовски надоедливы, и ты, и она, честное слово! Вам мало ссор, надо еще отыгрываться на детях...*

Растерянный, озадаченный Луи в одиннадцать часов надел пальто. В одиннадцать часов пять минут он его снял. В одиннадцать двадцать снова набросил, вскочил в машину и, боясь опоздать, с места дал газ. В итоге он приехал на десять минут раньше. Позвонил, дверь откры-

лась и сразу закрылась, пропустив лишь короткую реплику:

— Полдень еще не наступил!

За портьерами кто-то ходил. Толстая Жинетта, смеясь, приподняла одну из них. Ее сменил Леон, с серьезным лицом показывая пальцем на свое завязанное горло. Ладно, допустим. Но если Леон на ногах, значит, ангина у него не сильная, он слишком благоразумен, чтобы обманывать. У самой двери шел спор: слышно было, как Роза перебивает мать... Соседские стенные часы пробили полдень — удары донеслись через открытое окно. Но дверь не открылась. Луи позвонил второй раз. Никто не отозвался. Спор уже превратился в перебранку. Оставался единственный способ: повторить опыт осады Иерихона, одолеть противника шумом, заставить его считаться с соседями. Нерешительность, которая вначале владела Луи, сменилась раздражением, перешла в ярость; хорошо знакомая атмосфера торга. Луи нашел осколок стекла и умудрился загнать его в звонок. Затем вернулся к машине, уселся и стал выжимать из клаксона бесконечные очереди. Местные собаки с лаем присоединились к этому шуму. В домах № 20, № 30, № 33 отдернулись занавески, открылись окна, показались жильцы, только начавшие обедать. Из дома № 38 уже вопили: «Когда же кончится этот гвалт? У меня спит малыш...» Уже не нужно было идти на штурм, перелезть через решетку. Дверь открылась, и вышла Роза.

— Разве ты хотела, чтобы я сегодня не приходил? — спросил Луи, обняв дочь.

— Я? Вовсе нет! — ответила Роза, лицемерить она не умела.

Все ясно. Можно было удовольствоваться и частичной победой, а завтра призвать на помощь власти: сегодня у них тоже праздничный день, как и у их подопечных, и никто не согласится идти на подмогу. Клаксон уже умолк, а вот звонок, к несчастью, все еще дребезжит, Алина в отчаянии открывает окно своей комнаты, в котором она, как на церковной кафедре, возвышается над шоссе и садиками. Общественное мнение? Ну и пусть! С улицы хорошо видно, как она тащит к себе упирающуюся Агату, громко крича *urbi et orbi*¹:

— Агата просит тебя уступить нам полдня на пасху,

¹ Городу и миру, то есть во всеуслышание (лат.).

чтобы она могла отпраздновать с нами свое шестнадцатилетие. Другого подарка от тебя ей не нужно. Тебе так уж трудно доставить ей удовольствие? Ты, видно, проникся к Четверке внезапной страстью. До развода ты их видел куда реже — не больше чем дважды в месяц...

— Потому что мне приходилось и тебя тогда видеть! — вопит Луи.

— Брось, — говорит Роза, потянув отца за руку. — Вы оба бог весть до чего договоритесь.

Надо признать, что и Агата там, наверху, делает то же, что и Роза. Но не раскрыта еще одна тайна: где же Ги?

— Я сам хотел бы видеть больных, — говорит Луи уже более спокойно. — Хочу проверить, действительно ли они больны.

И тут же Алина вновь взрывается истошным криком:

— Раз не веришь, ступай за полицейским комиссаром. Пусть он измерит им температуру! Но тебе я запрещаю совать к нам нос.

— Ты этого добиваешься? Ну и отлично: я сейчас подам жалобу.

— Да перестань же, — настойчиво просит Роза.

А как можно поступить иначе? На глазах все еще разъяренной, побледневшей Алины, которая уже поняла, что ее слова легко использовать против нее же, Луи резко трогает с места, и машина мчится в комиссариат.

Но уже десять минут спустя Луи крупным шагом выходит из комиссариата, сопровождаемый с фланга Розой. Грязный флаг, свисающий над скучающим караульным, даже не шевелится от ветерка. Никакого усердия не проявил и мелкий чинуша, находящийся на дежурстве.

— Сегодня, знаете ли...

Пространные разъяснения заставили его усомниться в том, что вмешательство с его стороны необходимо.

— Вы же сами говорите: двое больных, одна тут, вместе с вами. Мне кажется, барышня права. Из-за того, что один ребенок не пошел...

Барышня — это он так о Розе, уже надоевшей Луи своими непрерывными просьбами:

— Перестань, папа, пожалуйста, перестань.

Полицейский ее поддержал и затянулся сигаретой, торчавшей у него во рту:

— Ох уж эти истории с разводами! Если вмешиваться по каждому спорному делу, мы бы, пожалуй, с ног сбились!

Наконец ему все надоело, и в раздражении он буркнул, предостерегающе подняв руку:

— Я, конечно, могу принять ваше заявление и дать ему ход. А есть свидетели, которые подтвердят, что вам отказано в свидании с детьми?

— Да вся улица!— сказал Луи.

— Улица — это еще не фамилия, — отпарировал любящий точность чиновник. — С собой у вас брачное свидетельство? А выписка судебного решения есть — та, что разрешает вам брать детей?

Луи похлопал себя по карманам. Брачное свидетельство? Оно ведь спрятано у Алины. Выписка из решения суда? Трехстраничный текст, да еще на плотной бумаге довольно большого формата — кто же будет постоянно носить ее с собой, даже вчетверо сложенной в бумажнике?

— Весьма сожалею! — заключил чиновник с выражением сочувствия и напоследок добавил: — На вашем месте я бы пошел к судебному исполнителю. Но в воскресенье там не работают.

Так Луи и пришлось ретироваться, уязвленному, расвирепевшему. Машина стояла недалеко, метрах в тридцати от комиссариата, и, подойдя к ней, Луи зло расхохотался. Он, оказывается, поставил ее не с той стороны, где положено, и какой-то блюститель порядка счел нужным, проходя мимо, наградить его на пасху штрафным талоном, который Луи и обнаружил у себя под стеклоочистителем. Однако мелкие неприятности иногда помогают легче переносить крупные, к тому же Роза, желая утешить отца, крепко обняла его. Луи ощутил, как свежа, нежна и уже хороша собой его дочь, как приятно от нее пахнет, как она счастлива, что сегодня отец принадлежит ей одной. Если ее недостаток в том, что она похожа на мать, то сходство это все же воскрешает прежнюю Алину, безобидную, ставшую почти легендой где-то в дымке воспоминаний. И таким же, как у ее матери, маленьким ротиком это дитя дважды его поцеловало, сказав разумно и ласково:

— Да и для нас это не так уж весело. Можно подумать, будто мама хочет забыть, что родила нас от тебя. И все же...

Ей, Розе, еще нет пятнадцати, но по уму уже все двадцать. Она и маленькой была такой же — пылкой, непохожей на других, очень сообразительной, здравомыслящей не по годам, остроумной. *И все же...* Луи уже выехал, несколько превысив скорость, на авеню де Пари, он и виду не показал, что понял. Ни от кого другого, кроме

Розы, он не стал бы выслушивать этот деликатный намек: *И все же вы ведь любили друг друга...* Чтобы дышать, нужны оба легких, чтобы жить — отец и мать. Если теперь родители — лишь обломки распавшейся семьи, то я, во всяком случае, родилась от их любви. Если и это не так, то дышать больше нечем... Розе казалось, что нельзя даже затрагивать эту тему. Другим — тоже. Какая разница между выбором Розы и Агаты? Роза предпочла отца, *потому что он создал ее вместе с матерью*, Агата предпочла мать, *потому что она создала ее вместе с отцом*. Разве это не одно и то же? Те, чей родной город был уничтожен войной, сироты, у кого в метриках два прочерка, — разве не остается у них навсегда ощущение увечности, желание разыскать родных или узнать, кто они? Но тем, кто знал их и утратил, нисколько не легче, они молча вопиют: *Тех, от кого мы произошли, больше нет, и мы не можем жить полной жизнью.*

Луи едет по авеню дю Трон. Он недоволен собой. Он дал себе волю. Перед Алиной нужно было хранить холодное достоинство. Пусть вся вина падет на нее, тем лучше. Но что это? Роза погладила его руку — ту, что лежала на руле, хоть это строго запрещалось, — и сказала:

— Если бы наши дедушка и бабушка расстались в дни твоей юности, ты бы лучше нас понимал.

— Гм! — ответил Луи.

А собственно, почему он так удивился? Если проводить сравнение с собственным детством, то сама мысль о возможности развода кажется ему дикой. Просто нелепой. Но почему же нелепой, для кого? Справа — мать, слева — отец, а он, Луи, посередине, ему разрешили полежать минут пять в уютном тепле большой кровати красного дерева; это его самое первое воспоминание, и это воспоминание свято, будто простыня с затейливо вышитыми инициалами была покрывалом с церковного престола, принадлежащего богу домашнего очага, единому в трех лицах. Да, да, так оно и было... Именно об этом напомнила сейчас Роза.

| 11 апреля 1966

Больной ангиной Леон, свернувшись клубком в теплом халате, поглядывал одним глазом на экран телевизора,

придвинутого к дивану, другим — в учебник Монжа и Гиншана. Приятно следить за матчем еще и потому, что хорошо знаешь игроков и комментатора. К тому же после большой чашки грога и разных порошков Леона охватило блаженное состояние, и он наслаждался. Из подвального этажа опустевшего дома, где остались только кошка, Ги и Леон, слышались фальшивые и нестройные рулады маленького любителя флейты.

Накануне в это же время тут было не меньше двадцати человек, танцующих, они исцарапали весь паркет. Верховодила Агата, а Леона, освобожденного от всех хлопот, приставили к радиоле. Дядя Анри кружил дам и отдавал им все ноги. Габриель рассматривал приготовленное угощение, подарки, платья, сшитые для танцев, прикинул расходы и громко сказал:

— Это легкомысленно, Алина. Твоя щедрость никого не удержит.

Он ушел, а праздник продолжался до глубокой ночи, хотя мать устала, голова ее клонилась на грудь, и она то и дело терла глаза, чтобы подавить сон, стремясь показать любимым детям, что готова ради них жертвовать и отдыхом и деньгами.

— Гол! На тридцать второй минуте команда Овернского спортклуба открывает счет, — выкрикнул комментатор.

Защита была прорвана верным ударом, и Леон, большой специалист в этих делах, усилил звук, повернув регулятор босой ногой. Счастливец, забивший гол, стоял, раскинув руки буквой V¹, а товарищи по команде наперебой обнимали и поздравляли его. С колен Леона соскользнули на ковер господина Монж и Гиншан, которых он бросил на 67-й странице.

Сегодня утром вернулась к домашнему очагу Роза — она принесла послание, которое тут же принялась читать вслух: *«По просьбе Розы я не подал жалобы. Но сделаю это через час, если она не приведет ко мне тех, кто вполне здоров... Что же касается заболевших, то пусть приезжают, как только поправятся...»*

— Спасибо, Роза, я никогда не сомневалась в тебе.

Мать быстро завладела бумажкой и прервала чтение, исключив возможность всяких комментариев.

¹ Victorie — победа (франц.).

— Хорошо! Бегите, девочки! Нет, Ги, ты останься. Не будем рисковать: тебе выходить еще нельзя.

Конечно, она не могла отказаться от своих слов, и Ги, который вчера был так доволен, что его оставили дома на день рождения Агаты и что можно будет еще повеселиться на улице Ваню, ушел и заперся у себя в комнате. Тотчас же началась пытка звуками: он с яростью заиграл на флейте «Фульского короля» — мелодию, которую Алина по непонятным причинам не выносила. Впрочем, он не достиг своей цели; он не знал, что пришел Габриель и предложил:

— Алина, в полдень ко мне придут друзья. Будут Дюмоны и еще кое-кто. Приходи пообедать с нами. Да-да, тебе пора немного проветриться. А мальчиков можно до вечера оставить одних. После вчерашнего пиршества у вас столько еды — им вполне хватит.

И она согласилась, с трудом скрывая, как ей приятно это приглашение; и на прощание громко сказала:

— Конечно, ты прав, теперь я свободна. Тряхну старинной — вспомню девичьи дни... А ты, Леон, присмотри за малышом.

Снова восторженный вопль с экрана — вот и второй гол! То, что мать действительно некогда была молодой (иногда она, ворча, напоминала об этом), что она вполне может — ведь Алина так редко принимала у себя и еще реже бывала в гостях — пойти куда-нибудь пообедать разок на чужой скатерти, которую ей не нужно будет потом бросать в грязное белье, — все это как-то не доходило до сознания Леона. Однако он понимал: друзей, которые бы приглашали к себе или приходили к ним домой, уже осталось мало, и тех, кто составлял исключение, следовало всячески поощрять. Гул на экране все еще длился и вдруг закончился странным металлическим звуком. Пора было поднять с пола Монжа и Гиншама. Ведь экзамен приближался. Но этот странный металлический звук совпал с тем, что замолкла флейта... Черт возьми! Леон быстро отодвинул занавеску и успел увидеть, как там, в конце улицы, улепetyвает этот дрянной мальчишка.

Что мог сделать Леон, босой, в халате, с налетами в горле? А если он ничего не предпримет, то как это истолкуют? Когда беглец явится на улицу Ваню, его примут с распростертыми объятиями, осмотрят и с упреком скажут: *Малыш-то совершенно здоров. Значит, ты,*

Леон, об этом знал? Мать тоже будет недовольна: Я на тебя понадеялась, а ты дал ему удрать. Уверена, ты это сделал нарочно! Каждая сторона будет считать его сообщником противника, а ведь он ничей не сообщник — нет и нет! К счастью, надо проехать двенадцать станций по Первой линии, сделать пересадку на площади Согласия, потом еще четыре остановки, и только тогда Ги доберется до станции «Севр-Бабилон» — таким образом, Леону хватит времени подумать и позвонить, чтобы на улице Вано все знали, как глубоко он сожалеет, что не смог прийти вместе с сестрами — он уже давно должен был бы позвонить.

Взволнованный, он набрал номер, ошибся, опять набрал. А вдруг там все куда-нибудь ушли — что тогда будет делать Ги? Подумал ли Ги о том, что это нехорошо: вчера ни словом не возразить матери, не отпустившей его, а сегодня взять и удрать? Не станет ли Ги болтать, что его заперли? Прелестный разговорчик, и, надо думать, не последний, раз они уже не одна семья, а два лагеря.

— Алло, папа, ты?

Вот хорошо, трубку взял он. Леон несколько раз кашлянул и проговорил хриплым голосом:

— Алло, папа... Хочу предупредить тебя: побудь дома. Мамы сейчас нет, а Ги этим воспользовался и убежал.

На другом конце провода ответили вопросом, на который был тут же дан ответ:

— А почему ты считаешь, что я должен был ему помешать? Он оказался здоров, к тому же сейчас рассуждать об этом поздно. Пока!

Итак, никто не предан. Леон обеспечил себе поддержку справа, теперь нужно обеспечить слева. Он начал перелистывать алфавитную телефонную книжку, где записаны номера телефонов семейного клана, не мог сразу решить, как звонить Габриэлю — по домашнему или служебному, — затем отбросил номер с индексом «Прованс» (видимо, телефон банка) и, набрав другой с индексом «Вожирар», как раз попал на своего крестного:

— Говорит Леон. Можно попросить маму?

Десять секунд — и она у трубки; разумеется, не дожидаясь объяснения, уже встревоженно кудахчет:

— Что случилось? С кем-нибудь плохо? Ну говори скорей!

— Ничего серьезного, — ответил Леон. — Я задремал, а проснувшись, заметил, что Ги сбежал. Можешь догадаться куда.

Она в ужасе. Измученно бормочет:

— Боже мой! Твой отец скажет, что Ги совсем здоров, что это я его упрятала.

Но Леон, перейдя с фальцета на бас, предложил:

— Хочешь, попробую все уладить? Скажу сейчас папе, что я сам решил отпустить Ги, потому что он почувствовал себя лучше.

И он положил трубку: хороший сын, добрый брат, легко добившийся одобрения обеих сторон.

11 апреля 1966

То же время

Вернувшись в столовую, где гости спустя три часа после начала обеда только еще перешли к кофе, Алина, раньше отказавшаяся от коньяка, вдруг на ходу схватила рюмку Габриеля и залпом осушила ее. Телефонный аппарат находился рядом с дверью, и все присутствующие могли слышать и понять, что произошло. Однако никто у нее ничего не спросил, только Габриель бросил испытующий взгляд, но ответа не получил. Алина уже давно усвоила: молчание рождает сочувствие! Проказы Луи стали известны ее друзьям еще задолго до того, как она об этом узнала, и, конечно, они весьма подробно смаковали их, равно как и другие такие же новости, сидя за рюмкой ликера. Наверняка даже пари держали: *Разведется или не разведется?* Но ни одна из этих трех сорокалетних пар — Дюмоны, Бринге, Тулу, — ни один из мужей и, что еще хуже, ни одна из жен, которым, как и Алине, мужа, наверно, изменяют, ни разу ее не предостерегли. Тем более что лет двенадцать тому назад, меж появлением на свет Розы и Ги, в то время, когда Луи уже не проявлял к своей жене пылкого интереса, его проявил один из здесь присутствующих, Альбер Бринге. Безуспешно. Впрочем, алчущих молодых людей всегда хватало с избытком, а отвислые щеки Бринге Алину не соблазнили; но самое забавное было в том, что как-то раз Алина позволила себе несколько поцелуев в такси с каким-то торопливым студентом и даже пообещала прийти на свидание, однако слова не сдержала, так как ей самой показалось это

предательством! Такой шепетильности Луи, конечно, не заслужил.

Сев на свое место, Алина застыла. Вокруг была обычная невнятица, бессвязная беседа, звон рюмок, кольца дыма — ничего примечательного. И вдруг ей захотелось, отбросив всякое стеснение, выяснить все. Кто в этих трех семьях кого любил? Кто кого обманывал? Дюмон — тот спит со своей секретаршей, это все знают. А Тулу, Бринге и эти двое молодых холостяков, приглашенных для украшения общества, да и сам Габриэль, вдовец из вдовцов, но облеченный властью и окруженный хорошенькими машинистками в «Лионском кредите», — сколько лжи источают они за день? Все знают, сколько воды тратит семья, сколько газа и электричества уходит в доме. Известно, сколько конфет выдает на улице автомат. Каждый раз, когда мужчина занят любовью, нужно регистрировать это с помощью счетчика. Тогда останется только снять показания. И будет ясно, как следует держаться. Но вот справа от Алины кто-то спросил:

— Вы давно не видели Гертруду, вашу коллегу?

— Давно, — отвечает Лаура Тулу, почтовая служащая. — Она уехала в Брест. Но я встретила ее мужа — как будто он перестал на нее злиться.

То, что на свете есть женщины, сами бросающие мужей, как-то утешало. И все же Алина не смогла удержаться и вмешалась.

— Чересчур великодушен, — сказала она. — Вот Луи покинул меня, но, клянусь, я еще с ним поквитаюсь.

Почему же они все так смутились? Есть две категории покинутых жен: те, которые прощают (их считают дурехами), и те, которые доставляют неприятности (таких обзывают негодьяками). Чтобы сохранить уважение к себе, лучше принадлежать ко второй группе.

— Вот вы наконец и свободны! — роняет Лаура.

— Это, пожалуй, не так уж и плохо, — ответила Алина. — Но будем откровенны, у меня нет шансов начать жизнь сначала. Мужчины, которые могли бы примириться с тем, что от меня осталось, не соблазняют меня. У меня нет никакой профессии, нет иных средств к жизни, кроме алиментов, а они могут обеспечить лишь самое нищенское существование. Так что мне ликовать не приходится.

Казалось бы, для присутствующих, с которыми могло бы случиться то же, что и с ней, такая беседа должна быть невыносимой. Но нет! Автомобильная авария, уход мужа — все это бывает только с другими, а раз сама

пострадавшая толкует о своей беде, вежливость никому рта не закрывает. И пошло! За три минуты все эти женатые люди обсудили вопрос со всех сторон; эти великодушные, свободомыслящие, как будто чистосердечные — не будем дальше перечислять их достоинства — болтали, лишь бы показать себя, но не верили ни одному своему слову. Один из холостяков, Самюэль, бросил фразу *о праве на счастье*. Анна Дюмон, уверенная в том, что такое право у нее есть, поддержала его, глядя с симпатией на Алину и не веря, что счастье одного приносит несчастье другому — ведь он же становится свободным. Свобода, не так ли? О святая свобода! Смахивающая на двуликого Януса Венера, которой не возбраняется стать Юноной! Другой холостяк, Марк, разбередил всех еще больше, вкрадчиво заметив, что развода в конце концов вовсе могло и не быть, если бы не сам брак, который представляет собой не что иное, как узаконенное сожительство, если бы не семья, ячейка буржуазного общества... Да и Габриель тоже вмешался в эту дискуссию, загорелся, со страстью защищал семью, говорил, что сексуальная функция может быть легко отделена от функции воспроизводства, но семья не свободна от функции воспитания; что потребность в общей территории для всех живых существ, этого жизненного пространства, на которое никто не может покушаться, создает частную собственность и социализм; что семья тоже необходима на тот период, когда воспитываются дети, что время это не укорачивается, а удлиняется; что в момент, когда специалисты подчеркивают, как важно узнать друг друга, понять, в чем состоит разногласие и в чем равновесие между родителями и детьми, было бы самоубийством стараться разрушить то, что продиктовано самой природой, лишь потому, что такова же практика буржуазной системы. А свободное дыхание, дорогие дамы, оно, по-вашему, тоже буржуазно? Все это было правильно, но абстрактно и в качестве соболезнования звучало даже смешно. Алина перестала слушать. Она была уже вне мира семейных людей, твердящих себе, что все, конечно, непрочно, но они пока уцелели и являются превосходным исключением из общего правила.

— Кстати, вы слышали, что малышка Дену выходит замуж?

От черного к белому. От пепла к пламени. Двинемся-ка в обратном направлении. Алина углубилась в свои мысли. Надо внимательней последить за Ги. Без сомнения, наказать его за побег. Но как? Надо его и побаловать тоже. Но

чем? Надо, наконец, научиться лучше бороться за себя. Кажется, Эмма говорила о клубе разведенных жен «Агарь»? Адвокат Лере слишком мягок. Ничуть не лучше ее отца, который сказал ей, когда она была в Шазе: *При разделе имущества требуй лишь то, что тебе причитается по закону. И ничего больше.*

Из вежливости Алина еще минут десять посидела, потом встала, сославшись на больных детей.

— Бедняжка!— сказала Лаура Тулу после ее ухода.— Она совсем пала духом.

ИЮЛЬ 1966

2 июля 1966

За обитой войлоком дверью Луи не без раздражения слушал Гранса. Тот вел себя не как его родственник, а как адвокат — только обращение на «ты» свидетельствовало о том, что он является и тем и другим,— а ведь Гранса обходился Луи не дешевле любого другого адвоката и был ему не более предан, чем любой юрист со стороны. Хотя о приходе Луи было доложено, кузина не вышла поздороваться с кузеном, а секретарша впустила Луи в кабинет лишь после по меньшей мере шестого клиента, выхода которого он долго и терпеливо дожидался в гостиной, полуслужебном-полудомашнем помещении; Луи мог засвидетельствовать, что из нее на время приема были убраны два кресла в стиле Жакоб и несколько дорогих безделушек.

— Подвожу итог,— сказал Гранса.— Имущество, нажитое семьей, в момент раздела должно оцениваться по максимальной стоимости. Мадам Ребюсто оставлена в доме до конца процедуры; она не может возражать против продажи имущества.

Мэтр эффектно выделялся на фоне стеллажей, заполненных толстыми книгами по вопросам права. Впрочем, так же выделяется аптекарь на фоне своих колб. И врач-психоаналитик на краю дивана... Что касается дивана, то таковой стоял в углу комнаты — он предназначен для ночевки внука. Луи с ехидным любопытством задавал себе вопрос: не шалит ли порой Гранса на этом диване с какой-нибудь клиенткой, решившей заплатить ему натурой?

— Мы с тобой проявили терпение. Хотя на твои сбережения был наложен арест, мы сдержались и не ответили контрмерами оскорбительного характера. А вот сейчас надо бы выяснить, можем мы провести раздел имущества полюбовно или нет. Как бы то ни было, раз есть недвижимое имущество, тут не обойтись без описи, произведенной нотариусом. Но чтобы задержаться в доме подольше, Алина может не идти на соглашение, добиваться экспертизы, снова подать в суд, который будет решать... Судебные расходы плюс долги окажутся такими большими, что от дома вам останется из каждых трех кирпичей — один. Лере постарается вести дело благоразумно, но на днях он мне признался: *На мою клиентку разумные доводы перестают действовать.*

Еще один процесс, еще один приговор. Луи чувствовал, как в нем нарастает враждебность: он уже просто не выносил этого хитрящего кота. А тот вкрадчиво продолжал:

— Я предлагаю тебе назначить опись в пятницу, восьмого числа — эта дата подходит нотариусу. Хочу тебе дать совет... Женщины обычно яростно оспаривают столовое серебро, белье, миксер, стиральную машину, кушетку — все, что украшает их жалкую жизнь. О денежном эквиваленте они думают меньше. Я полагаю, что твоя новая жена не так уж держится за все эти вещишки старой супруги. Будь сговорчив! Но не слишком. Только чтобы добиться своего. Лист с описью станет длиннее. Алина будет считать, что ты у нее в руках. Она с легким сердцем согласится подписать документ, не засвидетельствованный у нотариуса. Но когда будет продан дом и проведено изъятие, ты вознаградишь себя.

Совет с противным душком — позиция Гранса стала более жесткой. Он сам это пояснил:

— Согласись, до сих пор я проявлял сдержанность по отношению к мадам Ребюсто. У нее четверо детей, она моя родственница по браку с тобой. Но теперь твердость необходима. Ты знаешь, что она мне звонила?

— Когда? — проронил Луи.

— Позавчера. Чтобы сообщить о твоих гнусных поступках. Чтобы защитить детей от твоей алчности. А когда я сказал ей, что адвокат не имеет права вести прямые переговоры с противником, она меня просто-напросто обругала.

— Есть у нас и другие проблемы, — сказал Луи. — Ты знаешь, я добился, чтоб дети были у меня на пасху, в доме

моих родителей на улице Ваню. Алина туда без конца звонила, вызывала тетю Ирму. Ты не можешь себе представить, чего только она ей не наговорила! Тетя до того извелась, что перестала снимать трубку. Но она дважды заметила, как Алина бродит по улице, поджидая, когда выйдет Агата. Надо сказать, Агата просто невыносима! Все ходила, вздыхала со скучающим видом и с нетерпением подсчитывала, сколько ей тут осталось быть, вечно грызлась с Розой из-за пустяков, нашептывала что-то Леону, который хочет угодить всем на свете, но, на мой взгляд, больше сочувствует матери, ибо дома царит как паша.

Гранса покачивал головой: такая у него была вежливая манера проявлять сочувствие к мелким неприятностям. А сам, не теряя времени, пробегал глазами страницы досье, раскрытого на столе.

— И с тех пор как дети вернулись к себе домой, все началось снова,— жаловался Луи.— Агата под любимыми предложениями уклоняется от встреч со мной. Леон делает то же самое, но я не настаивал, зная, что он готовится к экзаменам. Однако он срезался, и теперь его мамаша утверждает, что по моей вине. Роза бунтует против попыток подкупить ее, отдалить от меня. Ги остался на второй год — оказывается, опять виноват я, хотя он живет у нее. Ну и бездельник же этот парень! Спорит с Алиной! Удирает ко мне! Я не говорю, что Алина мучит его. Но у мальчишки нет выбора: если ты любишь отца, стало быть, не любишь маму. Она или душит его поцелуями, или лупит чем попало.

— Кто тебе это сказал?— спрашивает Гранса, внезапно проявляя внимание.

— Он сам.

— Роза это подтверждает?

— Роза никогда не обмолвится о том, что происходит у них дома.

— Не доверяй!— говорит Гранса.— Ребенок, который жалуется на одного из родителей, чтобы лучше выглядеть в глазах другого,— это часто случается. Но если она снова будет бить его, предупреди меня: я составлю акт. А пока повторяю то, что уже как-то говорил тебе: ни жалоб, ни требований до окончания раздела имущества. А потом посмотрим, как нам быть. У тебя больше ничего нет?

Он встал, показывая, что беседа окончена.

— Я подыскал себе домишко в Ножане,— сказал

Луи.— К концу месяца туда перееду. А двадцать пятого я женюсь.

— Привет кухне,— откликнулся по привычке Гранса.

8 июля 1966

Она очень плохо спала: ворочалась, нервничала, едва начавшаяся дрема сменялась кошмаром, она то и дело тянула руку вправо, как бы желая убедиться еще раз в том, что кровать пуста. Там простыня так и осталась холодной. Это обычное место мужей — правая сторона, левой рукой они обнимают, а правую оставляют свободной. Судебные решения не властны над ночными снами, которые бесконечно сменяются. Называет ли Луи во сне другое имя? Осознает ли он, ворочаясь, что щека его уже не покоится меж плечом и грудью, на золотой ладанке, которую некогда подолгу жевали молочные зубки и которую Алина продолжала носить, как носит солдат жетон с регистрационным номером?

Она встала с ощущением, что «волосы, как проволока, впились ей в голову» — так Алина обычно говорила о мигрени; быстро проглотила две таблетки аспирина, за ними еще две, но не смогла преодолеть сверлящей головной боли, к которой присоединилась судорога в ноге. И все же Алина поднялась, хромя на онемевшую ногу, поцеловала проснувшихся детей, накормила их, проследила за тем, чтобы все четверо, отправляясь в гости к Фиу, привели себя в порядок, чтобы застегнули пуговицы, вычистили туфли, взяли с собой носовые платки, усадила их в машину Жинетты, заехавшей за ними в десять часов, да еще успела сунуть ей в багажник какой-то чемодан, сказав на ходу: *Вот то, о чем я тебе говорила*. Не в силах проглотить кусок, упорно думая о том, что нельзя ронять своей репутации, она наскоро расставляла по местам мебель, протирала ее в поисках ничтожной пылинки, когда через нарочно распахнутые двери, вроде как на мельницу — открыт — значит принять, — к ней вторгся кто-то и уже из коридора, громко топая ногами, спросил: — Здесь есть кто-нибудь? Прошу выйти!

— Вы что, пришли грабить меня? — выходя к нему навстречу, любезно осведомилась Алина. Долговязый светловолосый молодой человек с трепещущими за стек-

лами очков ресницами слегка опешил. Если взять за образец внешность нотариуса из Шазе, весьма решительного с фермерами и угодливо сгибающегося перед маркизом, следовало сделать вывод, что респектабельность обязывает всех нотариусов быть седыми и толстыми. Алина была исполнена недоверия к незнакомым людям; к тому же она многое не поняла из того, что посоветовал ей адвокат Лере, поэтому все ей казались только врагами.

— Извините,— поклонившись, сказал пришелец,— мне приходится выполнять неприятное поручение. Мсье Давермель еще не пришел? А мы точно условились: в два часа.

— А вы знаете моего мужа, мсье адвокат?— спросила, насупившись, Алина.

— Пока еще не имею чести.— И скромно добавил:— Позволю себе уточнить: я не мэтр Верме, а его первый помощник.

Очевидно, патрон не беспокоил себя по столь незначительным делам. Помощник, который, несмотря на маленькое жалованье, привык говорить о крупных суммах и носом чуял, богат ли клиент, небрежным взглядом окинул комнату. Этим мебельным гарнитуром тикового дерева фирмы «Мобилляр», который семья купила с двадцатипроцентной скидкой, предоставляемой служащим этого учреждения, и выплачивала его стоимость путем бесконечных вычетов из жалованья, Алина немало гордилась. Как и своими портьерами. Как и ковром во всю комнату. Еще вчера упавшая на ковер сигарета повергла бы ее в транс, а завтра от всего этого уже ничего не останется. Ей стало нечем дышать. Церемония «примирения», тянувшаяся много месяцев, была большим испытанием; но тогда все происходило между адвокатами, поверенными, судебными чиновниками, судьями где-то в отдаленном вихре длившейся в суде процедуры, и Алина видела только бумаги. Раздел же имущества превращал судебное решение в осязаемую реальность, становился мукой, похоронами.

Сжав зубы, с раздувшимися от волнения ноздрями, она опустилась в кресло напротив клерка, уже деловито сосредоточенного, но начинавшего нетерпеливо и нервно постукивать ногой по полу. Оценка и опись имущества — всегда дело тяжелое, даже если оно обходится без воплей, слез и брани. Эта дамочка не первой молодости совсем не плохо была тут устроена, зря она выбрасывает

из дому гульнувшего муженька. Мэтр Верме всегда говорит: *Если у вас сгорит полдома, страховая компания вам возместит убыток. При разводе вы потеряете немного больше, но тут уж остаетесь без страховки. Так что и это доступно только богачам.*

— Дом будет продан позже,— сказал клерк, желая разрядить тяжелую атмосферу ожидания.— Сегодня мы займемся только мебелью. С этим управимся быстро. Я уже подготовил соглашение.

— Но оно еще не подписано!— сказала Алина.

Сказала подчеркнуто сухо, громко, ибо в эту минуту в дверях появился Луи.

Он вошел вместе с каким-то человеком, которого Алина тут же узнала: это был судебный исполнитель, приносивший ей самый первый вызов в суд. Ее перехитрили; но если он заручился помощью этого человека, значит, боится помощника нотариуса. С подчеркнутой незаинтересованностью оба законника принялись за переговоры.

— Нет брачного контракта, нет личной собственности, нет изъятий по личным мотивам, все имущество общее: это просто!— бормотал один.

— А у вас есть квитанции?— спрашивал другой.

Алина вытащила из ящика связку счетов. Помощник перелистал их, вынул один.

— Начнем с этой комнаты, раз мы здесь находимся,— проговорил он. — Буфет был приобретен пятнадцать лет тому назад за...

— Он — часть мебельного гарнитура, который не может быть разрознен,— сказала Алина.— Эта мебель мне нужна для детей. Но ее не следует оценивать по продажной цене. Гарнитур куплен со скидкой.

— После девальвации он стоит вдвое дороже,— уточнил Луи.

— Будем применять расчетную таблицу?— спросил клерк, посмотрев на судебного исполнителя.

— Если следовать таблице, в выигрыше будет тот, кто оставляет гарнитур себе,— ответил судебный исполнитель.— Я не могу советовать мсье Давермелю...

— Если детям нужна эта мебель, будем придерживаться таблицы,— проворчал Луи.

Ему не надо было долго демонстрировать свою готовность. Чиновники сами заторопились, сообразив, что муж хочет поскорей закончить дело, чтобы использовать полученные деньги, и потому они наскоро проводили свою опись под командой Алины. Детям, как оказалось, была

нужна кухонная мебель, обстановка их комнат, стиральная машина, холодильник, простыни, одеяла, белье, посуда. Когда пришли в спальню, Алина вооружилась своей самой язвительной улыбкой и сказала:

— Кровать, конечно, двуспальная, так что же, я должна уступить ее своей преемнице?

Заминка возникла возле пианино, столь нужного девочкам, чтобы играть гаммы, но на нем Луи играл еще в детстве.

— Да, оно досталось нам из семьи этого господина,— вымолвила Алина.— Но ведь дети носят фамилию Давермель.

Луи отдал и пианино — вернее, выменял его не без огорчения на секретер в стиле Людовика XVI — подарок тети Ирмы. Алина тут же заявила, что это вещь старинная.

— Ну, тогда отправьте его на распродажу,— сказал Луи.

Судебный исполнитель усомнился в подлинности вещи, тогда Алина допустила, что это, возможно, стилизация. И тут же добавила, что настенные часы в стиле Наполеона III тоже подделка, хотя ей подарил их отец, а ему подарил управляющий именем, который сам получил эти часы от маркизы — своей хозяйки,— когда она освобождала дом от ненужных вещей. Судебный исполнитель считал, что часы старинные. И помощник нотариуса тоже. Тогда Алина вышла из себя, заявила, что они все сговорились, и отказалась продолжать разговор. Пререкания продолжались целых полчаса, и уже совсем за бесценок пошли люстры, ковры и куча всяких безделушек — лишь бы завершить соглашение. Луи пока сохранял хладнокровие. Алина, однако, догадалась, что он хочет все проверить возможно быстрее, и решила воспользоваться этим. Наседка превратилась в хищного ястреба. Уже осталось оценить только мастерскую, и Алина согласилась с тем, что содержимое этой комнаты полностью принадлежит Луи. Однако сделала исключение для книг по искусству. А вот как быть с картинами, нагроможденными в одном из углов комнаты, не знала. Адвокат Лере предупредил ее: по положению, творчество художника является также собственностью его супруги, словно она его соавтор. Но Луи упрямо держался за свою мазню. Требовать более дорогой оценки картин было бы выгодно для Алины — но не слишком ли это лестно для Луи? Лучше унижить его, проявив пренебрежение.

— Все это, конечно, никакой ценности не имеет,— сказала Алина.— Я бы, пожалуй, оставила только портреты детей.

— Нет,— ответил Луи.— Для меня это единственная возможность видеть их каждый день у себя дома. А вам, вам ведь поручено их воспитание.

Его решительный тон меньше удивил Алину, чем странное обращение на «вы». Что может быть хуже — когда тебя отталкивают, перечеркивают прошлое. Может, он и любит своих детей. Но кто же дал ему их?

— Пусть так,— ответила Алина.— Тогда я ничего не подпишу.

— Послушайте, мадам,— возмутился клерк,— речь ведь идет о картинах, не имеющих никакой ценности, вы сами так сказали, а мсье Давермель — их автор. Мы почти уже закончили, а вы хотите все поломать, и из-за чего?

— Я не подпишу,— упрямо повторила Алина.

— Тогда и я начинаю колебаться,— холодно добавил Луи.— В пользу мадам было сделано слишком много уступок. Я на это соглашался из чувства приличия. Даже зная, что кое-что утаивалось. Но если мы не можем достойно завершить соглашение, я попрошу вас, господа отметить, что здесь не хватает, например, столового серебра, полученного мною в наследство от моей бабушки. Могу сказать вам, где оно находится. У меня есть друзья на этой улице, и они мне сообщили.

Глазевшие по сторонам клерк и судебный исполнитель старались не улыбнуться и скрыть возникшее осуждение. Насторожившись, Алина забормотала:

— Ах, ты смеешь обвинять меня, шпионить за мной! Стремясь скрыть охватившую ее панику, она тут же ушла в гостиную. Готова была казнить себя. Нет, не за то, что так поступила. Только за неблагоразумие. Ведь соседки, оказавшись на ее месте, сделали бы то же самое: что можно, надо спасти. Но Луи, такой обходительный с посторонними, такой грубый с нею, даже несмотря на свой отвратительный поступок, сумел околдовать всю улицу. Мерзкий кот! Жаль, что он так хитер и не решался бегать за кошками в своей округе, уж тогда бы вряд ли он был здесь таким любимец. Но надо что-то предпринимать, и срочно. Скомпрометировать служливую Жинетту, подвергнуть ее обвинению в сокрытии — нет, невозможно!

— Вношу уточнение,— говорил за ее спиной Луи.— Моя свояченица мадам Фиу сегодня утром положила в свою машину чемодан.

Алина повернулась:

— Я одолжила Жинетте столовое серебро для приема гостей. Ну и что?

В день описи имущества такое оправдание выглядит нелепо. Но все-таки это хоть какое-то оправдание. Под понимающими взглядами трех мужчин Алина уже начала беспокоиться о двадцати луидорах, запрятанных в сахарницу, о жемчужном ожерельи свекрови, которое было у нее на шее,— ей казалось, что Луи пересчитывает каждую жемчужину.

— Где эта бумажонка?— крикнула она.— Я подпишу все, что угодно, если вы избавите от присутствия этого господина.

Бумага уже была на столе.

— Пожалуйста, вашу девичью фамилию,— сказал ей клерк.

Алина, яростно царапая пером, подписала.

Прошло пятнадцать минут, но Луи все еще был тут. Законники, которых он с облегчением выпроводил, растались с ним на тротуаре, и вдруг Алина потянула его за руку. Луи позволил привести себя обратно в гостиную, и Алина молча сняла ожерелье.

— Оно было подарено вашей матерью,— сказала она.— Верните его ей.

Луи отказался. Она, конечно, на это и рассчитывала. Но сочла необходимым вернуть его уважение, пусть дорогой ценой, а это уже свидетельствует о многом. Ее усталая, сгорбившаяся фигура говорила об остальном. Ярость сменилась упадком духа, и смотреть на Алину было тяжело. Луи хорошо знал эти короткие передышки; после них она вновь обретала дыхание и превращалась в ту же ведьму. Однако он был так же недоволен собой, как и Алина. *Я, ты — ведь мы оба вели себя подло.* Понимание — уже почти прощение, только надо об этом молчать. Враги, даже если они невиновны, не прощают друг друга. Но если оба чувствуют смущение, то это уже путь к лучшему.

— Налить тебе виски?— спросила Алина.

Луи, еще не пришедший окончательно в себя, молча кивнул. Он пил стоя, маленькими глотками, держа в руках один из уцелевших хрустальных стаканчиков, некогда

составлявших подаренный им к свадьбе сервиз. Хрусталь, чувства — как все хрупко. Луи искоса поглядывал на мебель фирмы «Мобилляр», уже ему не принадлежавшую. Стало быть, надо развестись еще и с вещами. Значит, и с самим собой. Алина, пытаясь казаться безразличной, пробормотала:

— Я отошлю тебе столовое серебро.

За большими прозрачными занавесями, чуть тронутыми солнцем, в затейливой игре света и тени вырисовывались контуры деревьев: зеленое пятно туи и красноватое — сливового дерева. Луи было грустно покидать деревья в своем саду — куда более грустно, чем мебель: ведь это были совсем молодые деревья, они росли вместе с Четверкой. У деревьев есть корни, это живые существа, хоть их нельзя сдвинуть с места.

— Ты, наверное, доволен, — сказала Алина. — Добился чего хотел. Все прошло скорее скорого: и развод, и раздел имущества. Теперь можешь вступать в брак со своей любовницей.

Сказано плохо, но она не могла назвать Одиль по имени. Луи удержался от реплики: *Да, это со мной происходит уже второй раз*. Он прошептал:

— Ты ведь сама знаешь: важно то, что будет потом.

Поскольку эта фраза относилась к Одиле, она не могла не понравиться Алине. Но Алина, приняв это на свой счет, начала раздражаться. Голос ее с надрывом взвился:

— Пришли мне уведомительное письмо. Но прежде тебе следует опубликовать извещение о нашем разводе: ведь извещают же о кончине.

Луи поставил стакан и направился к двери; мысленно отыскивая приличествующие случаю слова прощания, за ним следовала не менее растерянная Алина. Когда он вышел на крыльцо, внезапное вторжение Четверки, возвращавшейся после визита к тетушке, избавило его от проявления вежливости. Он на ходу успел поцеловать только Розу.

— Скоро вы наконец войдете? — крикнула Алина.

| 9 июля 1966

Большое окно открыто настежь, видны сверкающие звезды, в комнате душно, оба они, раскинувшись, лежат

рядом нагишом; вдруг слабо затрещал телефон, который Одиль ночью ставит поближе к кровати, переведя регулятор громкости на «тихо». Не зажигая света, Одиль протягивает руку, слышит потрескивание, и вдруг...

— Алло, папа? Это я — Роза...

Пораженная Одиль молчит, ждет, пока повторят, затем с удивительным хладнокровием бурчит что-то невнятное, одной рукой прижимает трубку к груди, другой нашаривает грушевидную кнопку лампы и начинает трясти этого Адама, волосатого, ошалелого, ничего не соображающего со сна, тихо шепча ему:

— Невероятно, но это твоя дочка!

— Что это еще за шутки? — произносит Луи, наконец проснувшись. — Если кто хочет со мной поговорить, пусть звонит в контору. Да и этот телефон никто не знает, кроме моего отца.

— Да-да, — говорит Роза, когда Луи берет трубку. — Я сейчас звонила деду, и он мне дал этот номер, раз нужно было срочно найти тебя. Скоропостижно скончался дедушка Пе... От инфаркта.

Одиль молчит, напряженно прислушиваясь: она взяла отводную трубку. Почему же мсье Давермель сам не сообщил им об этом?

— Глубоко огорчен, моя дорогая девочка.

Луи уже все понял. Когда Роза в горе, она привыкла плакать на отцовской груди, а они не могут увидеться в первую половину каникул. Роза продолжает, всхлипывая:

— Мама уже поехала на такси за тетей Анеттой. Ее можно найти только утром в банке, а она должна выехать с нами семичасовым поездом.

— Роза, розочка, розанчик ты мой... — нежно говорит Луи.

Это их код, смешной и нежный, давно существующий между отцом и дочерью. *Всегда и всюду — папина розочка!*

Одиль с боязливой нежностью открывает в своем Луи незнакомого ей мужчину. А дочка все еще шмыгает носом.

— Мама не хотела, чтобы я звонила тебе... Она кричала: *Это его больше не касается*. Я звоню с вокзала. Если бы я позвонила из дома, Агата на меня наябедничала бы. Но надо, чтоб ты об этом узнал. Пап, я обещала раз или два удрать к тебе. Но теперь не удастся. Мы, наверно, весь июль будем в Шазе.

— Слушай, дорогая, я хочу тебе сказать, что, когда ты вернешься...

— Ты уже женишься, папа, я знаю. Не переживай. Ведь я верю только тому, что вижу сама... Ну, целую тебя, бегу.

Луи тоже чмокнул в телефонную трубку, потом на мгновение замер, машинально теребя пальцами волоски на груди. Да, Роза и Ги как-то недавно экспромтом явились к нему в контору фирмы «Мобиляр»: *Нам захотелось лишний раз повидать тебя, папа. Идем к кузнам. Едва урвали четверть часика.*

Почему же пришли они, самые младшие, почему не старшие? Если верно, что по заслугам и дети, то почему он заслужил именно этих, а не тех?

— «Я верю только тому, что вижу сама!» — повторила Одиль. — Сколько же гадостей им про меня наговорили!

— Возможно и так, — откликнулся Луи.

Это уже дело будущего, менее спешное. Смерть человека, иронически прозванного своим зятем «властным старым самцом», требовательного, пунктуально честного, вырвала из жизни единственного повелителя клана. И его основную опору тоже. Тяжелый удар для Алины и ее близких. Кончились счастливые каникулы в замке маркиза в Шазе. Не будет больше и этого уютного домика; ведь он — приют управляющего. Теще придется трудненько: на половину пенсии от Управления социального обеспечения — все наследство мужа — не проживешь. А впрочем, какая же она теперь ему теща? Этот «титул» уже устарел, сейчас она всего лишь бабушка Четверки. Родство по браку перестало существовать после развода с женой. Но Роза, наверно, так не думает. Хотя права, конечно же, Алина, сказавшая, что все это уже не имеет отношения к Луи. Он повернулся к Одиль, счел ее бесподобной и, чтоб забыться, передался любви.

АВГУСТ 1966

3 августа 1966

После полудня

Дама в сопровождении агента по продаже недвижимого имущества уже удалялась, наступая на свою тень, по

раскаленной жаркой улице. Попутного ветра! Это была уже шестая посетительница из тех, что появлялись здесь после возвращения семьи из Шазе, и к тому же наиболее придирчивая. Куда только не совали свои носы она и ее помощник, пытаясь обнаружить слабость опорных балок. Они изо всех сил дубасили по перегородкам или легонько их простукивали, чтобы определить, не отстала ли штукатурка. Подойдя к туалетной комнате, на которую обычно бросают лишь беглый взгляд через полуоткрытую дверь, они приподнимали сиденье, спускали воду и по пришептыванию, с которым вода наливалась в бачок, заключали: заизвестковался. А все эти расспросы, все эти соображения!

— Почему же вы продаете? Ах, вследствие развода? А о цене вы договорились?

И предлагали цену самую смехотворную... Как знать? А вдруг? Иной раз люди, которым ничего не стоит разрушить семью, столь же легко расстаются и с добром. Смерть привлекает стервятников. Беда, видимо, имеет свой запах, и некоторые носы его чувят издалека: иначе как бы все пронюхал старьевщик, который вчера прибежал, чтобы предложить мадам освободиться от ненужных вещей?

Алина вернулась в гостиную. Луи уже забрал свою часть мебели и переправил ее в новый дом, который он снял в Ножане. Теперь у Алины нет секретера, им пользуется уже *другая*, которая, возможно, и не заметит, что под каждым ящиком четко значится имя Алины. Нет, не чернилами — они быстро выцветают. Эта надпись останется навсегда, потому что выжжена острым кончиком раскаленной докрасна кочерги.

Ну вот, придется теперь довольствоваться обеденным столом — он так давно покрыт клеенкой, что все забыли о его принадлежности к гарнитуру тикового дерева... Алина усаживается, берет ручку и продолжает письмо Эмме. *«...Можете себе представить, какие тяжелые были у меня дни, я была так удручена, что никому не написала ни слова. Когда вас навеки покидает отец, то главной опорой обычно становится муж. Я же потеряла обоих сразу. И тем не менее мне было очень трудно оставаться в Шазе до конца июля. В парк нельзя было выходить: там гуляли гости маркиза. Невозможно было появляться в деревне — там я чувствовала себя как прокаженная. Мама вообще не желала отпускать меня из дому — только в церковь, куда она сама нас тащила, так и не поняв, что*

у ее «парижан», как она нас называет, отношение к религии весьма сдержанное. Дети своего дедушку обо- жали, но могла ли я требовать от них, чтобы в течение девяти дней каждое утро они подымались в шесть утра для молитвы! А какие неприятные разговоры были у меня с мамой по поводу того, как я их воспитала. Я и такое выслушала: «На твоём месте я бы поразмыслила, почему очутилась в таком положении. Ведь любовь к богу — нередко гарантия земной любви».

Алина неожиданно вздрогнула. Послышался свист — это уже не в первый раз и, видно, не в последний,— и тут же открылось окно в комнате Агаты. Сейчас она спустится и побежит к черному ходу, чтобы обойти дом сзади. Так всегда делает Леон. А прежде делал его папаша. Но надо закончить письмо:

«Наконец я вернулась домой. Никаких вестей от Луи... А вот дети завалены почтовыми открытками. Некоторые из них я сначала сжигала, а потом перестала это делать, так как заметила, что открытки перенумерованы. Четверка ревниво к этому относится, даже Агата. Вообще они стали очень раздражительны. И понять это легко. К морю они в этом году не ездили. Знают, что скоро мы будем вынуждены покинуть дом. Со страхом ждут девятого августа. Да, именно — девятого августа. Начало учебного года пятнадцатого сентября. Каникулы составляют 31+31+14, то есть 76 дней. Если их разделить пополам, получится по 38 дней. Луи хотел взять детей первого августа; как мне сказал адвокат, он уже снял комнаты в Комблу. Думаю, что я поступила правильно, решил точно придерживаться судебного решения и ни в чем не уступать: так мы выигрываем еще неделю...»

Взбурдаженная своим подробным отчетом, Алина вдруг вскочила с места. Треск мотоцикла заставил ее подойти к окнам. От подъезда отъезжает сын инженера из дома № 29, на заднем сиденье — Агата.

Конечно, на парне шлем, а у малышки его нет. Но разве только в этом она сейчас нуждается?

Одно опасение повлекло за собой другое. Алина быстро скользит по паркету в домашних туфлях. Только лицом и кровью схожая с отцом, но так слепо преданная матери — при условии, что ей дозволено ходить куда угодно и у нее не будут спрашивать, где она была,— Агата, единственная из всей Четверки, в итоге обратила внима-

ние на противоположный пол, пытаюсь найти в мускулистых парнях то, чего ей не хватало дома,— *мужчину*. Остальные трое тоже отделились от матери, но замкнулись каждый в себе: четырехугольник распадался.

Взять, к примеру, Ги — дверь в его комнату полуоткрыта. Он склонился над своими хомьями: отец, мать и пятеро маленьких. Клетка полным-полна, а уж какой запах!

— Держи папашу отдельно,— замечает Алина.— А то через полгода у тебя тут будет тридцать хомьяков.

— Так что же, разбить семью, ты об этом не подумала?!— возмущается Ги.

А вот комната Леона, в ней полный развал: где попало валяется одежда, обувь, настезь открыты ящики стола, вперемешку книги, баночки с мазью или растираниями. Алина все это оставляет в неприкосновенности. Иначе Леон приходит в ярость, кричит, что потом он ничего не может найти. Где он сейчас? Наверно, в клубе, занят спортом — до седьмого пота тренируется на гаревой дорожке: меры он не знает. А может, развалился в кресле у телевизора. Пожалуй, где-то на стороне у него есть своя личная жизнь. Узнать это не так легко. Раз пять или шесть Алина тайком ходила на спортивную площадку, пряталась за редкими рядами местных болельщиков. Она обычно видела, как возвращается Леон после пробега на три тысячи метров — не первый, но и не самый последний, как он безразлично шагает среди этих девчонок с крепкими задницами и торчащими грудями. Но Леон такой скрытный... Однажды в воскресный день он обнаружил мать, подошел ближе и недовольно буркнул:

— А ты что здесь делаешь?

И его тоже нельзя ни о чем спросить. Он тоже хочет, чтоб его баловали, ничего от него не требовали, ни помощи, ни услуг,— будьте благодарны, что он дома. Алина наклоняется, поднимает с пола заинтересовавшую ее маленькую круглую коробочку. Верно, выпала у него из кармана... И внезапно густо краснеет. Хотя коробочка пуста, но достаточно ярлычка, чтобы все было ясно. Ну, конечно, Леону ведь стукнуло восемнадцать. В каком-то отношении эта находка успокаивает. А в другом — тревожит. Но сексуальная жизнь юноши — этим ведь должен заниматься отец. Алина никогда не решалась вмешиваться в это.

Обследование дома завершается комнатой Розы, которая недавно перебралась в бывшую мастерскую отца вместе со своей коллекцией ракушек. Очень уж ей хотелось жить в мастерской отца, как бы у самого отца, хоть и в доме матери, а той это и в голову не пришло. Одним из немногих преимуществ неминуемого переезда будет то, что Розе придется расстаться с этой мастерской, и тогда, в тесной квартирке, вынужденная снова жить в одной комнате с сестрой, она поймет настоящую цену отцовской доброты.

Дверь в мастерскую тщательно закрыта. Алина ничего, ничего бы не пожалела, чтобы привлечь Розу на свою сторону. Она робко скребется в дверь. Ключ в замке поворачивается, задвижка отодвигается. Дверь распахивается, и глазам Алины предстает комната, которая служила Луи местом свалки ненужных вещей, а теперь новая обитательница все переделала, заново оклеила — это стоило дешево, ибо она все сделала сама, — и комната стала спальней молодой девушки, где пахнет цветом шиповника, где стоит безукоризненно застеленная кровать, где облаком белого пара от ветерка вздымается занавесь, а на полочках зияют расщелинами большая Strombe, зеленая Turbo, Muxex с розовой пастью, и на каждой раковине аккуратно наклеен ярлычок с названием.

— Я тебе нужна?

Пунктуальная, сдержанная Роза всегда выметет дом, почистит овощи, проворно взобьет яичные белки, накроет на стол — и все это без ворчания, тогда как остальные дети ни в чем не помогают; у нее средняя оценка — двенадцать баллов, а то и больше, а ведь в этом же классе старшая сестра плелась в хвосте; Роза всегда вежлива, когда надо и кого надо поцелует, особенно мать, хотя никогда не кинется ей на шею, не будет нашептывать на ухо свои тайны или нести какой-нибудь нежный вздор, как это делает Агата. В Розе, как в зеркале, повторилась она — Алина, но у своего двойника она не самая любимая, и с этим матери свыкнуться трудно.

— Я не могу одна вынести мусорный бак, — говорит она.

— Иду, — отвечает дочь.

У Алины зоркие, как у кошки, глаза. Роза тоже кому-то писала письмо; видимо, в ответ на то, конверт от которого Алина вчера нашла в ведре, склеила из обрывков и прочла адрес: *Фонтене, до востребования.*

Агата вернулась почти одновременно с Леоном и застала в доме своих теток. Они недавно приехали, после июльского отдыха у моря, где предали забвению свой траур, а теперь, снова в черном, мрачные сидели рядом с сестрой, между Розой и Ги.

— Если бы ваш отец умел вести себя пристойно, то встречался бы с вами у дедушки и бабушки,— сказала Анетта.

Леон тут же удалился к себе в комнату. Агата зашла в гостиную, забыв о том, что на платье у нее пятно от смазочного масла и это может вызвать ядовитые замечания. Ей, конечно, наплевать — она была твердо убеждена, что уже переросла нравоучения. Но ее мать постоянно твердила, что *пример старшей сестры, которая во всем разобралась, поучителен для младших и поможет им понять то, что произошло*. Агата в этом немного сомневалась — с некоторых пор Роза стала во всем ей перечить. Не верила она и в то, что как-то удастся подготовить к неминувшему младших, сколько их ни поучай. А Жинетта все пережевывала одно и то же:

— Как говорил ваш дорогой дедушка, эта дама никогда не станет вам близкой, хотя и будет теперь называться мадам Давермель.

— Вы вежливо здоровайтесь с ней — и все,— продолжала Анетта.

На бледных мордашках младших, кроме скуки, ничего не отражалось. Наконец Роза попыталась ускользнуть.

— Пойду приготовлю чай,— сказала она.— Кекса хотите?

Ги тут же последовал за ней, а тетки, уже не стесняясь Агаты, совсем разошлись. Даже вытащили фотографию, некогда обнаруженную в карманах Луи в те дни, когда еще можно было их выворачивать.

— Эта красотка мажется вовсю!— воскликнула Жинетта, ходившая в рыжем парике.

— А меня умиляет ее морда,— добавила Анетта.— Что Луи в ней нашел?

— Да ровно ничего, моя душенька,— продолжала мадам Фиу.— Все как в шараде: *Ты у меня не первый,*

впрочем, и не второй; не будешь и последним, хотя на часок в постели станешь для меня всем. Удивительно то, что она в этой постели задержалась.

— Да, уж терпения у нее хватило, это надо признать,— заключила Анетта.— Здесь, можно сказать, томительное ожидание сбылось!

Все захихикали. Новый взрыв смеха последовал, когда Жинетта спросила, будет ли Луи делиться своим счастьем с приятелями — ведь он может одарить их бесплатно. Однако для Агаты это было уже слишком, и она тоже удрала к себе.

| 9 августа 1966

Оставив позади Клуз, машина с ровным гулом мчалась вдоль Арва. Луи спокоен за Розу, сидящую рядом, но то и дело искоса поглядывает в зеркальце на остальных детей. Можно было себе представить, какие разговорчики шли в Фонтене; вот уже несколько лет, как эти тощие и толстые феи осыпали его не розами, а жабами. Если бы он и не знал этого, напряженная атмосфера в машине на протяжении долгого пути в шестьсот километров предупредила бы его. Он тоже опасался предстоящей встречи детей с той, которая должна казаться им виновницей развала семьи. Спорить, доказывать, что семья распалась гораздо раньше, было бессмысленно — что это даст? Любые доводы — ничто против факта, а для них факт в том, что место Алины заняла Одиль.

Семь часов. Уже проехали Саланш. Машина приступом берет извилистую горную дорогу, ведущую в Комблу. Долина углубляется, наполняясь лиловым сумраком, а скалы как бы карабкаются вверх к еще освещенным вершинам. Наконец-то вся Четверка прижала носы к стеклам.

— Вот так Монблан — он ведь розовый! — говорит Ги.

— А из нашего домика, — отвечает ему отец, — ты увидишь в бинокль, как альпинисты, с помощью веревок, спускаются к приюту в горах.

Отец Одиле был родом из Ля-Боля, а мать — из Савойи, и дочь унаследовала от нее любовь к горным тропам: ей нравилось ходить по ним на лыжах или

в спортивных ботинках. Книжная лавка, принадлежавшая их семье, многие годы была популярна среди туристов, отдыхающих на морском берегу, и потому Одиль тоже чувствовала себя немного туристкой. Ей были по душе бурно рвущиеся с гор потоки. А Четверке была бы более сродни тихая река, кувшинки, водоросли. Гор они еще не видели. Собирались на рождество съездить в Шамрусс, но не вышло. И вот Луи пошел на хитрость. В Ножан их отвезут лишь к концу каникул. Пока же надо их чем-то увлечь, вырвать из обычной обстановки, устроить в другом месте, заинтересовать ледниками, канатной дорогой, попотчевать напитками из корней горечавки, взять себе на подмогу Милоберов, старых и молодых, собравшихся именно для этой цели в горном трехэтажном домике. Большая семья — это выглядит всегда солидно: дети чувствительны к мнению большинства. И Одиль, которая заранее приехала в Комблу, не будет особо выделяться. Хитрость имеет еще одну полезную сторону: после стремительного посещения мэрии, после сугубо формальной свадьбы, без свидетелей, без фотографий, без заранее объявленной даты, после столь неудачного начала, которое, по сути дела, являлось концом того, что было ранее, идея соединить всех вместе, собрать семью была весьма кстати. Дети, сами того не ведая, станут связующим звеном.

— Осталось метров пятьсот, — сказал Луи, замедлив скорость, как только показались дома. — Мы уже на месте, но надо проехать еще немного — до старой дороги на Межёв.

Четверка усердно рассматривала пейзаж. Дети замкнулись и молчали. Луи прибавил скорость, невзирая на указатели, чтоб скорее приехать. Они напугали его, эти чертенята! Можно подумать, что он везет их к людоедке! Он решил не осуждать при них Алину, и это было правильно и даже мудро, но избегать при этом всяких объяснений, пожалуй, не стоит. Родители не спрашивают у детей согласия на женитьбу или замужество. Но распространяется ли эта истина на новую любовь многодетного папаши, дает ли ему право не только принимать единоличные решения, распоряжаться в одиночку, но и связывать себя обещанием, противоречащим тому, которое дало ему такие права?

Еще одно неожиданное обстоятельство — иначе как отступничеством его не назовешь. Луи не ожидал этого от своих родителей: если бы они решились принять учас-

тие в семейном сборе, все было бы проще. Но родители захотели выждать, чтобы получше присмотреться к Одиль. Тем хуже! Если старые и новые связи запутываются в узлы, то, чтобы развязать их, надо не рубить с плеча кухонным ножом, как делает Алина, а найти другие средства. Одиль сумеет все уладить...

Видимо, там стоит Одиль — вон то белое пятно, виднеющееся перед шестым домиком из покрытого лаком дерева; он здесь самый большой и называется «Дикий козел». Да-да, это именно Одиль. Стоит на веранде среди Милоберов и машет рукой. Она и побежала навстречу, пока машина делает крюк, карабкаясь по крутой дороге, ведущей к площадке. Одиль уже открыла дверцу, крепко поцеловала в губы своего супруга и тут же спросила: — Не очень замерзли в машине?

Похоже, что причина этому не только выпавшая роса, не только ледяная вершина горы Бионасе напротив. Трое старших разминаются, расправляют смявшуюся в дороге одежду, делают вид, что разглядывают открывшуюся перед ними панораму, и вдруг застывают в молчании. Только Ги прыгает с ноги на ногу.

— Ну вот и ваши ребятки,— говорит хозяин книжной лавки, теребя бородку.

Никто не обращает внимания на их немного скованный вид, на то, что они так сухо здороваются. Дети не ожидали, что здесь их встретят столько людей, и даже Агата, выйдя из машины с поджатыми губами, как-то растворилась в благожелательности Милоберов. Леон искоса поглядывал на эту удивительную мачеху, на полголовы меньше ростом, чем он,— даже ее мать выглядит ничуть не старше его собственной. Действуя согласно заранее разработанному сценарию: *Веди себя так, словно ты знаешь их со дня появления на свет*, Одиль переходила от одного к другому. Она поцеловала Ги в подставленную им щечку. Ласково коснулась подбородка Агаты, так напряженно выпрямившейся, словно у нее шея срослась с позвоночником. Одиль не подошла к Леону, от которого ее загоразживали чемоданы, он только что взял их в руки, чтобы скрыть смущение, и обняла Розу, которая, перехватив на лету беспокойный взгляд отца, ответила ей тем же.

— Вы, наверно, хотите отнести багаж, Леон?— спросила Одиль и тут же поправилась:— Впрочем, что это я, почему бы мне не быть с тобой на «ты»... Подыми-ка эти вещи на третий этаж.

— Хорошо, мадам,— говорит Леон.
— Зови меня Одиль, так будет проще.
— Да, мадам,— отвечает Леон.
— Послушай, я сама провожу их, устрою и потом приведу к ужину,— добавляет мадам Милобер, желая помочь дочери.

Легкость в обращении, непринужденность, выработанная мадам Милобер в разговорах с покупателями книг, очень пригодятся. Это она сняла удобный трехэтажный дом в горах, и лучшая помощь дочери с ее стороны — это вначале оградить ее от общения с детьми мужа. Прежде семья Одилы держалась отчужденно, выражая этим свое осуждение, но теперь с такой ловкостью помогает молодоженам наладить их жизнь, которая может вызвать самые разные чувства. Раймон, Армель и особенно их восьмилетний сынишка, который мог бы заинтересовать Ги, идут следом. Весьма сердечно настроенный тесть с иронической искоркой в глазах остался наедине с зятем; они виделись всего дважды, и это чувствуется: ведь первая встреча была лишь неделю назад, по случаю того, что отец снова признал дочь.

— Уф!— выдохнула Одиль.— Ну и забетонировала их твоя жена! Я боялась, что мое терпение лопнет.

— Моя жена — теперь ты, не забывай,— сказал Луи.

— К этому еще надо привыкнуть,— нерешительно вставил тесть.— Мне кажется, что все прошло совсем неплохо.

— Пожалуй, мне надо навеститься наверх,— сказал Луи.

— Оставайтесь-ка здесь,— ответил тесть.— Вашим детям тоже надо освоиться. Сейчас вы слишком возбуждены и не способны помочь им забыть, что вечером они не смогут поцеловать свою мать. К тому же посмотрите на Одиль: она перенапряглась, вся дрожит!

Тесть ушел. Наступила ночь, пронизанная светящимися точками, которые тянулись вверх из глубины оврагов, четким прямоугольником обрисовывая теперь уже темную гору. В сумраке Луи прижал к себе Одиль, нашептывая ей на ухо нежные слова...

— Почему ты смеешься?— спросила она.

Луи не ответил. Он не стал говорить ей, что, несмотря на недельное воздержание, их ласки сегодня впервые будут банально супружескими — ведь в соседней комнате будут спать дети.

— Тише, дорогой мой!— шепчет Одиль.

Открылось окно третьего этажа. Это Роза высунула руки, чтобы запереть ставни.

Закрыв их, она обернулась. В маленькой комнате кровати помещались одна над другой, и Агата успела захватить верхнюю. Леон — в комнате мальчиков — решил сделать то же самое, невзирая на недовольство Ги, которому хотелось лазить вверх по лестнице. Даже не постучав, Леон вошел к сестрам.

— Нужно же было поместить меня с этим мальчишкой! — проворчал он.

Мальчишка вошел следом. Остановился и посмотрел назад. Милоберы все еще стояли в коридоре.

— До чего же она молоденькая! — шепнул Ги, не называя имени.

Главная заводила, рупор матери, Агата тоже попробовала свой намест и живо спустилась вниз.

— Это просто смешно, — проворчала она. — Знаешь, я ни за что не дам ей командовать мной! И речи быть не может.

— Она очень хорошенькая, — сказала Роза. — Зря ведь болтали наши тетки, а?

— Что, одобряешь папу? — злобно прошипела Агата.

Она совершенно не выносила самостоятельных суждений Розы, своей младшей сестры, которую прежде можно было водить на поводке и сбрасывать ей свои обноски, ставшие слишком короткими. Агата обожает мать, ее выбор сделан по велению сердца, и этот выбор ни с чем мириться не может, так же как выбор Розы; он лишь укрепляется от соперничества сестер.

— Я, конечно, не одобряю, — ответила Роза. — Но могу теперь понять его лучше.

Ах, она все-таки не одобряет — и на том спасибо. Но это ее «понимание» там, дома, в Фонтене, показалось бы отвратительным. Агата искала себе союзника. Она процедила сквозь зубы:

— Мамочке было бы приятно послушать твои речи! Не правда ли, Леон?

Леон, которому неохота ввязываться в свару, скривившись, выходит в коридор.

— Может быть, это к делу не относится, — говорит он, — но я голоден.

За ужином, благодаря тому, что одиннадцать вилок поддерживали об одиннадцать тарелок, а семья Милобер поддерживала застольную беседу, плохой аппетит Агаты

и молчание Леона, занятого тщательным пережевыванием пищи, почти не были замечены. Усталость, вовсе не притворная, заставила всех рано подняться наверх. Лестница никому не показалась Голгофой, по ней поднялись шумной компанией, прыгая через ступеньки, и Ги; уже почти прирученный, громко вопил: «Гип-гип, ура!» — от радости, что взбежал наверх первым.

Только одна Агата, выйдя через десять минут в пижаме из ванной комнаты, остановилась у самой двери и внезапно окаменела. Знать не так тяжело, как видеть самой. В течение многих лет каждую ночь ее отец шел в материнскую спальню. Сегодня она впервые увидела, как он направился в комнату Одили.

13 августа 1966

Переход от сна к бодрствованию всегда полон неясности. Да правда ли это? Действительно ли я теперь одна? И всегда, только лишь начинает возвращаться сознание, в еще туманном, полубредовом состоянии возникает, как заклинание духов, иллюзия, маленький мстительный роман: Луи тоже открывает глаза и видит ту, другую, но не находит в ней прелести новизны и грезит о третьей; он решает, что она станет следующей, но не последней... Вот так-то, мои милые, некоторые думают, что избраны навеки. Избраны! Груша, разрезанная пополам, очищенная от кожуры, от хвостика, от семечек, груша, которую облюбовали в компотнице, тоже лучшая из лучших, — а какова ее судьба? Избрана! Как это созвучно слову: изгнана. Вот он, точный смысл: избрана на время, а потом, за ненадобностью, — изгнана. Я прошла через это. Теперь вы пройдите. Станете тем же, что я сейчас: ни девушкой, ни женщиной. Ни барышней, ни дамой, ибо это уже в прошлом. Мадам Экс. Вот говорят *мадам вдова*, но никто не скажет *мадам разведенная*. Вы станете одной из бывших, как бывший министр, как бывшая собственность, как бывшая прихожанка. Но кто это звонит? Телефон? Нет, у двери. Да не трезвоньте вы так оглушительно, я не глухая.

— Не может быть!

Уже шесть часов. Растрепанная, опухшая, Алина вскакивает на ноги. Она дрожит, прикрывает ладонью зевок,

бежит открыть дверь. Вид у нее жалкий, и она виновато произносит:

— Эмма, извините меня. С тех пор как Четверка уехала, я по ночам не смыкаю глаз. Хотела немного почитать в ожидании вас, но задремала за столом.

— Что же такое усыпляющее вы читали?

Эмма идет в гостиную и находит старый томик в переплете соломенного цвета: «Развод» Бурже.

— Я нашла эту книжечку в библиотеке у папы,— объясняет Алина.

— Вижу,— говорит Эмма.— Ключули на название. Книга давняя. К тому же для вас вопрос о том, стоит разводиться или нет, уже решен. Как, впрочем, и другое — нужно ли менять формальности, связанные с разводом. Все это у вас позади, а потом, что ни говорите, главное в разводе — последствия. А тут больше всего дает опыт. В клубе — вы сами в этом убедитесь — люди знают о жизни больше, чем сказано в книгах. Ну что, пошли?

Алина давно уже говорила об этом и столь же долго пребывала в нерешительности. Товарищества пьяниц, бывших заключенных, душевнобольных, наркоманов есть повсюду, и предложение войти в число членов клуба «Агарь» — группы, которая состоит наполовину из матерей-одиночек, наполовину из разведенных жен, создавших, впрочем, довольно обширное сообщество, вызывало у Алины ощущение, что она должна примкнуть к братству неудачниц. К тому же клуб — это клан; ее кланом всегда была семья. Если она в конце концов уступила настояниям Эммы, то сделала это, чтобы воспользоваться советами, которые бы ее успокаивали.

В сумочке у Алины лежала записка от Агнессы Губло — президентши клуба: *«Дорогая сестра, мне о Вас говорили. Мы ждем Вас в субботу вечером на нашей встрече у меня дома, на улице Пиренеев...»*

— Она очень энергична,— разъяснила Эмма.— После первого замужества у Агнессы осталась девочка. Потом она вышла замуж во второй раз: остался мальчик. Два развода. Отцы скрылись и не помогают. Но она устроилась неплохо, открыв посредническое агентство. И по ее же инициативе был создан клуб «Агарь»... в память Агари, рабыни Авраама, которую этот подлец изгнал в пустыню вместе с сыном Измаилом, когда Сарра родила ему Исаака.

Обо всех этих деталях из жизни древней Иудеи Алина,

уроженка Анжу, думала со смущением, пока лифт подымал их на седьмой этаж в квартиру Агнессы, где она собирала «сестер». Лифт остановился, Алина толкнула дверь, намеренно оставленную полуоткрытой, чтобы нерешительные заходили, не стесняясь, и ее удивил донесшийся громкий смех. Какая-то особа, вовсе не уродливая, но косоглазая, стояла с рюмкой в руке среди самых разных женщин: молодых, постарше и совсем пожилых. Она веселым голосом скороговоркой рассказывала:

— Клянусь вам, он шептал мне, прижав руку к сердцу: *Больше всего я любил твои глаза. Но после несчастного случая, с тех пор как левый и правый смотрят в разные стороны, не могу ничего с собой поделаться. Ты стала для меня как бы другой женщиной. А я-то, дуреха, еще успокаиваю его: Пусть это тебя не тревожит. Я вставляю вместо него стеклянный.* Тогда он как гаркнет: *Ты с ума сошла! Ты же окригнешь!*

Вновь раздался смех — некоторые язвительно хихикали, другие хохотали более откровенно, даже на самых старых лицах морщины словно разгладились.

— Кроме шуток,— сказала маленькая толстуха,— веселье порой самая лучшая защита. Когда обманутые святоши жалобно вздыхают, мне становится тошно. Их послушаешь, и частенько создается впечатление, что рты им даны лишь для передачи сплетен и что каждая из нас обязана процитировать целую сцену из «Нескромных сокровищ» Дидро. А мы ведь — группа взаимопомощи и собираемся не для того, чтобы анализировать наши промахи на семейном поприще.

— Правильно!— восклицает невысокая женщина, пробираясь сквозь толпу, и спрашивает:— вы Алина Ребюсто, не так ли? Меня зовут Агнесса.

Алина невольно хмурится. Но президентша уже крепко сжала ее локоть и продолжает:

— Не обижайтесь. Ваша девичья фамилия — единственное, что мы хотим знать, тем более что для простоты мы называем друг друга по имени. Добро пожаловать в наш клуб! Я не буду вас представлять. Обойдите всех. Каждая сама о себе расскажет.

Произошло примерно то, чего Алина опасалась: исповеди в духе: *Я действительно выпиваю.* Хорошо еще, что признания делались не с эстрады, а вполголоса, на ушко. Только стены вели себя вызывающе. Алина озадаченно смотрела на большое панно, гласившее:

Вы попали в хорошую компанию!
Геракл покинул Деяниру ради Иолы.
Авраам покинул Агарь ради Сарры.
Давид покинул Мелхолу ради Вирсавии.
Карл Великий покинул Гильдегарду ради Дезидераты.
Людовик Седьмой покинул Альенору ради Констанции.
Филипп-Август покинул Ингеборг ради Агнессы.
Генрих Восьмой покинул Екатерину ради Анны.
Наполеон покинул Жозефину ради Марии-Луизы.

Но Эмма, наставница Алины, не дает ей ни минуты, чтобы понять — это наивность или юмор?

Вот женщина лет сорока, бесцветная, костлявая, пронзительным голосом представляется, называя свое имя и занятие.

— Мария, три дочери. Бакалейщица. Вернее, прежде этим занималась. Муж до того, как сбежать, пропил все. Сейчас хожу по домам, убираю.

А вот — молодая женщина с длинными, давно не крашенными волосами.

— Я — Амелия, студентка юридического факультета. Чтобы прокормиться, нанимаюсь посидеть с чужими детьми. А для своего мальчика у меня нет времени. Его отец бросил нас на следующий же день после рождения сына.

Еще одна молодая женщина, на лбу у нее татуировка.

— Тахар, судомойка. У меня мальчик и девочка. Мой дружок итальянец вернулся к себе в Неаполь.

Запавшие от усталости глаза этих трех женщин говорят об их жизни, полной невыносимых тягот. Но вот толстая тетушка с тройным подбородком.

— Адриенна. Могла бы освободиться, моя милая, от своего муженька и пораньше, до того, как он меня стукнул. Сейчас он отбывает свои три года за побой и увечья. Я торгую устрицами, и, если бы не болели у меня ноги, мне жилось бы совсем неплохо.

Парад-алле продолжается. Вот медсестра — главная надзирательница в психиатрической больнице.

— Пятнадцать лет замужем и пятнадцать лет одна. Две дочки, вон та, что сидит слева, пошла по моим стопам.

Упомянутая ею дочь, видимо, оставлена мужем недавно, она едва открывает рот, называя свое редкое имя: Флавиенна. Алина подымает голову и замечает на стене еще панно:

РАЗВОД

По чьей вине?

По вине мужа —41%
По обоюдной вине —32%
По вине жены —27%

БРОШЕННЫЕ СЕМЬИ

По чьей вине?

Женщины —15%
Мужчины —85%

Эмма тоже с удовлетворением созерцает эту статистику.

— Ну, теперь вам ясно, а? — роняет она. — Цифры весьма красноречивы.

— Мужененавистничество ничуть не лучше женоненавистничества, — говорит одна из соседок в форме стюардессы, строго застегнутая на все пуговицы. — Я, представьте себе, вхожу в те двадцать семь процентов. Но это произошло чисто случайно. К тому же не пойман — не вор. Ведь так? Если доказательство помогает выявить виновника, оно не оправдывает человека, который им воспользовался.

Сколько их тут? Эмма уточняет: сегодня присутствует едва ли четверть всех записавшихся в клуб. Две, пять, еще десять «сестер» представляются: одни — болтушки, другие — молчаливые, почти каждая сообщает, сколько у нее детей, некоторые называют сумму получаемого пособия. Старейшина клуба представляется после всех: это старуха с пожелтевшим шиньоном, нашпигованным выпадающими шпильками. Если у ее коллег исчезли с пальцев обручальные кольца, то у нее оно красноречиво висит на шейной цепочке в виде украшения. Старуху зовут Катрин, в шестнадцать лет она вышла замуж, в шестьдесят шесть отпраздновала золотую свадьбу и вот в шестьдесят восемь поставила своеобразный рекорд — самый поздний развод. Тем временем президентша Агнесса хлопает в ладоши, требуя тишины. Амелия, исполняющая обязанности секретаря, объявляет, что сегодня не будет ни демонстрации

фильмов, ни обсуждения, а будут изложены лишь некоторые соображения, которые могут быть многим полезны. Дамы расселись, кто где мог. Президентша снова хлопнула в ладоши, чтобы прекратить шепот.

— Для начала я хотела бы,— сказала она,— помешать Альберте сделать глупость. Она собирается переехать к своему другу. Знаю, ее процесс тянется уже три года, это невыносимо. Но дело вот в чем: по закону она должна жить одна, ибо не имеет права на личную жизнь до тех пор, пока не будет вынесено окончательное решение суда. Ее муж может иметь двадцать любовниц, но ему достаточно представить доказательство, что Альберта с кем-то живет, и вина за развод сразу будет признана обоюдной... Затем мне хотелось бы сказать Люсьенне, у которой недавно умер бывший муж, что в принципе она имеет право на часть пенсии, которую должна разделить с законной вдовой, соответственно количеству лет, прожитых в замужестве с покойным, но не может требовать больше половины. Мадам Гренд изучила этот вопрос.

— Мэтр Гренд — наша вице-президентша,— прошептала Эмма на ухо Алине.

Алина кивнула, весьма равнодушно, с видимой скукой. Эта лига представлялась ей романтическим, полным страстей союзом, объединяющим Эриний, древнегреческих богинь мщения. Внезапно, не веря собственным ушам, она настораживается. Агнесса уже взялась за некую Маргариту, похвалявшуюся тем, как она учила своего сына изменять по временам глагол *«быть»*: *папа есть, был и будет мерзавцем*. Улыбки, промелькнувшие на нескольких лицах, возмущают президентшу.

— Сколько раз надо повторять, что такого рода «сестры» только наносят нам — да и себе самим — большой вред. В подобной игре ничего не выигрываешь. Ребенок всегда предпочтет того, кто не учит его ненависти к другому родителю. И кроме того, даже если иметь в виду только денежную сторону, я не вижу особой выгоды в том, чтобы притуплять у плательщика отцовские чувства.

Молчание. Видимо, не одна Алина ощутила, что упрек попал в цель. И почувствовала смятение. Может, она пришла сюда слишком поздно? А может, слишком рано. Конечно, если ты знаешь, что не у одной тебя такой удел, а у многих, и если сама убеждаешься, что бывает и худшая участь, это утешает. Но подобное утешение указывает и на то, что твое несчастье и обиды банальны, что ты имеешь меньше права на сочувствие. Агнесса

продолжает, напоминая, что цель клуба — не только заботиться о женщинах, знакомить их с правами, но и помогать друг другу, и если говорить правду, то «сестер», добывающихся помощи, всегда достаточно, а вот помощниц не хватает. Прийти на помощь нуждающимся! Алина еще не чувствует себя готовой к этим принципам скаутизма. Агнесса кончает свою речь, переходит от группы к группе, приближается к Алине.

— У вас,— говорит она,— рана еще слишком свежа...

Она в темном костюме, ее завитые волосы чуть надушены, ногти отполированы, но холодное изящество Агнессы не может сгладить впечатления от ее глаз — такой буравящий, пытливый у нее взгляд.

— Знаю,— мягко продолжает президентша.— Развод иной раз похож на хирургическую операцию. Однако судья выносит решение и этим ограничивается, но трудно представить себе врача, который оставил бы своего пациента без присмотра, не сделав ему потом перевязки. И тем не менее именно такова наша участь. Если вам потребуется, не стесняйтесь, зовите нас на помощь...

— Мне это кажется более естественным,— говорит Алина.

Она отступает на три шага к этажерке, уставленной книгами, которые обычно встречаются на книжных полках юристов; внизу металлические секции, заполненные разноцветными папками с делами. Она делает еще три шага — на этот раз в сторону, пятясь как рак, и оказывается у самой двери.

— Можно уже уйти?— едва слышно шепчет она Эмме.

— Здесь входят, уходят и возвращаются, когда хотят,— отвечает Эмма.— Одно из наших правил — не замечать этого.

Агнесса действительно несколько не удивлена и лишь на прощание взмахивает рукой, мелькнувшей в синеватом от табачного дыма воздухе. Алина выходит на лестницу, вызывает лифт и громко смеется.

— В чем дело?— раздраженно замечает Эмма.

— А вы можете себе представить Луи в подобной обстановке? — спрашивает Алина.

— Пожалуй,— отвечает Эмма, даже не улыбнувшись.

Металлическая клетка лифта уже на подходе, поскрипывает. Эмма повторяет:

— Пожалуй. Мужчины долгое время считали, что

закон существует только для них. Ведь у них деньги и положение в обществе. Но, видимо, они уже чувствуют себя под угрозой, если создали «Ассоциацию защиты разведенных мужей и их несовершеннолетних детей».

Из лифта выходит женщина и на ходу вносит свою лепту:

— Да,— говорит она,— мне уже приходилось не раз выступать в суде против одной из таких организаций и раз даже удалось заключить полюбовную сделку, не тратя денег на ведение процесса.

Не останавливаясь, она проходит мимо.

— Это мэтр Гренд,— шепчет Эмма.

22 августа 1966

Недоуменно подняв брови, Одиль улыбалась, удивляясь собственным добродетелям. Только что она застелила все кровати, привела в порядок комнаты, прошлась пылесосом по лестнице, по гостиной, вымыла все умывальники, ванну, и все это — аккуратно, тщательно, с тем же усердием, с каким убирала свою крохотную квартирку в Венсене. Единственная разница: пространство, порученное ее заботам, теперь вчетверо увеличилось. И никого нет в помощь: сейчас в Ля-Боле самый сезон и ее родители, чье существование зависит от читателей, съезжающихся на летний отдых, могли закрыть книжную лавку самое большее на неделю, чтобы показать дочке, что она прощена, и облегчить ей первую встречу с детьми мужа. Луи сейчас во дворе у своего мольберта, дети ушли за покупками и наверняка задержались у площадки для гольфа вместе с Раймоном и Армелью, которым поручено сопровождать их, заниматься ими, баловать их и которые также пользуются этим в свое удовольствие.

И все же Одиль улыбалась. Она сама этого пожелала. Она будет на высоте. Она с честью выдержит экзамен. Когда занимаешь место другой женщины, твоя молодость и свежесть в глазах детей так же отвратительны, как и твои ночные достоинства (они и так с ужасом представляют себе в этой ситуации своих матерей, которые, однако, родили их). Главное — твои достоинства дневные: пять процентов отводится интеллектуальным способностям (лишь бы не выглядела идиоткой), десять процентов —

педагогическим талантам (умению решать трудную задачу), тридцать процентов — хозяйственным качествам (умению вязать на машине, делать слоеное пирожное, сбивать масло, проглаживать вышивку, составлять букеты — словом, ловкости рук) и пятьдесят пять процентов организации быта (все эти тряпки, щетки, швабры, полотенца, метелки для обмахивания потолков) — и все это будет сурово сравниваться. Удивительная участь! Странный итог нежной и пылкой любви. Вас так обожали, что взяли замуж. И с этого дня вы сразу превратились в служанку. А ведь так недавно вы были самой дорогой, милой, лапочкой, не обремененной ни трудами, ни ответственностью; вам надо было заниматься только вашим возлюбленным, нежным и внимательным, который жил и кормился в другом месте, где ему стирали, чинили, гладили, и он вовсе не требовал от вас всей этой работы в утомительном вертикальном положении; когда он приходил, можно было от него отдыхать, ждать его, заставлять его самого пылко и нетерпеливо дожидаться встречи с вами, находить во всем этом что-то новое для себя и это новое открывать ему; вы были совсем свободны; могли ходить куда хотели, все лучшее предназначалось вам... И вдруг — стоп! — кончилось, милочка. Та, которую ждут, превратилась в ту, что ждет сама, сидя дома. А ну-ка, принимайся: чисти овощи, натирай полы, зашивай, подметай. А тут — хлоп! — еще четверо деток, уже готовых, больших — не пора ли одним прыжком перескочить из сословия девушек в сословие матушек. Попытайся стать матерью без возможности обладать ее преимуществом: без ее священного чрева, воды которого — подлинно священные воды — окрестят навеки самого мерзкого ублюдка; и есть еще одна связующая нить: все их привычки, родня, воспоминания, домашняя кухня, домашние словечки, пощечины после поцелуев, которые терпят только от родной матери. Короче, надо молодеть для папаши, стареть для деток. Добрая и красивая мачеха, упивайтесь своей новой ролью — только в этом случае вы сохраните совершенство. При всех этих «принимая во внимание», которые вас-то во внимание совсем не принимают, в решении суда о разводе мужа сказано: два воскресенья в месяц и половина всех каникул в году.

Надо еще поставить жаркое в печь, взбить крем, прогладить скатерть. Руки, ноги — все в движении. Одиль работает и не перестает улыбаться, оценивая свои хлопоты, раздумывая о своих подопечных.

Сначала о Луи. Конечно, ему повезло, но знает ли он сам об этом? Одна сослуживица Одиль по издательству, очутившись в схожих с ней обстоятельствах, не постеснялась ей сказать: *Ты что, обалдела? Я взяла себе парня таким, каким знала: в единственном числе.* Но и парень ей попался вроде петуха — не оглядывался на свое потомство. За эти две недели Одиль лучше поняла, что получила в результате своего бесконечного ожидания. Как сказала ее подруга: *Поздравляю! Налетела на папашу. Четверо деток — есть чему порадоваться! Знаешь, дорогая моя, выйти замуж за пятерых — это уже совсем другой колленкор.*

И действительно, это было совсем другое дело. Но Луи и тут повезло. Пусть за ним стояло еще четверо, но к чему скрывать: ей приятно было иметь право наконец-то сказать *мой муж*, говоря о нем своим родным или беседуя с продавцами, с почтальоном. Обращение *ваш отец* в разговоре с детьми чем-то отделяло от нее Луи, а слово *мой* перед словом *муж* означало, что жизнь у них общая, в общем доме, лишь разделенном на комнаты. И Луи (имя, которое можно произносить и так и этак: Луи и Сиуль¹) теперь перестанет отмечать свои именины по календарю предыдущей супруги в числе семейных дат, а будет отмечать их только у Одиль, которая и раньше праздновала этот день, произнося лишь имя своего возлюбленного: Сиуль. Это имя они изобрели в часы любви, оно чем-то походило на «сиу», слово, которое нежно произносит индейская женщина, обращаясь к возлюбленному, вождю племени.

И тем не менее одно примечание: Сиуль сидел под окном, писал картину. Он занимался этим с особым вдохновением после того, как Одиль сказала ему: *В сущности, именно живопись — твое настоящее призвание.* Если вы исполняете обязанности музы, то вы должны быть снисходительны. Однако хоть на минуту, не больше, художник мог бы оставить свои кисти, чтобы помочь обремененной музы накрыть на стол.

И Леон в этом отношении был весьма похож на отца: он тоже привык смотреть на дом как на гостиницу, хозяйке которой позволено все, за одним исключением — беспокоить своих подопечных; не дай бог попросить

¹ Если читать имя Louis с конца, получится «Сиуль»

их обмакнуть пальчики в воду, если надо помыть посуду. Впрочем, королева-раба Алина сама этого хотела: ни сын, ни муж не занимались той работой, для которой надо надевать передник. Этот деревенский предрассудок, пожалуй, удалось бы сломить у Луи, но не у Леона, ни в коем случае! Но так как сей молодой человек постоянно отсутствовал и не говорил ни «да», ни «нет», то, возможно, это было и к лучшему. Восемнадцать лет! Леону восемнадцать лет! Раймон однажды с каким-то странным видом каким-то странным тоном заметил: *А он ведь только на восемь лет моложе тебя.* Подразумевалось: *По возрасту он к тебе ближе, чем Луи. Осторожней! Сорокалетний муж, молодая жена, пасынок — все совпало, чтобы сыграть роль Федры...*

Но хватит улыбаться. Давайте посмеемся. Представить себе Леона в роли Ипполита — вот умора! Чего только люди не вообразят! а как вести себя с Леоном? Как с подростком? Он обидится. Как с наследником — старшим сыном от первого брака? Это будет нарочито. Наименьшее зло — спокойное безразличие.

С Агатой же, наоборот, надо делать усилия. Бесполезные. Но подчеркнутые. Они признаны доказать, что Одиль как всегда, готова проявлять добрую волю. Неистребимую враждебность можно победить только терпением.

Уже с первого дня Агата стала невыносимой, наглой, чужой. Она испробовала все способы сопротивления: молчала, зевала от скуки, разговаривала сухим тоном и подчеркнуто вежливо, язвительно улыбалась, постоянно опаздывала, демонстрировала полное равнодушие. Над каждым блюдом Агата капризничала: *Мама так не пересаливает.* Капризничала на прогулках. Горный пейзаж ей тоже был не по душе: *Гораздо больше люблю море.* Капризничала во время игр: *Вы думаете, меня это забавляет?* Часами сидела, грызя кончик авторучки, что-то записывая в свой дневник, вероятно заполненный очень ехидными заметками. Не раз она удалялась в сторону почты. Собрала вокруг себя каких-то шалопаев из местной молодежи, давая понять, что вот с ними она встречается с удовольствием. У нее вошло в правило никогда ничего не спрашивать у Одили: она без всякого стыда брала у нее духи, лак, чулки и даже прямо при ней деньги из кошелька.

— Луи, ты, наверно, забыл дать своей дочке карманные деньги,— сказала Одиль.

Но через день, когда они были в ущелье Паккали, произошел случай, который мог иметь опасные последствия. Одиль предупредила детей: *Хотя это и не восхождение в сложных условиях, но и не просто прогулка. Давайте держаться вместе. В горах ходить в одиночку нельзя.* Это истина довольно известная, но, раз ее высказала Одиль, она прозвучала как вызов и требовала немедленного ответного действия. Минут через пять Одиль машинально пересчитала своих спутников. Агаты не было.

— Она вон туда завернула,— сообщил Леон.

— Почему ты сразу об этом не сказал?— крикнул Луи.

Тропинка, по которой пошла Агата, вела к горке со старинной пушкой, а потом разветвлялась. Пошла ли Агата назад к машине? Или отправилась одна на Рош-Пьерфа? Принялись кричать. Эхо беспрестанно повторяла имя Агаты; ее искали в лошине, пытались увидеть в бинокль, глядя во всех направлениях,— за два часа промерзли основательно. Уже решили идти за помощью, как вдруг, немного прихрамывая появилась сама Агата:

— Ну где же вы? А я вас ждала в Мушиной дыре.

Недурная история! Все были очень злы, что поход испорчен, и сердито обрушились на Агату.

— Что у тебя с коленом?— спокойно спросила Одиль, вытаскивая из рюкзака пластырь.

А Роза? Когда Луи ночью, лежа в постели, припоминал события прошедшего дня, он, чтобы ободрить себя, тихо шептал: *Вот если бы все были, как она...*

Он прав. Роза услужлива, общительна и вообще-то сговорчива. Она скрытная, но неприязни в ней нет. Сдержанная, но не безразличная. Не сдаваясь, не идя на компромисс, она допускает... Наедине она может проявить даже любопытство: *А как ты познакомилась с папой? Как-то у нее вырвался целый поток вопросов: Где? Когда? Почему именно он?*

Этим она невольно себя выдала. Когда мачеха занимает в машине переднее место справа (или на нем сидит Луи, если позволяет ей взяться за руль), Роза надолго умолкает. Если мачеха делает то, что она делала недавно, давая справки своему супругу по дорожной карте «Мишлен»— ставшей для жен в наши дни в некотором роде картой нежности,— Роза грустно морщит носик. Если мачеха подставляет Луи шею для поцелуя, Роза тоже вытягивает мордочку, чтобы получить свою долю. И Одиль тоже

смотрит на это косо. У нежности и у любви природа разная. Когда солнце освещает два дерева разной породы, посаженные на одном участке, всегда одно из них закрывает свет другому.

И наконец, Ги. Интересный маленький плутишка. Конечно, «интерес» будет всегда ограничен рефлексом чрева: не я его родила. Но он лицом вылитый отец — как, впрочем, и Агата, — и похож на него во всем. Ги трогателен. Какая женщина не мечтала попестовать мальчика, узнав в нем своего возлюбленного в детстве? Или родить такого же? Двадцать шесть минус десять равно шестнадцати: в сущности, если начать очень рано...

Удалось ли завоевать малыша? Во всяком случае, с ним легко. Пожалуй, это произошло слишком быстро. Каждая женщина содрогается, если услышит, что ребенок холодно говорит о своей матери, даже если эта мать ваша соперница. Ги же по характеру не скрытен и, невзирая на то что сестра строго поглядывала на него, сразу пустился откровенничать. Начало было положено у кондитера, когда мальчишка, улетаая тарталетку с черникой, доверительно сказал: *О тебе, Одиль, столько всего болтали, а, по-моему, ты совсем не такая*, потом вспомнил о матери: *Нужно было взять сюда моих хомяков, а то они у мамы сдохнут*. Но особенно было неловко, когда Одиль раздавала детям почтовые открытки, настаивая, чтобы каждый из них написал письмо в Фонтене, и Ги, услышав, как Агата пренебрежительно воскликнула: *Можете мне об этом не напоминать*, сказал, обращаясь к Одиле: *Какая же ты чудачка! Мама все делает наоборот!* Будем откровенны: хорошая роль требует большого искусства. Агата это прекрасно понимает и не поддается. А вот Ги, сам того не ведая, поддержал Одиль. Как-то вечером он вернулся домой, вбежал в комнату и по пути наступил на ногу Агате, которая мрачно дала ему затрешину.

— А ты, — завопил Ги, — такая же злюка, как мама.

Возмущенная Агата готова была отпустить ему вторую порцию. Одиль, не обращая внимания на Агату, стала между ней и мальчиком, загородив его:

— Я не позволю тебе так говорить о своей маме в моем присутствии. В какое положение ты меняставишь? Почему ты на нее так сердисься?

Ги потупился, но быстро ответил:

— А почему она всегда говорит, что папа мерзавец? И что ты...

Он не договорил.

— Пойми,— сказала Одиль,— мы не можем отвечать ей тем же. А то ты нас возненавидишь.

Как все-таки утомительно это случайное материнство. Луи твердит: *А нервы у тебя крепкие. Ты молодчина!* Или: *Вот чертовка! Захотела меня поразить и поразила!* Даже с каким-то беспокойством в голосе. Оказывается, на подобную мачеху можно положиться! Ему это нравится. Но что касается авторитета, то этот добрый папаша с другими делиться не собирается. Хватит с вас, законная супруга, не принимайте свою персону слишком всерьез.

Вот Луи возвращается, несет перед собой новую картину, только что законченную. Это опять ледник, третий по счету, белый цинк и голубой кобальт, перед чем полагается замереть.

— А я больше люблю, когда ты пишешь портреты, а не пейзажи,— говорит Одиль.

Луи невозмутимо поворачивает голову: скрипит песок, кто-то идет сюда.

— Вот и вся компания,— говорит Одиль.— Пойду накрывать на стол. Неси большую кастрюлю.

Луи удивлен. Он ничего не сказал, но Одиль вспоминает одно его замечание: Алина, которая была весьма старательной хозяйкой, постоянно требовала, чтобы жаркое перекладывали на большое блюдо от сервиза. Тем не менее Луи отправляется на кухню и, возвратившись с кастрюлей, ставит ее на стол, затем вдыхает вкусный запах еды и снова удивляется:

— Ты готовишь барашка с картофелем?

По мнению Алины, «рагу из баранины» должно быть непременно с фасолью. Вот — меняешь жену, возлагаешь на другую ее обязанности, представляешь ее своим детям, но никак не можешь до конца развестись с сотней старых мелких привычек.

31 августа 1966

Алина подводила итоги.

Девять цветных открыток от Агаты, изображающих альпийские цветы — маки, чертополох, астру, розовую горную лилию, примулы, цикламены, рододендрон, гор-

ную арнику, эдельвейс; на последней открытке надпись: *Для пополнения коллекции.* Семь открыток от Ги — только одни сурки, видимо, ироническая иллюстрация к семейным упрекам: *Ты когда-нибудь проснешься, сурок?* Шесть открыток от Леона, шесть от Розы, чаще всего скалы и водопады. Все четверо — ведь их, в сущности, никто писать не принуждал — проявили себя хорошими детьми. Тексты весьма однообразные, кончаются все тем же *крепко целую*, и это заставляет предполагать какую-то цензуру. Все послания адресованы мадам Давермель, кроме одного, последнего, заказного, посланного на имя мадам Ребюсто; в одном конверте две открытки с видом часовни д'Асси, одна из них подписана Леоном, другая — Розой; обе приложены (конечно, без ведома их авторов) к письму отца — к тому письму, которое запрещало их матери отныне подписываться фамилией ее детей.

Алина взяла конверт, удивилась тому, что он надписан рукой Леона, почуяла в этом коварство Луи и принялась не спеша рвать на мелкие кусочки и конверт, и его содержимое. Затем спокойно принялась читать письма от Агаты.

Десять писем-открыток с маркой, на которой стоит штамп, купленные и написанные на почте, как ей советовала мать. Свои маленькие отчеты Агата посылала через каждые три дня. В них почти ничего не сообщалось о происшествиях, которые, несомненно, должны были иметь место. Агата подтверждала получение писем от матери, тщательно пронумерованных (так было и с письмами Луи, когда он писал в Шазе: *доверие за доверие*). Получив посылку с бельем, Агата написала, что Одиль над этим смеялась. «Смеялась» подчеркнуто. Вряд ли эта женщина (напрасно Агата называет ее просто Одилью) может правильно воспитывать девочек. Кроме того, Агата сообщала: *Надпись на конверте — «отправитель: мадам Давермель номер первый» — вызвала негодование. Папа разворчался: «Ну и манеры!» А позже я сама слышала, как он сказал Одиле: «Не хотел я затевать никаких историй, но если она сама их провоцирует, то приму необходимые меры».*

Значит, это явилось предлогом, и безобидная шутка только ярко осветила печальную истину. Эта истина стесняла их... Агата рассказывала о фотографиях: *У папы теперь новая машина... «Идите-ка сюда! Станьте все около меня». И готово — вот вам семейное фото, а Одиль, конечно, в середине. Вот так-то! Когда мне*

удаётся, я увилваю. Но если не могу уйти, то в тот момент, когда щелкает автоматический спуск, я дергаю головой...

Но Агата не всегда была на высоте. Она сама в этом призналась: *Сегодня я получила письмо (№ 14). Представь себе, Одиль имела наглость спросить меня: «Мама здорова?» Как мне хотелось ей ответить: «Мама бы чувствовала себя отлично, если б тебя на свете не было». Но я все же не решилась. Зря она этого не сделала! Нужно было утереть нос мачехе. Но к тому же проявить вежливость: обойтись без тыканья. Хитрая девочка добавила: *А папа пробует меня баловать. Но я не так уж глупа.* Да, конечно, если бы папаша на самом деле хотел Агате добра, то повысил бы сумму алиментов. Он балует детей в своем доме, но не в доме их матери, а ведь дети те же.*

Алина взяла последнее письмо, датированное вчерашним днем, 30 августа, и перечла в нем самое существенное: *Вот мы и вернулись из Комблу, приехали в папин новый дом в Ножане. Послезавтра папа приступит к работе. И Одиль тоже. По решению суда они имеют право держать нас у себя до самого начала занятий в школе. Это вызывает некоторые трудности, и я сначала думала, что они отправят нас домой, в Фонтене, но папа предпочел еще раз мобилизовать тетушку Ирму. Ты ее знаешь, она такая методичная, словно часы проглотила: ровно в одиннадцать она всегда отправляется за продуктами. Если ты позвонишь мне около половины двенадцатого...*

Агата забыла написать номер телефона! Но в справочной можно получить сведения о вновь прибывших, и, конечно, там числится некий Давермель, недавно поселившийся в Ножане. Алина семь раз повернула диск, но ей не пришлось работать языком, извиняться и объяснять. Ответил ей певучий голосок синички.

— Алло! Это твоя мама говорит. Ты одна?

— Да, говори. Дома только Леон.

Как быстро летят минуты! Хотя в одном и том же районе оплачиваешь только вызов. Восклицания перемежаются вопросами:

— Как же долго тянется время, доченька моя!

— Да, и мне так кажется.

— А ты не похудела, а?

— Да нет, скорей прибавила в весе.

— Так я и знала. Тебя заставляют есть слишком много

мучного... Но Расскажи-ка мне про этот дом в Ножане, что он собой представляет?

— Дом довольно большой, внутри почти пустой, очень обветшалый. Его надо заново перестраивать.

— Интересно, где твой отец достанет столько денег? Сколько же он сумел от нас скрыть! Кстати, тебе удалось узнать, где работает мачеха и сколько она получает?

— Она при мне как-то об этом сказала: тысячу во-семьсот франков в издательстве «Баллен». Но знаешь, они этот дом только снимают, а там, в Комблу, за все расплачиваются Милоберы.

— Не может быть! Ты уверена? Значит, Луи уже позволяет себя содержать! Никогда бы не подумала, что он так низко пал. Потому и мстит мне как может! Ты знаешь, что он недавно запретил мне носить вашу фамилию?

— Знаю, он этим похвалялся. Даже Одиле было неловко.

— Ну, ей-то неловко. Одно притворство... Если бы этим ограничивалось, было бы только одним испытанием больше для меня. Но, к несчастью, случилось худшее. Ты знаешь, что твой отец требовал распродажи, и — увы! — на дом уже нашелся покупатель. Через три месяца, моя бедная девочка, мы должны уехать и снять себе квартиру. Четыре комнаты, не больше. У каждого из нас уже не будет отдельной.

— Мне, значит, придется жить с Розой?

Голос синицы становится взволнованным. Алина пытается вывернуться:

— А как быть? За все это можешь благодарить своего папашу... Кстати, мне кажется, он нарочно поселился близко от нас, чтобы постоянно нас мучить. Только об одном забыл: ведь десять минут на автобусе — и ты уже у мамы. Вас на ключ не запирают, я полагаю. По закону, ты сейчас живешь у отца. Важно, что ты ночуешь там, но что может помешать тебе или Леону — да и всем остальным, если им захочется, — приехать после обеда к маме?

В телефонной трубке вдруг раздался свист — так молодые люди нашего времени приветствуют красивую девушку, хорошую песню или удачную мысль.

— Главное — ничего не скрывайте! — быстро говорит Алина. — Когда вернетесь в Ножан, так и скажите: мы ездили повидать маму. Что может быть естественней! Когда ваш папаша поймет, что вы к нему вернулись, только подчиняясь закону, это съест с него спесь.

Гранса вернулся из четырнадцатого зала хмурый. Ну и услужили ему: всего только раз выступал он по уголовному делу, и вот извольте — клиент получил максимум. Гранса заподозрил это уже в тот момент, когда председательствующий Дютуатр уселся в кресло вместо заболевшего старика Гарну и с весьма заинтересованным видом склонился над делом. Считая судебных крючков взломщиками, Дютуарт никогда не упускал случая насолить защитникам по гражданским делам, которые умели загребать большие деньги. *Если за провал хорошо платят, он не так мучителен,* — говаривал патрон своим помощникам. Это еще вопрос! А престиж разве не в счет?

Размышляя на эту тему, Гранса шел в гардеробную, его подталкивали по пути коллеги, спешившие сбросить судейскую мантию, чтобы помчаться в приемные залы. У дверей гардеробной он нос к носу столкнулся с Лере, который выходил оттуда.

— Удачная встреча! — сказал Гранса. — Я как раз собирался звонить тебе по поводу Давермелей.

— Не стойте в проходе! — буркнул какой-то важный судейский тип с розеткой ордена Почетного легиона. — Я собирался сделать то же самое, — сказал Лере. — Моя клиентка жалуется, что твой кузен использует встречи с детьми, чтобы их против нее настроить!

Гранса стащил мантию через голову и повесил на крюк.

— Если говорить серьезно, — сказал он, прилаживая волосы, — Луи, конечно, виноват, но Алина — потрясающая дуреха. Алименты выплачиваются скрупулезнейшим образом, хотя Агата постоянно уклоняется от встреч с отцом, да и Леон приходит нерегулярно.

— Ну что ж! — заметил Лере. — Ведь они уже взрослые люди, их трудно к чему-либо принудить. Впрочем, надо тебе сказать, младшие поступают как раз наоборот: они совершают набеги в Ножан в те дни, когда не имеют права там быть.

Увлекая за собой коллегу, Гранса вышел и начал быстро подниматься на галерею.

— Три заказных письма отправлено матери и десять заявлений в комиссариат, в которых указывается на то, что не все дети ходят к отцу!— сказал он.— Пора рассмотреть требования и, если необходимо, подать жалобу. Я понимаю, Алина в ярости: она должна покинуть дом, к тому же она видит, что, как только Луи от нее избавился, его дела сразу наладились. Но разве это основание для всех этих булавочных уколов...

— Тут все обоюдно — заметил Лере.

Гранса раздраженно щелкнул языком: к чему пререкаться — ведь здесь же нет клиентов.

— Брань, вранье, проклятия по адресу отца,— продолжал Гранса,— вот что детям ежедневно приходится выслушивать. Нужна какая-то бумажка? Алина отказывается ее подписать. Приходит почта для Луи? Алина ее тут же сжигает. Приходит клиент? Она отвечает, что понятия не имеет, где проживает Луи. Я уж не говорю о жалком, крохотном наследстве, оставленном недавно скоропостижно скончавшейся тетей Ирмой: Алина кинулась на него, как...

— Но ведь доходы детей, находящихся под опекой, принадлежат тому из родителей, которому поручено их воспитание, даже если сам родитель из другой семьи,— замечает Лере.

Он толкает одну из стеклянных дверей, выходящих на главную лестницу, и говорит уже более спокойно.

— Конечно,— соглашается он,— эта дама надоедила до крайности. Они словно сговорились, мои клиентки. У меня есть одна мамаша — она научила своего мальчишку ломать мебель у отца, платит малышу по двадцать франков за каждое поломанное кресло. Для многих женщин такие выходки — своего рода условный рефлекс: если нет любви, не должно быть и родственных чувств. Половина детей, воспитание которых поручено матерям, растут в ненависти к отцу...

Спустившись с лестницы, Лере остановился под большим канделябром и подтянул шнурки на ботинках; со всех сторон доносился стук каблуков: из Дворца правосудия расходились посетители.

— Что же мы предпримем?— спросил Гранса.

— Попробуй припугнуть ее,— ответил Лере.

Во время шумной школьной перемены сочинение переходило из рук в руки.

Мадам Виансон не решилась аттестовать его или хотя бы поставить красными чернилами вопросительный знак и с какой-то робкой гордостью отдала классной наставнице. *Черт побери!*— прошептала эта дородная дама, более известная в лицее под кличкой Булочка. Не выпуская из правой руки неизменный бутерброд, а из левой тетрадку с сочинением, она долго всматривалась в то единственное слово, которое там было начертано, как бы пытаясь расшифровать тайный текст, нанесенный симпатическими чернилами на белую бумагу. А похожий на веретено мсье Дотон, казавшийся еще более долговязым из-за чересчур узких брюк, захватил тетрадь и громким голосом прочел:

— Ги Давермель. Шестой класс «Б». Сочинение на тему: «Кого вам больше всего хочется видеть, когда вы приходите домой?»— Учитель умолкает, хмурит брови и обращается к окружающим:— «*Никого!*» Это он написал: «*Никого!*»?

Четыре головы значительно кивают в ответ, и мсье Дотон наконец произносит:

— Кратко, но страшно.

— Зато смело,— добавляет мадам Виансон.— Другие развели тут патоку, и если это правда — тем лучше для них. Все, даже маленький Гарнье, который нередко является в лицей избитым.

Директриса, мадам Равер, не любит вмешиваться сразу, но тут и она вступает в разговор, рассматривая странное сочинение через нижнюю половину своих бифокальных очков.

— Не хотела бы я быть его матерью!— говорит она и передает тетрадь занимающейся социальными проблемами мадемуазель Равиг, особе, весьма квалифицированной в этих делах.

Мужчины и дамы обступили ее тесным кружком — тут и учитель математики, на которого все неодобрительно смотрят после его ворчливой реплики: *Ну и что? Зачем так серьезно к этому относиться? Надо признать, что дети, у которых родители в разводе, охотно пользуются ситуацией, чтобы бить баклуши.* Он уклоняется от участия

в обсуждении и уходит, размахивая руками. Директриса тщательно протирает очки.

— Никак нельзя показывать это сочинение мадам Ребюсто,— говорит она.— Я уже давно раздумываю: как же изменился этот малыш — совершенно не занимается, отвратительно себя ведет, что с ним такое? А теперь все ясно. Его надо направить в Центр для психически неполноценных детей, на обследование.

— Вместе с матерью?— спрашивает мадам Виансон.

— Разумеется,— говорит мадемуазель Кубе.— Я ее знаю. Ее-то как раз и следует освидетельствовать. Ведь у нее еще трое детей, и только одна Роза продолжает учиться как следует.

Преподаватели расходятся по классам. Директриса удаляется вместе с классной наставницей; они идут сквозь шумную толпу неохотно расступающихся мальчишек и охорашивающихся девочек, которые уставились на них и встряхивают своими длинными гривами. Мсье Дотон и его коллеги, оставшиеся, чтобы присмотреть за дисциплиной, хотя эффект от этого невелик, погружаются в социологические исследования. Мадам Виансон, все еще взволнованная разговором, рассеянно слушает их и вдруг поодаль от всех этих юбочек и штанишек замечает одинокого худышку: сидя на подоконнике, он со злостью обдирает принадлежащую привратнице герань.

— Ги!— жалобно произносит мадам Виансон.— Хочешь, я тебе помогу?

14 мая 1967

Луиза и Фернан Давермель никак не могли опомниться от того, что они увидели. Родители согласились приехать к новой невестке; прежде они виделись с ней всего три раза, каждый раз у себя — под предлогом, что Луи и Одиль привозили к ним внуков. Пришлось пригласить Одиль на траурный обед по случаю кончины тетушки Ирмы, которую невестка покорила раньше их; незадолго до смерти Ирма убеждала стариков: *Вам надо оттаять: она не так уж плоха.* Но к Луи родители приезжали лишь за восемь месяцев до этого, весьма неожиданно, днем, чтоб взглянуть на дом в Ножане, на эту прогнившую халупу в саду, заросшем колючками, как отозвался о нем

мсье Давермель-старший, уязвленный тем, что деньги, которые он ссудил сыну для покупки дома в Фонтене, улетучились как дым и не были ему возвращены.

Но вот прошло десять месяцев, необходимых, по мнению стариков, чтобы доказать прочность нового брачного союза, и они увидели дом, стоящий на узком зеленом травяном ковре, окаймленном кустарником; снаружи дом выглядел весьма скромно — он остался таким, каким его купили, только был освежен побелкой; зато внутри вместо потемневших от копоти стен с отклеившимися обоями, с потолком в трещинах они увидели нарядные, уютные комнаты — свидетельство того, что при экономии можно многое сделать с помощью умелых рук. Старики Давермели, привыкшие к своей загроможденной вещами квартирке, здесь обнаружили совсем новый стиль убранства — простор, почти пустоту, а среди этой обстановки — и нового рода невестку: подвижную, с непринужденными манерами, чувствующую себя вполне свободно и естественно в своей роли; она сказала им спокойным негромким голосом:

— Сегодня мы ожидаем и моих родителей, они заедут по дороге в Париж. Луи пошел их встретить. Я должна проследить за жарким, а вас пока оставляю, посмотрите наш дом.

— Ну и ну! Они сами все тут выгребли,— пробормотал Фернан Давермель, как только невестка удалилась на кухню.

— Пошли! Подыдемся наверх,— говорит мадам Давермель, преисполнившись самых благих чувств.

Из большого холла на нижнем этаже (его удалось расширить, устранив перегородки) они поднялись по винтовой лестнице в комнаты второго этажа, тоже очень опрятные, тоже не слишком заставленные мебелью и выходящие на две стороны: на юг выходит мастерская Луи, освещаемая стеклянными светильниками, на север — четыре детские комнаты, разделенные меж собой перегородками.

— Хитро придумано!— говорит мадам Давермель, обозревая диванчик, откидной столик, закрывающийся, когда нужно, умывальник в углу, у вделанного в стену гардероба со скользящей дверцей.

— Не слишком ли много затрат для арендуемого дома?— заметил мсье Давермель.

Он задержался в мастерской сына, рассматривая портрет неизвестного, совсем свежий, пахнувший масляной

краской. Немного отступил, чтобы вернее оценить. Сначала на его лице появилась скептическая гримаса, затем улыбка, выражающая удовлетворение. Мсье Давермель нагнулся посмотреть другие полотна, прислоненные к стене.

— А вот эти недавно вернулись с выставки,— заметил он. И ни слова о том, что выставка произвела на него впечатление и, несомненно, повлияла на решение приехать к сыну в Ножан. Старик с усилием повернул свое бородастое лицо, шея с трудом поворачивалась в тугом крахмальном воротнике. На лестничной площадке он тронул руку жены и произнес:— Я не хочу его оправдывать. Но надо признать, что с Алиной он ничего не мог добиться, а вот с этой...

Мадам Давермель приоткрыла дверь в ванную. С удовлетворением кивнула, и ее подсиненные, заботливо уложенные седые волосы слегка качнулись.

— Да, она смотрит за ним не хуже, чем за домом,— ответила она.

Когда, вернувшись в столовую, они не без опаски усадились наконец в непривычные для них кресла-корзинки, Одиль, посмотрев из кухни в слегка приоткрытое сервировочное окошко, поняла, что все идет к лучшему. Родители мужа и ее родители, которых она пригласила по случаю дня Троицы, будут у нее на крючке. Хватит отчуждения! Одиль решила показать им товар лицом — остальное довершит святой дух! Ни аптекарь, ни владелец книжного магазина, хоть у одного борода круглая, а у другого — остроконечная, не смогут отрицать, что меньше чем за год Одиль хорошо себя зарекомендовала. Она уже не та, «другая», а вторая жена, она проявила настойчивость и, чтобы изгладить из памяти супругу номер один, готова на все. Когда многие даже равнодушные к религии люди полагают, что нехорошо обходиться без церковного венчания, когда вы сами относитесь к этому безразлично, вас все же раздражает, что брошенной жене досталось небесное превосходство; значит, вам надо лучше, чем ей, управляться на земле. Судя по всему, Одиль и правда управлялась лучше. Через окошко в кухню, служившее также акустической трубой, до нее донеслось шутивное ворчание свекра:

— Женитьба для некоторых как соус — один свернется, другой удастся на славу. Выводы делать рано, но если сравнить...

— Что касается меня,— заметила свекровь,— то я

давно не сужу о женщине по качествам, которые она проявляет лежа, а считаюсь с тем, что она умеет делать стоя.

Неужто в самом деле давно? Одиль не строила иллюзий. Ей помогали мерзкие выходки Алины и снисходительность стариков к единственному сыну. Она выключила духовку, схватила поднос с аперитивами и ровным шагом вошла в столовую.

— Не очень разочаровались?— спросила она.

— Должен признаться...— сказал Фернан Давермель, любитель незаконченных фраз.

— Вы даже слишком преуспели!— ответила Луиза, принимая разговор на себя.

— Я как будто говорила вам, что мы, в общем-то, не арендуем дом, а купили его,— продолжала Одиль, нажимая на последние слова.— Но мы предпочли бы, чтобы это не было широко известно — из-за Алины. Конечно, иначе мы не стали бы так много переделывать, чтоб потом оставить все владельцу. Я думаю, что была права, настаивая, чтобы Луи пустил в оборот именно для этой цели те деньги, которые достались ему от продажи дома в Фон-тене.

Уважение к Одиле сразу поднялось, как ртуть на шкале термометра, если подышать на него.

— Конечно, все тут записано на его имя,— закончила Одиль.

Свекор и свекровь со взаимным пониманием, но и с некоторой растерянностью посмотрели друг на друга, а потом чинно опустили веки, словно выражая сожаление, что раньше не догадались о качествах молодой невестки и как долго подвергали ее полубойкоту. Но наконец справедливость решительно взяла верх.

— Мне кажется, Одиль, настала пора сказать откровенно: сначала мы боялись вас...

Откровенность не всегда бывает высказана достаточно внятно. Давайте изобразим смущение, укроемся за маской скромности, с оттенком горечи будем что-то лепетать...

— Алину, конечно, не изменишь, но что вы хотите — ведь четверо детей. А вы, Одиль, очень милы, да еще на двадцать лет моложе...

Наконец-то все сказано, вернее — промурлыкано.

— Поймите нас правильно, дорогое дитя. Луи — наш единственный сын, его предназначали для аптекарского дела, но он отказался и выбрал себе самую ненадежную профессию; потом начал бегать за девушками, то за

одной, то за другой, был вынужден жениться на какой-то машинистке, без единого сантима в кармане, закабалил себя большой семьей; опять стал погуливать и вот, пожалуйте, увлекся молодой девушкой, разбил семью, чтобы начать новую жизнь... Скажите, разве тут мало причин для волнений? Достаточно. Вот почему мы решили повременить, посмотреть, как у вас все сложится. Хоть недолго...

— Зато теперь,— прервала мужа мадам Давермель,— мы знаем, чего нам держаться.

Пауза. Потом разговор продолжается. Опасения сменяются удивлением, удовлетворение — признательностью... Исчезают мрачные тучи, но все же не стоит закрывать глаза на трудности, их надо предвидеть, чтобы в новой жизни справиться с последствиями прошлого. *Впрочем, до сих пор... особенно в том, что касается детей... вы выходите из положения, говорю это с полной откровенностью... с большим тактом...* Словно волос из бороды, словно волоконце швейцарского сыра — слова тянулись, переплетались, путались. Наконец-то перешли к советам — в выражениях сдержанных, но достаточно внятных. Научитесь беречь любовь сына. Деньги сына — тоже, впрочем, вы это можете, доказали. И продолжайте, дитя мое, претворяйте в жизнь свои добрые намерения: во-первых, помогайте ему, насколько это возможно, сочетать в себе художника с декоратором, неплохо бы сбывать картины клиентам фирмы «Мобильяр»; во-вторых, стоило бы заинтересовать этих клиентов — пусть они заказывают свои портреты; в-третьих, практикуя эту профессию, теперь довольно редкую, он сумеет создать себе имя, карьеру, возможность дополнительного заработка.

— Я ведь, знаете ли, люблю Луи!— говорит Одиль.

И лица сразу умилились; Одиль полагала, что иной раз простиительно слегка пококетничать, сказав правду дрожавшим от волнения голосом. Забвение прошлого помогает обелить настоящее. Представляются они дурачками или на самом деле глуповаты — в сущности, какое это имеет значение?.. «Милые родители,— весело подумала она,— не столь уж длинна эта дорога от ваших проклятий до признания моих заслуг! Любовник он мой или муж, это все тот же самый Луи, только в других руках и ублаговоренный другими средствами. Для вас я ровно ничего не сделала, все только для него и для себя самой...»

Хлопают двери, слышатся шаги, откашливанье — при-

были Милоберы, коротко поздоровались, кивая головой с некоторой робостью.

— Мама! — обратилась Одиль к мадам Давермель. — Вот моя мать...

Мама! Это прозвучало впервые. До сих пор Одиль, когда рассказывала о свекрови или обращалась к ней, избегала как-либо называть ее, а, как и Луи, употребляла разные забавные сокращения во множественном числе: *Звонили «Д»*; ту же формулу она применяла для своего клана — «М» и для Фонтене — «Р».

— Весьма счастливы познакомиться с вами...

Счастье, конечно, умеренное, с некоторыми оговорками, не высказанными вслух. «М» *пристроили* дочь, после того как она была совращена, «Д» *переменили* невестку на ту, которую прежде считали узурпаторшей. Однако хватит уже! Простите нам прегрешения наши, как мы прощаем их врагам нашим. Одиль сразу приглашает всех сесть за стол.

— Вы как будто коммерцией занимаетесь? Лично я недавно оставил эту сферу деятельности...

Лангустины, которых подали на закуску, имеют одно важное преимущество: вы снимаете с них панцирь, скребете внутри, тянете все из шейки, из лапок, это продолжается долго, вы все время заняты. При этом беседа может быть почти бессодержательной, вроде пустых панцирей на дне вашей тарелки. А Одиль заполняла паузу улыбкой, прекрасно понимая, что быть приветливой, а не желчной, как Алина, быть радостной, не слишком, но так, чтобы эту чувствовалось, даже когда она молчит, — в этом и есть ее сила. Веселые всегда берут верх над нытиками.

— Мы оба, дорогой мсье, занимаемся благородной коммерцией, не правда ли?

Конечно, это было сказано не без яда. Но как бы то ни было, еще совсем недавно хозяин книжного магазина всякое болтал о сыне аптекаря, а тот не оставался в долгу по поводу дочки книготорговца, и, несомненно, и тот и другой ожидали извинений или обещаний, которые могли бы исправить положение, а вот теперь они обмениваются любезностями. Луи смотрел на жену. По обе стороны от нее сидели отцы, по обе стороны от него — матери; от Одиль к Луи струился живительный ток, не нуждающийся ни в каком проводе. Они и ведут свой род от этих самых отцов, нашедших свое призвание в коммерции; коммерция одного поддерживает дух, другого — тело. Конечно, хозяин книжного магазина не может стать

доктором, как аптекарь,— это ясно: тут преимущество на стороне Луи. Зато книжник образованнее благодаря своей торговле и знает толк в книгах лучше, чем аптекарь,— тут уж преимущество на стороне Одили. Но семья «Д», как и семья «М», теперь говорит лишь о том, что их объединяет; этим занялись дамы: они успели обозреть свое житейское бытие, переходя от лавки к дому, от обслуживания клиентов к уходу за детьми.

— Кто это там?— вдруг спросил книготорговец. По гравию во дворе кто-то шел, скрипя башмаками.

— Вы ожидаете Четверку?— осведомился дедушка.

— Нет,— ответила Одиль.— Мы с ними видимся два раза в месяц, по воскресеньям, сегодня же Троица, а все короткие каникулы мы делим пополам. Алина их отпустит лишь завтра после полудня.

— Это только так говорится — Четверка,— добавил Луи.— К нам ходят только двое. Я так огорчен отсутствием старших, что собираюсь послать к Алине судебного исполнителя.

Алина. Снова Алина. Упоминание этого имени внесло холодок. По выражению лица новой супруги было ясно, что Одиль вряд ли собирается бороться за старших детей и не грустит так, как Луи, из-за их отсутствия. Но дверь приоткрылась, впустив Розу и Ги, запыхавшихся, потных.

— Мы сказали дома, что хотим покататься на велосипедах,— выкрикнул Ги.

— Простите, я посмотрю, который час,— торопливо проговорила Роза.— У нас всего минут десять свободных.

Фернан Давермель не верил своим глазам. Ги бросился лбызать отца и уже вертелся возле Одили, которая тут же встала, поставила две тарелки, отрезала два куса фруктового пирога и усадила детей по обе стороны стола; она остановилась около младшего.

— До чего же ты неряшливо одет!— сказала она.— Нельзя ходить с продранными локтями. Послезавтра, когда придешь, переодену тебя.

— Если ты мне купишь костюм и она узнает, что это ты, то сразу отберет его,— тихо сказал Ги.

— Когда будешь уходить домой, костюм снимешь.

Интимная беседа, почти неслышная. Однако в официально-ласковых улыбках собравшихся сквозили немые вопросы: *Не слишком ли? Против самой природы, не так ли? Все ли козыри тут годны? Может, ей хочется...* Мать и свекровь, как более проникательные, уже не сомневались. Луи, Одиль, Роза, Ги... родители Давермель, роди-

тели Милобер — как бы они теперь ни были связаны между собой, все же их связь вторична, по-настоящему же их объединит только новый ребенок.

20 мая 1967

Три часа. Приехавшая в Париж в предвидении Дня матерей — он будет, таким образом, отпразднован сразу двумя поколениями, — мадам Ребюсто вязала, бросая злые взгляды в окно, за которым до самого горизонта шли бетонные здания. Сколько изменений произошло с тех пор, когда Алина принимала своих родных в собственном доме, в комнате для гостей, а родители в ответ могли предоставить ей в дни каникул свой сельский домик и парк! Хотя ее новое жилье в «Резиданс Лотер» обогревалось центральным отоплением, но четыре комнаты на пять человек площадью меньше восьмидесяти квадратных метров — это еще хуже, чем слегка задымленный печами первый этаж, который после смерти мужа занимала в центре Шазе бабушка Ребюсто. Из-за недостатка места ей пришлось вчера ночевать в одной комнате с дочерью; и Алину не узнать — она как-то сжалась, растерялась и даже сама горько сказала, выйдя на узкий балкончик, с которого был виден лишь строительный мусор:

— У нас сейчас куда более высокое положение — живем на шестом этаже. Что же касается всего прочего, то мы кубарем летим вниз.

Можно было в этом не признаваться. Беспорядок в доме, безразличие ко всему на свете, вечные распри между девочками, засунутыми в одну комнату, эгоизм Леона, единолично завладевшего комнатой по праву старшего и решившего не допускать туда Ги, раздражение младшего, вынужденного довольствоваться для приготовления уроков уголком обеденного стола, а для сна — запасным диванчиком, причем лишь тогда, когда остальные соглашались освободить гостиную. Все это, по мнению мадам Ребюсто, не предвещало ничего хорошего. Старшие, по существу, уже жили вне дома. У Розы был неприступный вид. Ги весь оцетинился. Беспокойная, всех изводившая, доверявшая только тем в своей семье, кто был ей безгранично предан, Алина находилась в каком-то полубреду: ко всем придиралась, молчала, когда надо

было негодовать, негодовала, когда следовало молчать, позволяла себе грубую брань. Нельзя настраивать одного ребенка против другого. Зачем брать сторону Агаты, поборницы закрытых окон, против ее сестры, любительницы свежего воздуха? Конечно, нехорошо, что Роза сказала матери:

— У тебя, мама, всегда права только Агата.

Но ответ Алины уж и вовсе непростителен:

— Она хотя бы понимает, кого из родителей следует предпочесть.

Четыре часа. Мадам Ребюсто встревоженно оборачивается: кто-то ударил ногой в дверь, и створка с грохотом стукнула о перегородку. В гостиную, забитую не разобранными еще вещами — право, требуется мужество, чтоб навести здесь порядок, — врывается Алина, бросает хозяйственную сумку и со злостью расстегивает пальто.

— Ты опять бродила вокруг своего прежнего дома, — говорит мадам Ребюсто. — Не надо было снимать новую квартиру так близко.

— Четверка и так уже много потеряла. Неужели нужно еще расставаться с друзьями, менять лицей, привычки? — отвечает Алина. — Впрочем, ты ошибаешься, я была в суде, у судебного исполнителя. Еще две жалобы! Луи даже в мелочах не уступает.

Голубая повестка торчит из хозяйственной сумки между головками лука-порей.

— Я, видите ли, все еще пользуюсь его фамилией! Агата, видите ли, больше не бывает у него!

— Ну и ну! — осторожно замечает мадам Ребюсто.

Еще сегодня утром за кофе они беседовали о том, что Луи разрешил Алине оставить детей у себя в День матерей, в воскресенье двадцать восьмого мая, при условии, если Алина ему уступит в другой раз двадцать первое. Даже ворчали: *Ну и расщедрился ваш папаша! Даром ничего не даст, только выменяет. Даже пропели: «Вот троицын день проходит... Вернется ли, бог весть...»*¹ А несколько минут спустя, все еще именем мадам Давермель, храбро была подписана квитанция — рассылный принес коробку с сыром «Труа Сюис». Тем не менее сейчас Алина, то сжимая, то разжимая руки, меряет шагами комнату и вдруг произносит со злостью:

¹ Слова из популярной французской песенки «Мальбрук в поход собрался...»

— Весело, правда? Вчера мой адвокат просил меня сделать уступку, словно ему платит Луи, а не я. А сегодня палач уже жалуется на свою жертву. Этот подлец просто обалдел там у себя. Я всегда верила, что судьба его когда-нибудь накажет и он тоже будет рогоносцем. Насчет этой девицы, которую он подобрал на панели, можно не сомневаться, и я только жалею, что до сих пор сама этим не занялась. Представляешь? Ведь у него на руках могли бы оказаться незаконнорожденные.

— Алина! — попыталась остановить ее мадам Ребюсто.

Но Алина, не обращала на нее внимания, лихорадочно продолжала:

— Пусть! Что это за адвокат? Он только и думает, как бы вас утихомирить, и вовсе не старается оказать вам поддержку. Пошлю его к чертям. Что же касается Луи, то раз он так жаждет видеть Агату, то получит ее. Малышка тоже умеет за себя постоять. Можно не закрыть кран в ванной — пусть течет, можно опрокинуть на ковер бутылку масла... сколько прекрасных возможностей есть у падчерицы, чтобы мачеха смогла ее оценить! Я же со своей стороны постараюсь доставить удовольствие мадам и мсье — поинтересуюсь их финансами, выясню, что у них за доходы. Сразу сейчас и начну, не буду терять ни секунды...— Она застегнула пальто и направилась к двери, даже не обернувшись:— Скажешь детям, что вернусь поздно: пойду к мэтру Гренд.

Пять часов. Четверка уже возвратилась нестройными рядами, все заперлись в своих комнатах. Кроме Ги, разумеется; девочки его прогнали, когда он попытался проникнуть к ним, а Леон шуганул из уборной, ибо ему надоела возня брата со спусковым крючком, раз шесть он его дернул; тогда Ги начал носиться, прыгая, как воробей, по всей квартире без всякой цели. Кончилось тем, что он свалился на диван, по ночам заменявший ему постель, а днем превращавшийся в весьма живописное скопление подушечек, тщательно разложенных на чехле, мять который строго запрещалось. У Ме не хватило сил стащить Ги с дивана, а потому она попыталась найти обходной путь.

— Если у тебя нет уроков,— сказала бабушка,— то почему не пойти погулять?

— Куда же мне идти, по-твоему? Мама заперла мой велосипед в чулан на ключ.

Алина так поступила после того, как встретила Ги

у выхода из Венсенского леса: стало быть, он опять ездил в Ножан. А бабушка, хотя и знала об этом, промолчала. Неразумная это была мера; она вызвала в мальчишке только злобу и желание снова насолить — отправиться в Ножан на автобусе или даже пешком. Однако, не желая касаться большого вопроса, бабушка затронула еще более болезненную тему:

— А как твои хомяки? Ты перестал ими заниматься?

— Мама выкинула их,— ответил Ги.— Она считает, что в квартире от них только вонь.

Что же могла придумать в такой ситуации бабушка — разве что немедленно пойти на кухню и приготовить там несколько чашек горячего шоколада и песочное печенье с кремом, которое у нее отлично получалось? Ги скоро насытился сладостями, но, когда бабушка собралась унести поднос, рассердился:

— Никак ты хочешь угостить нашего Пашу?

Тем не менее он отправился вместе с ней, трижды постучал в дверь указательным пальцем (таково было требование Леона), чтобы предупредить второгодника, усердно готовившегося к экзаменам, а потом вдруг быстро толкнул дверь и с торжеством увидел, как подымается всклокоченная голова прилежного ученика, задремавшего над своей тетрадью.

— Ну, что я тебе говорил!— рассмеялся Ги.— Это называется, он работает.

— Пошел вон!— прорычал Леон.

Бабушка приблизилась к старшему внуку, но тот не проявил никакого интереса к шоколаду. Хмуро оглядел чашку, скорчил гримасу и заворчал, как это делал всегда, отгоняя осточертевшие материнские заботы:

— Опять шоколад! Будто ты не знаешь, что я терпеть не могу все, что делается на молоке.

Ме идет к девочкам. Диван-кровать слева, такой же справа, два узких платяных шкафчика друг против друга, два узких столика-секретера; обитательницы комнаты сидят друг к другу спиной скорее по необходимости, чем по своей воле. Необычная белая линия, начерченная мелом на полу, надвое разделяет комнату. Хорошо еще, что дверь и окно находится в центре; одна часть комнаты почти пустая, строгая; другая половина выглядит более легкомысленно — увешана фотографиями кинозвезд, бу- мажными цветами для танцулек.

— У каждой из нас свой дом,— говорит Роза.— Мне осточертел хаос Агаты.

Сестры, хмурясь, пьют шоколад.

— А куда девались твои ракушки?— спрашивает Ме.

— Как куда?— отвечает за сестру Агата.— Она их пристроила у папы.

Роза уже отвернулась и снова принялась за чтение. Агата же выскользнула на балкон, осмотрела сверху улицу и, помахав кому-то рукой, надела пальто. Легкий свист послужил сигналом для Леона, он вылез из своего логова — глаза у него возбужденно блестели — и спросил:

— Они здесь?

Растерявшаяся Ме, не зная, уместно или нет требовать разъяснения, сначала пошла на кухню поставить поднос. А когда она вернулась, дверь за старшими уже захлопнулась. Младшие смотрели с балкона на улицу.

— Это Марк,— сказала Роза.

— И Соланж,— добавил Ги.— Ручаюсь, что раньше полуночи они домой не вернуться.

21 мая 1967

Триста тюльпанов заполняют газон тесными рядами, в каждом ряду по пятнадцать цветов. Ги лавирует среди них с электрической машинкой для стрижки газона, боясь выдернуть шнур, который тянется через раскрытое окно от розетки куда вставлена также вилка от телевизора. Одиль еще четверть часа назад упрашивала:

— Останови хоть на минутку, ведь пробки перегорят!

Они и перегорели, прервав разом и стрижку травы, и демонстрацию фильма. Луи спустился со своего чердака и живо сменил пробки.

— Ничего не поделаешь, бывает. Посмотри, как мальчишка огорчен.

Добрый папа! Спокойно наклонился над раковиной и моет в жидкости «Пейк-Ситрон» свои кисточки. Потом снова поднимается к себе. Он уже совершенно забыл о том, как утром был рассержен: и тем, что Агата продолжает пренебрегать предупреждением суда, и тем, как увертывается Леон, который только десять минут побыл у отца — как раз столько, чтобы не сказали, что он

уклонился от свидания; Луи, пылая мстостью, поклялся, что в следующий раз заставит Леона прийти при свидетелях. Но с ним сейчас была Роза, а когда она ласкается, как котенок, Луи тает и нежно мурлычет.

На экране телевизора вновь появился фильм, укороченный на две-три сцены, которые были пропущены, пока меняли пробки. Одиль, предпочитавшая стоять, а не сидеть, была не так увлечена фильмом, как своей книгой; ее не занимало, почему героиня все время хнычет, а только удивляло, как же режиссер допустил, чтобы актриса утопала в фальшивых слезах? В сущности, ее не интересовала тайна этой девушки, а волновала собственная тайна, во имя которой она и решила передохнуть. Пустота телефильма вполне устраивала Одиль, как и отсутствие Агаты и Леона, которые за это время ничуть не изменились и, видимо, никогда не станут такими, какими ей хотелось бы их видеть. Она, пожалуй, поудобней усядется сейчас в этом кресле-корзинке, немного подремлет... Но что там еще?

— Возьмешь трубку?— громко крикнули сверху.

Звонил телефон. Одиль потянулась, немного подвинула затекшей ногой, взяла трубку и с уверенностью произнесла:

— Мадам Давермель слушает.

— Говорит экс-мадам!— ответили ей.

Три секунды молчания... Когда зарычит пантера, даже если ты сидишь на высоком дереве — все равно страшно.

— Ну что же, значит, вы боитесь меня? Но я не за вами охочусь, моя крошка. Впрочем... словом, давайте-ка сюда этого типчика!— уточнил голос настолько жесткий, что в его принадлежности можно было не сомневаться.

Одиль вскинула голову. Самым противным было *моя крошка*: вроде бы ласково, но в то же время и свысока, рассчитано, что этим можно смутить. Почтенная дама из Фонтене ошиблась. Мы не будем разыгрывать ни застенчивости, ни высокомерия, ни любопытства. Мы прервем разговор — позвонит снова.

Так оно и есть. Дадим ей возможность звонить подольше.

— Ты возьмешь трубку?— опять раздается с чердака.

Одиль кричит:

— Это тебя!— и наконец подымает трубку с рычага.

Урок, видимо, усвоен.

— У телефона мать детей,— звучит голос по-прежнему едко, но уже более сдержанно.

— Вы, верно, хотите поговорить с моим мужем, мсье Давермелем?— говорит Одиль, сделав легкое ударение на местоимении.— Сейчас, мадам, я передам ему трубку.

Долгая пауза. Запыхавшись, входит Луи.

— Извини, я была вынуждена прервать разговор, потому что эта женщина была крайне невежлива,— говорит Одиль так громко, чтоб ее слышали и в комнате, и на другом конце провода.

И снова усаживается в свое кресло-корзинку.

Теперь очередь Луи. От волнения кадык перекатывается у него на горле. Алина резко обрушивается на него:

— Раз уж мне приходится звонить вам, мсье, то, наверно, можно было бы и не говорить, как я рада визитам судебного исполнителя. Уверена, мсье, что вы в свою очередь сумеете оценить прошение, которое сейчас подготавливает мой новый адвокат. Зная вашу щедрость...

Луи, оторопев, вначале ничего не замечает, кроме этих тяжеловесных, сугубо подчеркнутых обращений на «вы», среди которых даже ненароком ни разу не проскальзывает «ты». Продолжение выглядит уже менее достойно, чем зачин, и насыщено оскорблениями и несуразной бранью.

— Кстати, скажите своей воображалке, что я не так богата и мне трудно по ее вине платить за два вызова... Откуда она взялась, такая визгливая? Из Ажена, а? Так или иначе, меня тошнит от нее. Ладно, черт с ней! Итак, я сказала, что вы человек щедрый, любите рассылать судебные предупреждения, так соблаговолите прислать мне побольше денег...

Луи слышит едкий смешек, перешептывания. Верно, там, где-то рядом, Эмма Вальду. Но не исключено, что Алина совсем одурела и дала вторую трубку дочке.

— Короче, чего вы хотите?— обрывает ее Луи.— Если речь идет о прибавке алиментов, то считаю нужным сказать вам...

— Нечего зря болтать: ваши доходы возросли вдвое. Я вас поздравляю с успехами, но почему же мы не получаем своей законной доли?

Думаешь о бедах ближнего с волнением, положи руку на сердце, но там же находится бумажник, и это не менее чувствительно... Ее законная доля! Изменить ей сумму алиментов — это еще куда ни шло! Но чтобы Алина из-за того лишь, что когда-то, в трудные времена, она была его женой, имела право претендовать на его теперешние заработки, чтобы во имя прошлого она могла, как пивав-

ка, присосаться и к его будущему — черта с два! Луи слушает эту голубушку, а она перестала разглагольствовать и с точностью счетной машины перешла к цифрам.

— Итак, у вас есть твердое жалование в фирме «Мобильяр»: две тысячи пятьсот франков. Кроме того, вы получаете по крайней мере тысячи три по заказам... Несколько слов и о вашей выставке, я там была, осведомилась о ценах, подсчитала красные ярлыки, означающие, что полотна проданы, подвела итог и...

— А расходы вы не учитываете? А то, что пятьдесят процентов мне приходится платить за галерею?— сказал Луи, стараясь по возможности не кричать.

Одиль положила свою трубку, чтобы не мешать разговору; сверху спустилась Роза, вернулся из сада Ги. Оба остановились, молчаливые, притихшие, неподвижные. Значит, слышали. Ну и положение! Приходится спорить о прибавке алиментов в присутствии детей, которые в конце концов от этого только бы выиграли, да еще в присутствии женщины, которая уж точно пострадает.

— Знаю, эти расходы я вычла,— продолжала Алина.— Но уж мне-то известно, что некоторые любители платят вам за свои портреты наличными. Вы можете обмануть сборщика налогов, но не пытайтесь провести меня. Ваше положение стало вполне приличным. Особенно если учесть, что плюс ко всему ваша жена тоже работает...

Ах, вот значит как — Одиль работает... Надо тут же использовать эту юридическую ошибку.

— Ну вот что, пора говорить серьезно. Моя жена ничего не должна вам выплачивать из своего заработка.

— А разве это не чудовищно?— восклицает Алина, стараясь говорить как можно убедительней.— Она разрушила нашу семью, значит, должна, как и вы, возмещать нам ущерб. Без всякого стеснения я упорно буду добиваться того, что нам положено... Конечно, мой дорогой, я нахожусь от вас в полной зависимости. Теперь это стало моим основным ремеслом. Есть две категории женщин, живущих на содержании: одних держат для удовольствия, других принимают как кару. Вы бедняга, совмещаете и то и другое, ибо женились на девице из первой категории и развелись с той, что была во второй, а теперь вынуждены содержать обеих!

Луи ошеломленно заморгал. Упряма, но не слишком хитра — такой он считал Алину. Если разум не всегда приходит к девушкам вместе с любовью, как гласит

поговорка, то уж во всяком случае, с потерей любви он оттачивается.

— Тем временем Алина продолжала:

— Если хотите, я всего лишь гувернантка ваших детей. Ознакомьтесь с тарифом — он много выше того, что вы мне даете...

По многолетнему опыту Луи знал, что Алине надо дать выговориться, особенно если она все это выкладывает по телефону; тут он может и помолчать — при этом она еще больше смеется и выдает себя полностью. Того, кто не знает меры, лучше не удерживать, пусть зайдет подальше, тогда можно и одернуть. Что и произошло с Алиной.

— Для меня все просто, как при дележе дыни: каждому свой кусок. В дыне не больше восьми кусков. Я, стало быть, возьму из них пять. Два куска оставлю вам, а восьмой пойдет на налоги: я не скуплюсь, ведь мне тоже приходится платить налоги с алиментов, которые вы вычитаете из ваших доходов... А раз вы расходуете деньги на себя, то с этой суммы мы теперь и взыщем. Какие выгоды? Вы должны оплачивать мои налоги.

— Великолепно! — сказал Луи. — Это все Эмма вам нашептала? Как ни досадно, но мне пришлось покопаться в этом вопросе. Посмотрите еще раз статью двести сорок и три. Суд может посчитаться с интересами детей и увеличить им пособие, но ваш пересчет, конечно, не совпадет с мнением суда. При расчете там исходят из суммы чистого дохода, а не валового, ибо наша работа влечет за собой соответствующие расходы, а у вас таковых нет. Ввиду этого по положению — одна часть на взрослого, полчасти на каждого из детей. Итого, вы, моя милая, получаете три части против двух с половиной...

Вот так сообщение! Одиль внезапно поворачивается, чтобы посмотреть на Ги, но тот ничего не понял; затем она смотрит на Розу — та не решается понять, как и ее мать, которая находится в трех километрах отсюда.

— Двух с половиной?.. Неужели вы так глупы, что хотите еще утяжелить свое бремя?

— А разве мы были так уж глупы, когда четырежды приумножали его?

Только одна эта фраза, но она вырвалась из глубины души, и атмосфера сразу смягчилась. Всего на мгновение. Да, это произошло четырежды, четыре раза, теперь будет пятый, и все — от одного и того же отца. Но матери у них

разные, одна там, на проводе, сразу замолкла, внезапно онемев от слов *разве мы были так уж...* как замолкает пациент у врача, глубоко вдохнув немного келена¹. Какие мерзости говорим мы иной раз друг другу — даже слюна брызжет изо рта, мешая выговориться. Кто мне сейчас помешал добавить, что, видимо, Агата для меня уже потеряна, Леон тоже под сомнением, а вот двое младших мне верны, но они находятся в ваших руках. Удастся ли мне сохранить хотя бы одного, не помешаете ли вы мне в этом? И как я могу надеяться, что кто-то из них будет жить в моем доме и будет полностью моим? То-то и оно. У меня не было причин отказать в праве на материнство совсем молодой женщине. Напротив. Любить и родить ребенка для меня означает идти до конца, а для нее — хотя бы частично утвердить себя, лишив вас монополии материнства...

— А как отнесется к этому Четверка?— произносит Алина где-то вдалеке.

Но недолго длится благостное настроение. Возникает досада, и Алина говорит:

— Сын родится или дочка, ты для них будешь вроде дедушки.— И сразу добавляет:— Это еще одно основание, чтоб оставить в покое Агату. Пусть ходит к тебе, когда сама захочет, разве так не лучше, а? Ты все кричишь и сердишься, но у тебя нет желаний ее уломать.

Как ни грустно, но это была правда. Луи отлично знал, что дерзости Агаты, ее алчность, копанье в чужих вещах невероятно раздражают Одиль, что в те редкие часы, когда Агата у них в доме, нужно следить за всем, быть осторожным в выражениях, прятать портмоне, документы. Луи знал, что Алина колеблется между злорадным удовольствием отлучить от него дочь и боязнью потерять в ее лице преданного агента-осведомителя, как и сам Луи колебался между покоем и гордостью, постоянным страхом и чувством привязанности. И поэтому он бурчит;

— Будь благоразумна! Если ты и на этот раз обратишься в суд, тебе придется самой оплачивать адвоката, а если проиграешь дело, то и все судебные издержки...

По совести говоря, он сам был в ужасе от подобной перспективы, от возможности нового процесса и дальнейших бесконечных трат.

¹ Хлористый этил, ингаляционный наркотик.

— Ну, если еще десять процентов, то я не стану возражать.

— Пятнадцать,— немедленно выкрикивает Алина.— Жизнь так дорожает. Если ты согласен, то я скажу тем, кто мне помогает, что лучше все оформить частным порядком.

Как не согласиться? Чтоб мстить за жалобы, Алина прибегла к гениальному способу — шантажу. Она выиграла. Она могла бы добиться и большего и отлично это знала. Но бойкотирование отца старшими детьми было Алине невыгодно перед лицом судей: процесс обошелся бы ей дорого, и еще неизвестно, чем бы кончился. Да эта оса соображает. Не так уж она безумна. А жало держит про запас. Она будет держать Луи в страхе, что может потребовать тщательного изучения его доходов — не только тех, о которых он подает сведения, но и тех, что он скрывает.

— Пусть будет так!— сказал Луи, тяжело вздохнув чтоб сбить с толку даму из Фонтене.

Но она-то не дура. Ищет уже, чем поживиться.

— Хорошо! Подвожу итог. Итак: свободное посещение в подходящее для детей время — я имею в виду старших. Увеличение алиментов на пятнадцать процентов. Кроме того, так как ты собираешься купить новую машину — мне об этом сказали,— то оставь старую мне.

НОЯБРЬ 1967

10 ноября 1967

Именно в пятницу, накануне Дня перемирия — официальной даты, а не того, что было подписано с Луи, но быстро превратилось в мертвую букву,— итак, в пятницу Алина согласилась отвести Ги в Центр для психически неполноценных детей.

Конечно, она все еще была в нерешительности, да и как могло быть иначе? Подчеркнутое сочувствие всей этой учительской шайки, только и толковавшей, что ребенок лишен общения с отцом, вызывало у Алины тошноту. Даже само название этого учереждения отталкивало: корень *психо* в слове «психология» не пугает, но он тревожит, когда с вами говорят о педопсихиатре. Конечно, Ги был ребенком не из легких, это так! Но можно ли

считать его ненормальным? Конечно, нет! *Временами я думаю, не болен ли ваш сын, у него так изменился характер,* — даже в такой смягченной форме заключение мадемуазель Равиг казалось обидным; особенно потому, что после недавней драки в классе и жалобы кого-то из родителей на то, что Ги подставил их мальчику синяк под глазом, эта самая мадемуазель Равиг попросила Алину известить обо всем отца. Известить Луи! Как бы тогда Алина выглядела! И зачем это делать, сами скажите? Ведь суд доверил ей воспитание мальчика. Стало быть, она одна за все отвечает. Со времени развода Алина ни в чем не советовалась с Луи: даже дневника с отметками ему не показывала. Хотя адвокат Лере, любитель поучать, постоянно твердил ей, что ее право вовсе не исключает права контроля со стороны Луи. Хотя и Роза часто ей говорила: *Ты, мама, все повторяешь, что папе на нас наплевать, а когда он интересуется чем-то, начинаешь кричать, что это не его дело.* Эта девчонка вечно своему папаше вторит, ей хочется похвалиться своими школьными отметками! Но, с другой стороны, если остальные дети ничем не выделяются, то по крайней мере благоразумно помалкивать.

Нет, по правде говоря, если бы Ги не заработал за какую-то мелочь пару пощечин, если бы он не впал в истерику и не стал кидать в мать чем попало — кофейником, масленкой, банкой с вареньем, сковородкой, загрязнив кухню содержимым всей этой утвари, если бы к тому же дирекция, подписывая листки посещения школы, не начала хотя и несколько туманно, но все же грозить ей отменой пособия на воспитание, Алина пренебрегла бы и третьим вызовом в Центр для психически неполноценных детей, напечатанным на зеленом бланке.

Словно на буксире тащит она за собой недовольного Ги; она уже на площади Сен-Мишель, откуда надо свернуть на улицу Дантона, и все еще колеблется, и даже в коридоре, за дверью, ее все еще мучит желание повернуть назад. Какой козырь для Луи, если он только узнает, куда ей пришлось ходить с сыном! И хотя Алина бесконечно долбила мальчишке: *Если б я рассказала отцу о твоих выходках, он бы тебе задал порку,* — она не была уверена, что Ги не проболтается и не будет хвастать этим. Нет, придется идти. Алина поискала звонок и вынула зеленый листок из сумочки.

— Вы привели к нам этого молодого человека? — улыбаясь, спросила девушка, появившаяся в приемной

в указанное время.— У вас зеленый листок?.. Это к доктору Трекелю. Я провожу вас.

Пришлось идти с ней на второй этаж.

Это просто молокосос, ему нет и тридцати,— худой, рыжий, зеленоглазый, руки в веснушках. Медицинского халата на нем нет. Сидит за каким-то жалким металлическим столиком, загроможденным кучей карточек и диктофоном. Кабинет почти пуст — лишь у стола четыре стула. Доктор обращается к помощникам:

— Сначала я поговорю с мамашей. А вы пока займитесь мальчиком.

И он поручает ребенка упомянутым дамам в возрасте примерно двадцати пяти, тридцати пяти и сорока пяти: три разные женщины на выбор, и Ги сразу подходит к самой молодой; Алина оставляет его в большой комнате — светлой, украшенной детскими рисунками. Здесь мягкие игрушки, зверьки из плюша, куклы, детские конструкторы и какие-то странные, трудно определимые приборы, превращающие комнату в нечто среднее между залом для игр и лабораторией для исследований. Держась прямо, как палка, Алина садится в кабинете на ближайший стул и ожидает, разглядывая носки своих туфель. Но быстро успокаивается. Этот медикус, пробегающий глазами содержимое папки, в которой находится всего один листок, не внушает ей доверия.

— Все это не столь серьезно,— замечает молодой человек.

— Я того же мнения,— отвечает Алина.

— Вы развелись, не так ли?— небрежно бросает врач.— Ребенок не хочет считаться с вашими трудностями, не так ли? Нет ли чего-нибудь особого, на что вам хотелось бы обратить наше внимание?

Он хоть и начинающий, но сообразителен, этот доктор Ланель или Ренель, как там его, впрочем, не важно, наверняка в этом институте ему поручают случаи не слишком сложные.

— Бог ты мой,— вздыхает Алина,— ничего нет особого, все самое обычное. Ги любит отца. Тот нас бросил, чтобы жениться на своей любовнице. Но оставил за собой право на встречи с детьми, этим он и пользуется, чтоб восстанавливать сына против меня.

— Так часто бывает,— говорит психиатр.

Он ничего не записывает. Только посматривает, будто исповедник или полицейский, но в общем довольно друже-

любно. Если он согласится, что отцовское влияние наносит вред, то его папка может стать полезной. Наверно, доктор нуждается в более полной информации и доволен, что получает ее от матери. Снова вопрос:

— А брат мальчика и его сестры так же реагируют на сложившуюся ситуацию?

— Конечно, нет,— отвечает Алина.— Двое старших — уже взрослые люди и во всем могут сами разобраться; Леон только что сдал на бакалавра и скоро будет изучать аптекарское дело. Агата сейчас в последнем классе лицея. Оба они настолько презирают отца, что почти не ходят к нему.

Рыжая голова мягко кивнула. Алина уже завелась. Обычно младшие дети не очень послушны, не так ли? Ги ведь всего одиннадцать, умишко совсем детский, и его поведение не должно удивлять, менее естественно это для Розы — ей-то уже пятнадцать с половиной, она отлично учится. Но тут надо принять во внимание желание противопоставить себя сестре, к тому же более красивой, чем она, и, конечно, более независимой; то же самое происходит и с Ги — тому приятно дразнить старшего брата, которого он прозвал Пашой, а с того времени, как Ги начал учить латынь, он еще называет брата его *potipog*¹ Леон. Хитрец мальчишка, а? Но озлобленный. Потому что его злит многое. У нас маленькая квартира, нет автомобиля, денег всегда не хватает. У них — дом, отличная машина, полный достаток. В Фонтене у Ги своей комнаты нет, а вот в Ножане есть. Отец использует его эгоизм, так как это ему выгодно. Может ли мальчик, сравнивая разные образы жизни, стать на сторону того из нас, кто больше любит его?

— Но ведь те же преимущества должны ощущать и старшие,— вдруг сказал психиатр.— Вы не думаете, что привязанность может иметь и другую причину, чисто эмоциональную?

Лицо у Алины скривилось.

— Если говорить о Розе,— прошептала она,— то здесь я могла бы предположить сентиментальные чувства, какие нередко возникают между отцом и дочерью. Но для Ги все это ужасно, у меня создалось впечатление...

— Впечатление? Какое?

¹ Я, именуемый (лат.).

Зеленые глаза стали внимательней, настойчивей, взгляд как сверло.

— Этим летом,— продолжала Алина,— во время каникул я отправила Ги в детский лагерь, а Розу — в Англию. После этого мне полагалось передать их отцу. Но с тех пор как они вернулись из отцовского дома, Роза холодна, точно лед. А вот Ги — только послушать, до чего он восхищен своей мачехой! И ребенком, которого она ждет! Как будто, доктор, это я, как будто обо мне он все это говорит. И напрасно я внушаю ему, что этот ребенок ему не будет ни братом, ни сестрой, раз родит его другая женщина; Ги смеет возражать: *Все равно мы одного семени!*

— И у вас создалось впечатление,— сказал психиатр,— что для Ги семья — я имею в виду полноценную, неразделенную семью: отец, мать, дети — восстанавливается в Ножане?

— У чужой женщины! Скажите, доктор, разве это не ужасно!— возопила Алина.

Доктор Тренель наклонился к диктофону:

— Раймонда, вы закончили? Можете привести ко мне мальчика.

Слегка подталкиваемый в спину, вошел улыбающийся Ги и нахмурился только за три шага от стола.

— Садись, где хочешь,— сказал доктор, глядя в сторону.

Ги вразвалку, раскачивая плечами, прошел позади стульев и выбрал четвертый, самый дальний от матери, отодвинул его немного назад, уселся на самый край, придерживая сцепленными руками поднявшиеся при этом колени. Ассистентка незаметно подмигнула врачу и положила перед ним на стол листок бумаги.

— Мы дали ему несколько небольших тестов. Совсем не плохо, я вас уверяю,— сказал психиатр.— У меня есть еще некоторые, присланные из лицей. Коэффициент более чем удовлетворительный. Мальчик совсем не глуп. Нам надо минут пять поболтать. Если вы, мадам, пройдете в соседнюю комнату, моя ассистентка составит вам компанию.

Алина в тревоге поднялась. Этот ребенок может наболтать новость что. Ну, конечно, он тут для этого и находится. Однако есть факты, требующие пояснений, выводов...

— Знаете ли, доктор,— начала она,— Ги так робок...

С тем же успехом она могла бы обратиться к гравитному монументу.

Вы полагаете?— вымолвила статуя.— Он не казался слишком робким, когда ввязался в драку на школьном дворе...

Ассистентка уже взяла ее под руку; Алина покорно последовала за ней, но, обернувшись, заметила на стене грифельную доску с желобком внизу, на котором лежали цветные мелки. Психиатр, не обращая внимания на уходящую мать, уже говорил мальчику:

— Не нарисуешь ли мне домик? А сбоку от него дерево, а? Рисуй как хочешь и что хочешь, только быстро...

Когда Алина с сожалением закрыла за собой дверь, Ги большим красным кольцом изобразил солнце, а двумя зелеными черточками воткнул рядом тисовое дерево.

Алине вернули сына полчаса спустя; он вышел, ухмыляясь, с хвастливым видом, уплетая неизвестно откуда взявшийся бутерброд с сыром. Ассистентка попросила дать адрес отца, если понадобится связаться с ним. Алина ожидала этой просьбы и дать адрес не отказалась, но намеренно перепутала всех Давермелей и сделала так, чтобы Луи было невозможно разыскать: сказала, что он живет на улице Вано, в Ножане, невзирая на насмешливую улыбку сына, на которую ассистентка, однако, не обратила внимания.

— Было бы желательно, — сказала она, — чтобы мальчик к нам заходил время от времени.

— Вы ему ничего не прописали?— удивилась Алина. И, заметив, что женщина поморщилась, добавила:— Я не знаю, может, надо что-то успокоительное?

— Лечить следует причину, а не следствие,— уклончиво сказала ассистентка.— Доктор Тренель скоро вам пришлет свое заключение.

Алина быстро вышла и направилась к кондитерской, где перед изумленным мальчиком появились ромовая баба, пирожное с вишнями и шоколадный эклер; мать подступала к нему и так, и эдак, забрасывая его вопросами: *О чем он тебя спрашивал? Что он тебе сказал? Про отца говорили?* Ги глотал, глотал, глотал все подряд, став вдруг чересчур воспитанным — с полным ртом говорить не полагается,— и временами лишь вздыхал с явной скукой. Уже выходя из кондитерской, Алина догадалась:

— Они у тебя спросили папин адрес в Ножане?
— Конечно!— ответил Ги с жестоким простодушием

12 ноября 1967

13 часов

Посмеяться над этим? Или заплакать? Поди пойми! Если на свете нет чудес, то бывают лотереи; и вместо крупного выигрыша иногда выпадают мелкие — для утешения. Жинетта всегда готова поносить своего муженька, но она и представить себе не могла существование женщины без двуспального ложа, а значит — и без брачного свидетельства. Анри, прочно угнездившийся на этом ложе, свято придерживался тех же принципов. И когда месяц назад оба они во время доверительного разговора с Алиной рассказали ей о своем соседе, одиноком человеке, ставшем инвалидом после автомобильной аварии — обе ноги у него были перебиты, а жена и дочери погибли,— Алина как-то не сразу уловила смысл их сообщения. *Несчастный мсье Гальве, он жил лишь для своей семьи...* И поскольку разговор шел за триста километров от их набожной матери, Жинетта не побоялась добавить: *К тому же он протестант.* Потом сообщила интересную подробность: *Бедняжка! Посмотри, он живет вон там, в этом большом доме с зеленой крышей, целыми днями слоняется из комнаты в комнату...*

Прошел месяц после разговора, и за это время накопились немало добрых советов. Совет президентши после короткой встречи в клубе «Агарь»: *Знаете, моя дорогая, девять десятых брошенных мамаш не выходят потом замуж, потому что мужчины плохо свыкаются с чужими малютками.* Совет адвоката клуба, Эдме Гренд, к помощи которой, отказавшись от услуг мэтра Лере, обратилась теперь Алина: *Я советую вам быть осторожной! Разведенная, намеревающаяся снова вступить в брак, ставит под угрозу свое пособие.* Совет Эммы: *Растолките в одной ступе траур и разочарование — какой бальзам вы получите!* Совет набожной кузины: *Муж — все равно что нога, его не заменишь.* Другой кузины: *Ну и дураха эта Эдмонда! Ведь существуют протезы.* Высказывания Агаты, Анетты, Габриеля и еще некоторых, реагировавших коро-

тко: *Это невысказано! Или: А почему бы и нет?* Впрочем, они ничем не интересовались, кроме собственных убеждений, так же как и мать Алины, которую бог знает кто всполошил в ее лесной глуши; она написала дочери четырехстраничное послание, заканчивавшееся мстительными, обидными словами: *Твой отец перевернулся бы в гробу, узнав об этом.*

Но Алине пришлось столько изворачиваться в жизни, что она в конце концов задумалась: несмотря на проявленный ею холодок, она все же в глубине души была польщена тем, что стала объектом всех этих разговоров. Ведь если люди считают, что брошенная жена еще может пристроиться — пусть об этом говорят даже с негодованием, — все равно для нее это неплохо. Но между чувством любопытства к тому, что могло бы произойти, и неверием в неосуществимое есть еще удовольствие помечтать, потешить себя. Хотя бы показать кукиш — *ха, стоит мне только захотеть* — тем, кто бросает серьезных женщин ради доступных девиц. Была собрана обширная информация: итак, мсье Гальве — вдовец, он им стал после кончины некоей Симоны — дамы вполне почтенной, о которой никто не сказал ничего плохого, кроме того, что к своим дочерям и к своему кошельку она относилась весьма строго. Сам мсье Гальве был офицером колониальных войск (отсюда — военная пенсия), сейчас он обеспечен работой в профектуре Кретей (и тут у него тоже будет пенсия, если он досрочно уйдет в отставку), и, хотя мсье Гальве калека (поэтому у него есть инвалидное пособие), он ничуть не хуже какого-нибудь писаки-чиновника. У него нет... Наконец, у него уже нет... детей, которых он мог бы обожать. Если вдовец намерен снова обзавестись женой, а у женщины есть возможность изменить свою жизнь, понятно, как много это значит; к тому же переселить семью в такой хороший дом — тоже не так уж плохо. Надо об этом подумать; хотя бы для того, чтоб произвести впечатление на Четверку, ведь двое из них — все те же самые — уделяют чересчур много внимания своей мачехе! А между прочим, их родная мать — тоже женщина и вполне может завести себе нового мужа.

Вот почему во второе воскресенье ноября, когда дети обычно уезжали к отцу, Алина тщательно принарядившись — духи, завивка, новое платье — и убедив Агату поехать хоть раз к отцу, дала согласие пообедать в семье Фиу вместе с сестрой Анеттой и мсье Гальве.

Когда он подходил к дому, в котором жила Жинетта, стоявшему среди скопления небольших каменных особнячков, Алина была просто поражена. Он шагал четко, по-военному — раз-два, постукивая костылями; можно было подумать, что он ведет за собой целый полк таких же инвалидов.

— Ты не выйдешь к нему навстречу?— спросила Алина своего зятя, склонившегося рядом с ней над балконной решеткой.

— Только не раздражай его, предлагая свою помощь,— ответила Жинетта.

Гость управился весьма ловко, вызвал лифт, прошел коридор, позвонил; он хорошо сохранял равновесие, опираясь на один костыль, а здороваясь, крепко пожал четыре руки. Борт его пальто был украшен орденской планкой с разноцветными ленточками, взгляд у него был властный, с прищуром, отчего к вискам тянулась сеть мелких морщин. Он небрежно и непринужденно передал один костыль Жинетте, другой Алине и уселся верхом на стул. И с еще большей непринужденностью расстегнул пальто, откинул в стороны обе полы, как бы побуждая присутствующих взять его. Наверно, в те времена, когда он был еще здоров, его дочери спорили между собой, кому достанется честь повесить на крючок его коричневое пальто, под которым он носил кофейного цвета пиджак с неизменно торчавшими из левого бокового карманчика тремя карандашами.

— Как будто я где-то встречал вашу свояченицу,— сказал мсье Гальве, обращаясь к Анри.

Он обратился к Анри как к хозяину дома, по крайней мере считавшемуся таковым, но тот повернулся к жене, предоставляя ей право ответить.

— Да, наверно, года три назад вы были у нас вместе с мадам Гальве, когда мы принимали друзей.

Мсье Гальве кинул на нее красноречивый взгляд: женщина не должна отвечать вместо мужа. Затем без всякого стеснения стал разглядывать Алину. Она не знала, куда деваться. Что же ему о ней рассказали? Где? Когда? При каких обстоятельствах? В чем его заверили без ее ведома? Она предполагала, что встретит безногого калеку с материальным достатком, который он готов будет ей предоставить в ответ за заботу. А увидела мужчину, достаточно крепкого, чтобы вступить в новую жизнь. Но мсье Гальве уже переключил свое внимание на собственные карманы, порылся в них, вытащил трубку с крышеч-

кой, набил ее, зажег и, выпустив голубой дымок, сосредоточился на баре с колесиками — гордости семьи Фиу, — который Жинетта подтолкнула поближе к гостю. Гримазой он выразил то, что думает по поводу виски, портвейна, вишневого ликера и других напитков, и только бутылка анисовки вызвала у него улыбку.

— Настоящей анисовки тут не сыщешь, — заметил гость. — Симона обычно выписывала его из Блiddy.

Ему было достаточно двух рюмочек — он их медленно смаковал, прищелкивая от удовольствия языком, а в это время в комнату внезапно ворвались Артур и Арман — сыновья Жинетты, на которых гость посмотрел так пристально, что они даже смутились. Но Жинетта уже пригласила всех к столу, чем вполне ублажила гостя, ибо он, приподняв рукав, взглянул на часы и заметил:

— Уже час дня. Откровенно говоря, я голоден. Дома у меня обед всегда ровно в двенадцать.

Стремясь еще раз доказать, до какой степени он натренирован, мсье Гальве ухватился за спинку стула, переваливаясь с ноги на ногу, проковылял до своего места за обеденным столом и только после обернулся к присутствующим.

— Дома, — сказал он, удовлетворенный произведенным эффектом, — у меня есть кресло на колесиках. Но я прекрасно обхожусь и без него.

Может ли он обойтись и без женщины? Казалось, для него было вопросом чести доказать, что следует принимать таким, каков он есть. Но в сущности он предупреждал: осторожней, я не из тех, кто подчиняется, а тот кому подчиняются. Алина уже перестала питать иллюзии, затихла и, глядя на него, отмечала: вот у него прыщ на носу, лиловато-красные скулы, щеточка усов с одной стороны пожелтела от табака. Да это карикатура на ее отца! Но мсье Гальве уже отвернулся от Алины. Теперь рассматривал Анетту. Не разведенная, не потрепанная, не обремененная детьми, она, пожалуй, объект, более достойный его внимания. Впрочем, он ведь ни на чем не настаивал и принялся жевать, проявляя заметный интерес к утке с ананасом.

— Даже в Тонкине лучше не сделали бы! — заверил мсье Гальве.

На этот раз, сокрушая вьетнамцев, расхваливая туземок, он снова отправился в поход от Красной реки до Меконга, чтобы оттуда прокатиться со своими нашивками от Варсениса до Ореса, и долго описывал битвы, которые

заняли у него пятнадцать лет; он только дважды на несколько минут прервал свое повествование, чтобы одобрить зеленоватый сыр «савиньи» и пощупать «камамбер», после чего сразу предложил пари, утверждая, что если его разрезать, то в середине окажется белая полоска, которая там и оказалась и которую умелым прощупыванием вполне можно обнаружить. К концу обеда Анри, Жинетта, Анетта, Алина и мальчики уже были охвачены раздражением, которое они сдерживали, исподтишка подсмеиваясь. Но мсье Гальве, оценив внимание аудитории и не сомневаясь в своем престиже, завоеванном в течение пятнадцати лет, проведенных на государственной службе, когда он уже был женат и имел дочерей, решил вдруг, попивая коньяк, вызвать из небытия тени покойных:

— Я понял это еще на войне: те, которых убивают на месте, хотя бы не испытывают страданий. Они даже не успевают узнать, что умерли. Жалеть нужно раненых.

И хотя он добавил: *Особенно, если они ранены дважды и пострадали не только физически, но и духовно*, Алина уже не в силах была дольше здесь оставаться.

— Извините,— сказала она, быстро встав,— я обещала детям прийти пораньше.

И в коридоре услышала голос Жинетты:

— Извини, в жизни б не поверила, даже если б...

Алина убежала, не дождавшись конца фразы. Уже ни о чем не могло быть и речи, и потому она ушла первой, предоставляя сестре расхлебывать свою нелепую затею. А вот у нее, Алины, теперь будет хотя бы небольшое преимущество. Если вами пренебрегли, то и вам приятно кем-то пренебречь. Конечно, этот тип мог бы вести себя поприличней. Но так или иначе, толку из этого не будет. Того что потеряно не вернешь. Дом! Она чуть не предала себя из-за дома! Эта мимолетная слабость. Когда уже нет ни молодости, ни красоты, ни здоровья, ни денег, когда не ждет тебя ничего, кроме неприятностей, горечи и труда, остаешься тем, что ты есть,— женщиной, принесенной в жертву и все же верной тому, кто тебя предал и с кем ты должна была прожить всю жизнь. С потерей любви можно смириться — годы этому способствуют. С уходом нежности — несмотря на жестокость одиноких ночей и на мысль, что тот, кто во всем повинен, ничуть не страдает,— тоже справиться можно: сердце, как и чрево, смиряется с тем, что работает вхолостую.

12 ноября 1967

После полудня

Леон надел черный кожаный комбинизон поверх зеленой куртки с эмблемой французского спортклуба, нахлобучил шлем и большие очки, и, хотя с него и скатывались блестящие капельки доброго мелкого дождика Иль-де-Франса, теперь стоически ждал, как договорились, на тротуаре у ворот стадиона возле клумбы с желтыми кудрявыми хризантемами. От кого-нибудь другого Леон не стерпел бы такого опоздания. Наконец он сделал знак рукой, Марк остановил свой мотоцикл валетом рядом с мотоциклом Леона. Прозвучало одно лишь слово:

— Садись!

Агата пересела с «БМВ-500» на «Яву-350», подаренную Леону отцом и матерью — пополам, в честь получения аттестата зрелости. У Агаты под дождевиком тоже надета спортивная куртка — это было сделано, во-первых, для матери (клуб — хороший предлог), во-вторых, ей хотелось выглядеть небрежно одетой там, куда она сейчас направлялась. Девушка наклонилась, чтобы еще раз поцеловать Марка.

— Да что у вас, не хватило времени попрощаться? — крикнул Леон, дав газ.

И обе трещотки разъехались в разные стороны.

Легкая тряска, виражи меж вереницами машин, стеклоочистители которых ходят из стороны в сторону, как бы качая головой в знак отрицания, переходы от зеленого света к красному, оконевшие руки, короткие реплики, прерываемые то остановками, то новым рывком вперед, отброшенные назад волосы, которые, как только затихнет ветерок, снова падают на лицо, — все это Агате нравится. Она перестает быть маменькиной дочкой, которую до смешного опекают как дитя. Неужели лучше сидеть где-нибудь под крышей! Зря Леон так гонит — ведь асфальт совсем мокрый. Перед светофором на площади Леклерка Агата вдруг сказала без всяких угрызений совести:

— Я уже давным-давно не была у отца. — А вблизи светофора на мосту через реку Мюлуз несколько туманно добавила: — Наверно, он не станет на меня дуться.

И все. Это мать попросила Агату хотя бы раз уважить судебное решение о праве отца на встречи: *В виде исключения, моя дорогая! Ведь днем меня дома не будет. Воспользуйся случаем, пойди посмотри, что делается у твоего папаши. Надо же, чтобы я все-таки была в курсе его покупок, могла судить о его доходах. И потом, хотелось бы, чтоб ты рассказала мне о его красоте, которая небось уже раздулась как шар.* Как Агате хотелось отказаться! Ей одинаково не улыбались ни поездки к тетке в Кретей, ни день слезки в Ножане. Кончилось тем, что она согласилась поехать, но с одним условием: в удобное для нее время, без предупреждения, вместе с Леоном, чтобы не чувствовать себя такой одинокой среди *папиных* деток. Похоже, что у нее уже нет там ни с кем общего языка. И ничего не поделаешь: как только она попадает в Ножан, ей кажется, что она пересекла границу и находится в чужой стране.

Уже поздно, и это, пожалуй, неплохо: Одили неожиданно придется добавить еще два прибора на столе. Леон барабанит по звонку, выступающему с правой стороны на косяке парадной двери, под которым блестит медная дощечка, совсем недавно прибитая:

ВИЛЛА «ВДВОЕМ»
Мсье и мадам Давермель

Леон с интересом читает, продолжая невозмутимо нажимать на кнопку звонка.

— По-латыни надо: «*dialis*»,— говорит он.

— Слушаю вас,— звучит голос из переговорного устройства.

— Смотри-ка,— говорит Леон,— вот что они тут соорудили.

Агата показывает пальцем: вон оно — аккуратненький квадратик с левой стороны. Это не только рот, но также и ухо!

— Это я, Леон!— восклицает Леон.

— Сейчас,— отвечает аппарат.

Щелк, и электронная задвижка приподнимается — еще одно дорогое и сомнительное новшество.

Леон вводит в калитку свой достойный всех похвал мотоцикл, прислоняет его к дереву, потом берет под руку улыбающуюся сестру. Многие считают Леона сухим эгои-

стом, и правда, он скуп на внимание. Но зато, если проявляет его, это уже ценится. Агата в ответ прижимает к себе его локоть, и они вместе поднимаются на крыльцо.

В холе стоит Роза, все еще склонившись над переговорным устройством, и громко извещает домашних: *Одиль, прибыли старшие. Я пойду накрою еще на двоих.* Не ожидая ответа, Роза входит в столовую и уверенно переставляет тарелки. Леон не спеша снимает свой кожаный комбинизон. Агата начинает расстегивать плащ и вдруг замечает Ги: внимательно глядя перед собой, осторожно шагая, он спускается с лестницы и повторяет: *Смотри не оступись!*— держа за руку Одиль, которая, если смотреть снизу, выглядит очень забавно: голова у нее вроде бы лежит прямо на животе, как яблоко поверх тыквы.

— Ну вот, на этот раз мы в полном составе,— говорит Одиль.

И все. В Фонтене обычно вопят, ругаются, меры не знают. А здесь негласное правило: лучше промолчать, принять непокорных так, будто только вчера с ними расстались. Но все равно, размахивая руками, крутя головой в поисках, где бы повесить плащ,— Агата уже раздражается, чувствуя, что своим вторжением нарушила спокойную атмосферу в доме.

Одиль сошла с лестницы; она так изменилась, настолько утратила свое изящество, что вместо злости Агата должна была бы ощущать радость. Но заботливость Ги просто невыносима — ведь прежде именно Агата начиная с шестилетнего возраста уже заботилась о нем, даже когда он был еще во чреве матери; а тут еще в столовой появился виновник происшедшего, с подкрашенными волосами, делавшими его моложе, в спортивном свитере, явно озабоченный тем же.

— Видите, ждать уже недолго.

— Да у тебя, Агата, мокрая голова,— говорит Одиль.— Беги в ванную. На туалетном столике есть сушилка. Воткни вилку в штепсель для бритвы, слева от шкафчика.

Только Роза может считать вполне естественным, когда папашина красотка указывает его родной дочери, где лежат необходимые вещи. Агата, резво прыгая через три ступеньки, побежала в ванную, недавно заново отделанную.

Пока мягко урчала сушилка, она успела рассмотреть все, что находилось вокруг, тем дружеским оком, которое бы охотно здесь все сокрушило: стены и пол облицованы

фаянсовыми плитками; дорогое санитарное оборудование, эффектно контрастирующее с ними по цвету; толстые пушистые полотенца, подобранные в тон халатам; ванные коврики, мягкий пуф перед зеркалом и великое множество всяких дорогостоящих вещей. Весы, полочки, сиденье для ванны, вешалки, мыльницы, набор стаканчиков — со всех сторон блестящий никель.

— Водятся денежки! — сказал Леон, вошедший следом помыть руки.

— Это все могло бы принадлежать нам, — ответила Агата.

Она с удовольствием прихватила бы золотую цепочку, лежавшую на столике: хоть мелкое, но все же возмещение. Но тут был Леон, да еще такой хмурый. Тогда Агата, тряхнув высохшими волосами, сделала небольшой крюк по коридору, заскочила в одну из комнат, где заметно прибавилось мебели, мигом открыла шкаф, вырвала из меховой накидки клок и степенно спустилась вниз.

— А мы только тебя и ждем, — сказала Одиль, внося жаркое.

Мясо было разрезано электрическим ножом на красивые ровные кусочки. И соус, которым его полиют, не застынет сразу, потому что тарелки заранее нагреты. А после обеда грязной посудой займется недавно украсившая кухню моечная машина. Да, ничего не скажешь, у них есть все. Агата не зря сюда приехала, надо было захватить записную книжку, чтобы ничего не забыть.

Остается лишь как-то убить скучное воскресенье — телевизор поможет ей в этом. Не подниматься же в чердачную конуру, которую ей тут выделили, — это означало бы признать, что у нее есть пристанище, второй дом, как у Розы, которая здесь себя чувствует так непринужденно; Агата, оставшись с ней наедине, не может удержаться от укола:

— Клянусь, ты просто как у себя дома. Может, тебе следует здесь остаться?

И Роза отвечает:

— Я уже об этом подумываю, представь себе! — Да еще добавляет: — Тебя это очень устроит. Наша комната станет твоей. Но ты сдохнешь от зависти.

Агата помрачнела и в таком настроении находилась весь вечер. Всего на секунду проявила она слабость: когда отец, рассеянно глядя на экран телевизора, сел около нее и, как бывало, потрепал ее по затылку. Но это же послужило и сигналом к ух-

ду — она уехала на мотоцикле своего покорного брата, на его «такси».

Вечером Агата вынула из шкатулки свою заветную тетрадь, взяла ручку с серебряным колпачком и написала:

«Кто же там, в животе у Одилы? Малыш, у которого будут отец, мать, два дедушки и две бабушки — словом, две семьи, все в двойном комплекте и в полной гармонии, как руки и ноги!»

Короче, у него будет то, что положено иметь нам.

Мне у отца не по себе, наверно, потому, что я там чувствую себя ущемленной. Как, впрочем, и в Фонте-не — и чем дальше, тем больше. Мама ведь ничего не делает, чтобы мы могли забыть. Наоборот. Леон, который никогда не пускается в откровенности, все же вчера мне признался: «Когда я бываю с Соланж, то хоть забываю все это».

И это Леон обычно такой сдержанный! Что же до меня, то если я и соединюсь с кем-либо, то лишь при условии, что смогу порвать в любую минуту».

ЯНВАРЬ 1968

16 января 1968

«Не больше двух человек одновременно» — гласило объявление. Но когда Луи добрался до клиники в Ножане (его долго задерживали: клиент был настолько важный, что нельзя было отмахнуться; затем следовала бумажная волокита по оформлению заказа, а потом такси застряло в пробке на улице Сен-Антуан) и когда он в конце выкрашенного масляной краской коридора толкнул дверь палаты №31, то оказалось, что в ней уже находятся девять человек: его родители, тесть с тещей, Габриель, две сослуживицы Одилы, сама роженица и ее сын; их окружали бесчисленные горшки с азалиями, перевязанные шелковыми бантами, красивые вазы с прозрачной зеленью аспарауса и розами «баккара».

— Почему именно Феликс? — спрашивал Габриель.

Мужчины стояли и мучились в зимних пальто, ибо в комнате было двадцать пять градусов, а снять и повесить одежду было негде.

Дамы завладели тремя стульями, а мадам Милобер,

мамаше роженицы, разрешили в виде особой привилегии присесть на край кровати.

— Я уже сказала: надо назвать по святцам,— объясняла Одиль.— Ведь так и со мной было. Мой день рождения совпадает с днем именин.

Феликс сосал объемистый предмет, изборожденный лиловатыми жилками, с пупырчатым кружком вокруг соска,— словом, в прямом значении этого понятия питался грудью, тем самым сделавшейся священной, открытой взглядам и потерявшей свой соблазн. Два растопыренных пальца сжимали сосок, чтобы молоко текло и чтобы можно было высвободить маленький носишко. Мать склонила голову к ребенку, вся сосредоточившись на этой струйке молозива. Она напонила традиционную скульптуру, олицетворяющую материнство, только опиралась на подушку, которой нет обычно у мраморных изваяний — эта мать ни в чем им не уступала. Луи невольно сравнивал ее с той, предыдущей, четырежды болевшей грудницей. Тесть вытащил маленький фотоаппаратик, и вспышка осветила комнату. Снимок как снимок, и если не смотреть на личико, то это были совсем одинаковые фотографии: и Феликса — первенца от второго брака, и Леона — от первого. Впрочем, эти фотографии не точнее фиксируют прошлое, чем память. Ему, Луи, двадцать шесть лет на одном снимке, сорок шесть — на другом. Кто же он теперь? Отец, кажущийся стариком из-за разницы в возрасте? Или отец, вновь обретший свою молодость в новом мужском подвиге? Производитель, распыляющий свое потомство, вожак целого стада? Или, напротив, родоначальник, продолжающий род согласно новому салическому праву, первопричина, рождающая многие следствия? Древнейшая из тревог, всегда усиливающаяся в новом браке, но тщательно замалчиваемая мужчинами, возникла из боязни, что отец никогда не может быть отцом в том понимании слова, как мать бывает матерью; это очень быстро осложняется еще одним опасением: когда у вас рождается ребенок и первый крик отделяет его от тела матери, то вся ее нежность отныне делится надвое, а раз так, то ваша доля уменьшается. Луи, уже довольный собой, чтобы не давать преимуществ мадам Милобер, приехавшей уже неделю назад, помочь дочке, сел на другой край постели и, стараясь скрыть волнение, заговорил:

— Назвать по святцам! Легко сказать. Ведь этот малыш счел удобным высадиться ровно в полночь; как

теперь узнать, когда он родился: четырнадцатого числа в двадцать четыре или пятнадцатого в ноль часов? Общество стоит за четырнадцатое, и это правильно. Святкой Маврикий, который приходится в календаре на пятнадцатое, убийственно одинок в этот день. Но есть возможность выбрать между святым *Иларием* и святым *Феликсом*, попадающими на это воскресенье. А тут и колебаний быть не может: ясно, что *Феликс* — он же счастливый, да это просто удача.

— Гм! — роняет мадам Давермель. — Меня несколько расхолодило то, что написано в словаре Ларусса. Феликс был сельским священником, которого подвергли пыткам во времена римского императора Деция, уничтожавшего христиан. Стало быть, этот «счастливец» был вынужден выбрать вечное счастье.

Тем временем бабушки, имеющие много общего между собой и твердо убежденные, что в храме материнства мужчины должны помалкивать, уже обменивались традиционной информацией. *Да-да, шесть с половиной фунтов. Ну и плут, на неделю задержался! Но простим его хотя бы за ту поспешность, с какой он постарался избавиться от себя мамашу; роды ведь продолжались всего три часа... Редкий случай для тех, кто рождает впервые! Слишком быстрые роды... А какая у него светлая кожа, значит, детской желтухи у Феликса не будет... Но все же как я испугалась: Луи дома не было, он поехал проводить своих детей, и вдруг все началось...*

— А детей известили? — спросила мадам Давермаль.

— Я думаю, да, — ответила мадам Милобер.

Бабушка Феликса явно не разделяла интереса, проявленного к этому вопросу мадам Давермель — общей бабушкой всех детей. Мадам Давермель, несколько обеспокоенная, нахмурилась: до сих пор Одиль вела себя вполне достойно с Четверкой, но не выдвинет ли она инстинктивно на первый план своего младенца — ведь для нее по семейному счету он вовсе не пятый.

— Я звонил сегодня утром Алине, — сказал Луи.

— Она способна скрыть от детей, — ответила бабушка Давермель.

— И правда, странно, что Ги сюда не примчался, — заметила Одиль, тормоша своего маленького, задремавшего у ее груди.

— Во всяком случае, — продолжал Луи, — Алина не обязана отпускать к нам детей до двадцать восьмого

числа и не сделает этого. Она так и сказала. Она совсем круто повела дело с того дня, как Роза имела неосторожность сказать сестре, что предпочла бы жить у меня.

Теперь нахмурились Милоберы: нужно ли перед «свидетельством новой любви» распространяться о досадных последствиях старой? Но мадам Милобер не удержалась и продолжила тему:

— А вы думаете, Роза на самом деле?..

— Да. Роза и Ги оба этого хотели бы, но ведь Алина их не выпустит,— заметил Луи, желая ее успокоить.

Он выразил свое сожаление таким тоном, что Одиль, вытирая ротик срыгнувшему сыну, подняла усталые веки.

— Роза и Ги?— повторил мсье Милобер.

В этом восклицании сквозил подтекст: можете себе представить, моя дочка, которая до сих пор была у вас единственной, вдруг за один год обзавелась тремя ребятишками, из них двумя приемышами! Луи встретился взглядом со своим отцом и тут же отвел глаза, посмотрев на Феликса: у него на щечке появилась белая полоска, а мягкая головка, слишком еще тяжелая для его морщинистой шейки, на которой трепетала голубая жилка, откинулась назад. Луи и так уже много сказал. Он не признается, что его охватила грусть, оттого что он не увидел у этой постели Четверки. Он не расскажет ни о медицинском заключении, которое получил, хотя письмо и было отправлено по ложному адресу, ни о старом автомобиле, отданном бывшей жене, которая вместо благодарности лишь заметила: *Спасибо и за такую рухлядь!*— хотя владелец гаража предлагал Луи вычесть четыре тысячи франков из стоимости новой машины за сдачу старой. Луи продолжало казаться, что из-за него Алина столкнулась со многими трудностями, что он ей чем-то обязан; и она этим так пользовалась, что многих это могло бы шокировать. Четыре тысячи франков! Если бы Одиль узнала... Луи погладил руку жены. Бабушки склонились над плотно запеленатым ребенком, укрытым тремя одеяльцами, передавая с рук на руки сверток, чтобы положить его в белую колыбельку. Дамы учтиво обсуждали меж собой фамильное сходство новорожденного. Подбородок — ваш. А наши — ушки, может, еще глаза, если останутся такими голубыми. Они-то, конечно, голубыми не останутся, но по крайней мере Феликс не будет иметь ничего общего с семьей Ребюсто.

Ветер сотрясал будку телефона-автомата, пока Ги рылся в карманах. У него осталась только одна монетка из тех пяти, что ему дают. Кроме того, у него есть еще сберегательная книжка, неприкосновенная, тетушки и бабушка пополняют ее мелкими суммами. *Зато будут высокие проценты, малыш!*— заверяет его Ме; *Все проценты съест девальвация!*— заверяет отец. У Ги есть еще и копилка, настоящая, осязаемая, но он ее прячет на вилле «Вдвоем»— из элементарной предосторожности после обыска и немедленной конфискации пятидесяти франков, когда мать сказала: *Я тебе даю по пять франков в неделю. Если у тебя больше, значит, тебе их дал отец и он хочет купить тебя своими подарочками.*

Только одна-единственная монетка у Ги, и нельзя упустить последнюю возможность. Кончиком карандаша Ги переправляет надпись на стекле. Изречение *Дурак тот, кто это прочтет!* превращается в *Дурак тот, кто это зачеркнет.* Потом он набирает номер фирмы «Мобиляр», вслух говоря себе: *Если папы там нет, я пропал.* Но телефонистка с акцентом, характерным для жителей Бордо, который он всегда узнает, уже напевно выговаривает: *Тебе повезло: твой папа только что вернулся.*

— Привет, Фиделио!

— Привет, мой птенчик!

Это пароль. Изобретение Розы. Хотя опера «Фиделио, или Супружеская любовь» меньше всего подходила к образу жизни Луи, но, согласно мнемотехнике, это слово великолепно укладывалось в цифры 345-35-40.

— Все еще ничего, папа?

— То есть как ничего?— прорычал телефон.— Феликс родился еще в воскресенье вечером, через три часа после вашего отъезда. Я известил твою маму в понедельник утром.— И у Луи невольно вырываются злые слова.

— Зачем ты нервничаешь, папа?— говорит Ги.— А что ты думал? Что она отведет нас в больницу с букетом цветов для Одили?— И несколько покровительственно, с высоты своих одиннадцати лет, добавляет:— Не беспокойся. Остальным займусь я сам.

Рука мадам Равер, украшенная перстнем с аметистом, поднялась, описав в воздухе кривую, и Роза, стоявшая на

песчаной дорожке пустого школьного двора, где ветер поднимал маленькие желтые круговороты пыли, увидела, как исчезли за поворотом на улицу последние группы детей с ранцами на спине. В эту минуту показался Ги — он бежал им навстречу.

— Кто это сказал вам о Комитетах надзора, черт побери?— спросила директриса.— Хотя это, пожалуй, неплохая мысль... Я могу дать вам адрес мсье Гордона, президента местного Комитета. Но вы должны забыть, от кого вы этот адрес получили, понятно?— Рука с аметистовым перстнем легла на плечо Розы.— Но мсье Гордон скажет то же, что и я: «Подумайте, моя деточка. Ваша мать и так уже настрадалась».

Ги прибежал весь взлохмаченный, в разлетающейся, как крылья, перелине и, вытянув острую мордочку, хвастливо затрещал как пулемет. Он начал издали, не обращая никакого внимания на присутствие мадам Равер:

— Вот так здорово! Братик родился три дня тому назад. И мама, оказывается, знала...

— Бог ты мой!— выдохнула директриса.

Агата, у которой есть собственный ключ от дома, пришла раньше всех — как раз вовремя, чтоб схватить телефонную трубку и принять на себя первый раскат дальней грозы.

— Папа, папа,— успела она вставить,— ты ведь не с мамой говоришь. Она ушла за покупками. Это я, Агата...

Только она повесила трубку, как в замке скрипнул ключ. Явился Леон и сразу прошел к себе, сестра последовала за ним, и начались перешептывания.

— Однако!— сказал Леон.— Это уже, пожалуй, слишком.

— У мамы есть на то причины,— возразила Агата.— Если тебя интересует мое мнение, то я думаю, нам не надо вмешиваться,— докончила сестра и затянула на нем потуже галстук.

Бесшумно повернулся ключ в замке, и появилась Али-на, хмурая, с опухшей от воспаления надкостницы щекой.

— Младших нет еще?— пробормотала она.

И, не дождавшись ответа, пошла в кухню, зло бранясь по дороге.

— Что, Роза поселилась там насовсем? У нас не семья,

а куча шариков¹— каждый стремиться закатиться куда-нибудь подальше. А я что тут делаю, скажите, я-то кто? Только прислуга?

Алина и правда мать-служанка; она принялась швырять тарелки, кастрюли. Ах, какая мерзкая история! Красотка нарочно сообразила себе младенца, чтоб реабилитироваться в глазах людей, превратить Луи в няньку и оттяпать долю Четверки.

Нет, тут нельзя ликовать да еще позволять этим дурачкам прославлять ее самую опасную соперницу. Но возможно, умолчание тоже было ошибкой. Рефлекс страуса. Конечно, неплохо, что Роза и Ги сразу не отправились туда, к колыбельке, пусть там думают, что они относятся к этому событию с полным равнодушием.

Но придется еще с ними объясняться, как-то оправдываться.

Медленно движется стрелка стенных часов. Алина успевает промолоть остатки мяса, смешать его с хлебным мякишем. Кладет в духовку котлетки, и в эту минуту у входной двери наконец раздается звонок. На полчаса опоздала, моя доченька, погоди же! Лучший способ защитить себя — сразу перейти в наступление:

— Ну, и где же вы таскались?

Они входят вместе в глубоком молчании, ранцы на плечах. Ладно, все ясно. Только откуда они могли узнать? Наверно, из запрещенного источника? Она, Алина, как молчала, так и будет молчать, выжидая, пока противник разоблачит себя.

— Нас задержала директриса,— спокойно ответила Роза, распространив сообщение на двоих.

Никаких подробностей. Ги, который обычно хитрит, сейчас очень уверен в себе. Роза тоже кичливо выпятила грудь — они просто невыносимы.

Алина резко схватила дочь за руку:

— Что вы от меня скрываете?

— Скорее нам следует спросить тебя об этом,— говорит Роза.

Алина поворачивается, ница взглядом старших — даже если они не вмешиваются, одно их присутствие будет для нее поддержкой. Но их здесь нет, укрылись в комнате Леона, наверно, заранее решили удалиться. Рука, держа-

¹ Во Франции среди детей, особенно в рабочих кварталах, популярна игра в маленькие стеклянные или каменные шарики.

шая Розу, угрожающе поднимается. И тут вдруг Алина замечает, что Роза почти одного с ней роста и вовсе не пытается увернуться. Пришлось ограничиться окриком:

— Как ты со мной говоришь? Что за тон? Я тебе запрещаю...

— Ты мне запретишь иметь брата?

Раздается пощечина, Роза отскакивает и заслоняет собой Ги. Алина раздражается злобной тирадой:

— У тебя брат появился? Ну и что? И ты мне, своей матери, обманутой твоим папашей, радостно объявляешь, что эта богородица, которая спит с кем попало, уже выродила ему Иисусика? Ты что, дурочка, что ли? Бог весть где болтаешься, дерзишь отчаянно да еще пользуешься тем, что Ги мал и глуп и можно его подстрекать. Но ведь на деле ты упрекаешь меня совсем в другом. И я скажу тебе, в чем: тебе не нравится наша нужда, то, что мы не можем свести концы с концами. Ты мечтаешь, глупая, что станешь у них любимицей, сможешь пользоваться деньжатами, которые папочка заработает, если будет малевать портреты этих простофиль. Как же ты не понимаешь, что отец не для того вас бросил, чтобы снова брать к себе, и что его добрая женушка не благословит тебя за то, что ты хочешь за ее счет пожить.

Алина останавливается, чтобы перевести дыхание. На этот раз она не в силах заплакать. Не в силах унять дрожь во всем теле. Не в силах не думать о парадоксе: ее дочь — ее двойник, ее портрет, но в споре она, совсем как Луи, обладает обезоруживающим спокойствием, умеет вставить словцо, смотрит в упор. Отойдя в сторону, Роза осмеливается добавить:

— Не суди о других по себе.— Она отворяет дверь, пропускает вперед Ги и на пороге говорит:— Я тебя упрекаю в том, что вот уже несколько лет ты добиваешься, чтобы мы разделяли твое ожесточение. А если мы сопротивляемся, ты говоришь, что мы злые. Извини, мама. Мы хотим повидать Феликса, и ты нас к обеду не жди.

— А оттуда мы пойдем прямо в школу,— заявляет за спиной Розы Ги.— Одиль напишет нам справку для классной наставницы.

Ги не захотел отстать от Розы — ударил по самому больному месту.

— Только попробуйте пойти! Клянусь, вас притащит ко мне полицейский!

— Надо еще найти такого, который одобрит твои действия,— ответила Роза, закрывая за собой дверь.

Сгоревшие котлеты превратились в угли — тем хуже для тех, кто будет обедать! Пусть Леон и Агата лопают их в наказание за то, что их не было здесь во время этого разговора. Алина нервно дергает телефонный диск, трижды ошибается, набирая номер директрисы, наконец соединяется, называет себя и выкрикивает в трубку:

— Роза и Ги, наверно, сегодня опоздают на занятия. Я хочу сказать, что причину, на которую они сошлутся, я не считаю уважительной.

Но мир плохо скроен. Алина это поняла, ощутив на минуту стыд.

— Дорогая мадам, я догадываюсь, — говорит директриса. — Но полагаю также, что вы, как и мы, сумеете проявить должную снисходительность.

АПРЕЛЬ 1968

6 апреля 1968

Феликс на руках у Одилы, Одиль на коленях у Сиуля, они разместились в большом недавно приобретенном овальном кресле. Вербное воскресенье, обед уже окончен, они сидят, ожидая гостей, молча. Им не надо слов, достаточно взаимного тепла, оно согревает. Несмотря на всю сложность ситуации, они чувствуют себя неплохо. Но как же быть дальше?

Алина, например, едва лишь вышла замуж, тотчас бросила работу и перешла на иждивение мужа. Затем подарила ему еще четверых иждивенцев, одного за другим, ни разу не попыталась избежать этого. Ну, конечно не без участия Луи, пусть и ему будет стыдно. Но как бы то ни было, факт остается фактом: если жена не возражает, муж дает себе волю. Алина верила в то, что, рожая детей, она укрепляет свою безопасность: четверо детей — четыре ножки брачного ложа, так оно прочнее будет стоять. Я же поведу себя иначе, мой дорогой! Мне нужен только один ребенок, единственный. Он явится гем звеном, которое из нас двоих — тебя и меня — создаст цепь: я, ты, он. Но и все. Да здравствует Феликс! И на этом закончим. Не будем уродовать то, что создано для любви, и превращать это в машину для деторождения.

Но ребенок, пусть он даже единственный, остается ребенком: его ведь нельзя оставить, как котенка, около

блюдца с молоком и миски с опилками, и чтобы к вечеру он был по-прежнему чистенький и ласково мурлыкал. До рождения Феликса у его родителей были такие спокойные ночи, да, собственно, и дни тоже: оба они, люди трудолюбивые, обеспечивали себя двумя самостоятельными заработками полную свободу действий, достаток позволял им жить в свое удовольствие. А вот как будет теперь, когда у них есть Феликс?

Одиль себя не обманывала: что ей за радость вечно торчать на кухне и в конце каждого месяца протягивать руку и объяснять, зачем ей нужны деньги, вместо того чтобы распоряжаться своими собственными? Добавился еще один рот, но исчез один заработок, — разве обязательна эта взаимосвязь? Если она выбрала ребенка, то все равно хотела бы сохранить свой заработок и продолжать платить взносы в органы социального обеспечения. Что же? Пристроить куда-нибудь малыша? Нет, об этом и речи быть не может: она мечтает сама вязать ему одежду, тискать его — она хочет один раз испытать блаженство материнства. Нанять няню? Нет, тоже нельзя: ее питание, жилье, спецодежда, жалованье, взносы в профсоюз — все будет стоить кучу денег, куда больше, чем то, что зарабатывает сама хозяйка. Да, это серьезная проблема, и, несмотря на свою обыденность, она так и осталась неразрешимой в обществе, которое канонизирует дам, верных кухонному ремеслу. Но Одиль — домашняя хозяйка и кормилица — все же отказывалась ограничить себя только этим

— Он заснул. Положу его в колыбельку. — А освободившись, она сказала: — Знаешь, когда я работала у отца в книжном магазине, я бралась делать переплеты по просьбе некоторых наших клиентов. Но сбыт был невелик. А здесь дело, может, пойдет иначе? Ты, Сиуль, делал бы макеты и даже мог бы рисовать картинки.

— Это мысль, — сказал Луи.

Он был счастлив, полон нежности и в то же время смущен. Обычно мужчинам свойственно верить только в свои заслуги. Каковы же были они, если он заслужил счастье обладать молодой, красивой, преданной и деятельной женщиной? И это вместо сварливой мученицы, изображавшей угнетенную невинность, убежденной, что ее палач, как она выражалась, станет жертвой собственного распутства!

— Этот тип как будто пришел, — сказала Одиль

Голос в микрофоне сообщил: *Жюльен Гордон из Комитета общественного надзора*. Гость, миновавший ограду, походил на отставного учителя: мелкий шаг, повисшие руки, брюки на коленях вытянуты, очки сползают к кончику носа, который как будто что-то вынюхивает. Но едва он вошел и взглянул на корзинку для новорожденных, мягкая улыбка осветила и разгладила его морщины.

— Вот человек, который в нас вовсе не нуждается.— И, усевшись, сразу же приступил к делу:— Вы, конечно, уже слышали о нашем Комитете?

— Кое-что,— ответил Луи.— Но признаюсь, что...

Луи чуть pokrивил душой: ведь он вовсе не хотел признать, что первый заговорил с Розой, и хотя сам не участвовал в последующих событиях, тем не менее своим намеком положил начало активным действиям дочери.

— Вас может удивит мое появление,— продолжал посетитель.— Но вы тут ни при чем. Обычно мы занимаемся более тяжелыми случаями. Ваши дети, по их собственному признанию, не подвергались ни побоям, ни лишениям. Свою мать они любят, она их тоже, но она чувствует себя ущемленной тем, что к вам они также относятся с нежностью. Они приходили ко мне несколько раз, и со стороны, через своих бывших коллег, я получил нужные сведения.

Учтиво, уверенно, непредвзято, с большим спокойствием, без излишней жестикуляции он изъясняет все это своим немного простуженным голосом; голова его поворачивается на длинной шее, живые глаза оглядывают все вокруг и останавливаются на Одили.

— Не буду ничего преувеличивать,— продолжает мсье Гордон,— но должен признать, что педопсихиатр, который обследовал Ги, хоть и болтает на своем ученом жаргоне о *девальвации образа матери и обращении к отцу для выявления своего «я»*, подтверждает очевидное. Да и я под впечатлением этого деления на *папиных и маминых*, которое ваши дети придумали...

— Как?— удивился Луи.

— А вы не знали?— спросил мсье Гордон.

Соблюдение приличий, эвфемизмы, стремление не нарушать привычного течения жизни — все это помогает заглушать семейные недуги; и вдруг является чужой человек, срывает повязки, обнажает кровоточащую рану. Луи рот открыл от удивления, был озадачен, восхищен. Папины дети! Да за что же они его так любят его,

который их столь сильно ранил, почему тянутся именно к нему?

— Не подумайте, что я их в этом поощряю,— продолжал мсье Гордон.— Вначале я просил их избегать столкновений, иметь доказательства, что не они сами их вызвали. Посоветовал несколько месяцев поразмыслить. Но вижу, что они устали. Роза сама мне в этом на днях призналась: *До каникул еще надеюсь продержаться. А потом уже ни за что не отвечаю.*

Луи смотрел на Одиль, та — на своего малыша, не говоря ни слова. Мсье Гордон понизил голос:

— Хотел бы еще раз сказать вам, что это дело не в моей компетенции. Оно не касается и Управления по санитарным и социальным вопросам. Скорее, оно в компетенции суда, и вы сами могли бы подать туда заявление о необходимости изменить опеку над детьми. Но пожалуй, надо немного обождать: суд обычно отказывается менять опеку над детьми в течение учебного года. Все это будет нелегко, и решение должны принять вы...

— И моя жена также,— сказал Луи.

— Ну конечно,— согласился мсье Гордон.— Мадам Давермель несет ответственность прежде всего за своего ребенка. Она вправе не брать на себя ответственности за других детей, и даже не желательно, чтоб она принуждала себя это делать. Ей эта опека над детьми может надоесть, а тут неуместны эксперименты.

Луи замер, застыл как глыба. Он-то в долгу перед Розой и Ги за то, что они лишились отца, это ясно, но неужели и Одиль как его сообщница тоже в долгу перед ними? И вдруг, к своему удивлению, он услышал.

— Роза и Ги,— сказала Одиль,— окажут мне большую честь.

— Не хотел бы я искушать вас,— обратился к ней мсье Гордон,— но одного честолюбия тут будет мало.

Тогда Одиль поднялась с места, подошла к мужу, встала за ним и положила руки ему на плечи.

— А вы чего бы хотели? Чтобы я прыгала от радости? Нет, не могу я прыгать от счастья при мысли, что мне придется мыть посуду после пятерых. Но сейчас дети Луи уже не пугают меня, как это было в самом начале нашей семейной жизни. По крайней мере младшие, потому что надо откровенно сказать, мне было бы куда хуже, если бы пришлось взять к себе двух старших.— И она рассмеялась, запустив все десять пальцев в волосы мужа.— Ну что ж, если так случится — неплохо! Если нет — еще

лучше! Не так уж я прекраснoдушна, мсье Гордон. Не стыжусь сказать вам, что, хотя по моей вине рухнула семья, я мечтаю о своем маленьком счастье. Луи молчит, но и он думает так же. Правда, в его представлении счастье, как мне кажется, входит не только любовь ко мне, но и любовь к своим детям. И, чтобы сделать прочным мое счастье, я обязана понять Луи. Вот почему я готова принять всю компанию... Хотите чашку кофе?

26 апреля 1968

Клочки бумаги, разорванной на восемь частей, брошенные Розой в мусорную корзинку, а затем тщательно склеенные Алиной, содержали загадку: *Надз, Цветочная, д. 18* и, видимо, обозначали что-то важное. К тому же, вместо того чтобы пойти домой, дети вскочили в автобус. Стало быть, нужно сразу ехать следом.

Спидометр в старой колымаге Алины показывал 104 567 километров; сиденья в машине были засаленные, продавленные, а чехлы пропитаны неистребимым запахом, который, несмотря на опрыскивание всевозможными освежающими средствами, не выветривался. Лишь одно достоинство имела машина — она была серой и не бросалась в глаза. Дети и не подумали обратить внимание на этот автомобиль, выделить его из потока других машин, как не узнали на расстоянии свою мать, надевшую на голову косынку, темные очки и старое пальто Жинетты. Если вы содержите такую «гостиницу с рестораном», которую неизвестно почему называют семьей, постояльцы редко дают вам передышку, но зато ваше отсутствие объясняют лишь хозяйственными нуждами; когда из-за нехватки денег у вас нет гаража и машину приходится ставить на улице в ста метрах от дома, вы можете отправляться в любом направлении и следить за кем угодно, не вызывая подозрений. Задача, конечно, неблагодарная, но такова печальная необходимость. Право на опеку и сама опека соединены, как чайник и вода, которая может испариться. Когда у вас четверо деток которые подрастают и вот-вот разбегутся в разные стороны, надо все-таки знать, где они находятся.

Что касается Леона, то с ним не так сложно. Пять лет учебы — пять лет отсрочки. Ей удалось узнать, кто его

подружка — это дочка почтового чиновника, студентка фармацевтического факультета и так же, как и он, член французского спортклуба. К тому же она соседка, приметившая Леона здесь, в этом квартале, ее можно и домой пригласить — только стоит ли разочаровывать девушку, которая живет в лучших условиях (к тому же Леон любит тайны).

А вот что творится с Агатой? Мотоцикл у Марка — просто дьявольская машина с бешеными скоростями и потрясающей меневренностью, за ним не угонишься, но и те соперники Марка, которые катали Агату на мотоциклах «альпин» или «хонда» — а это все равно что прогуливаться пешком, — тоже не давали повода делать какие-то выводы. Пару поцелуев Алины как-то приметила, выследив однажды дочь в парке со светловолосым атлетом, другой раз на террасе кафе с каким-то ретивым брюнетом — все это доказывало, что юная искательница приключений относится к любви, как к своим выпускным экзаменам, — в общем-то довольно поверхностно. Во всяком случае, тут не вмешайся. Как просто было бабушке Ребюсто давать советы из Шазе: *Меня беспокоит то, что я узнала о старших; не позволяй им делать все, что захотят. А Эмма выражала другую точку зрения и, конечно, несколько преувеличивала, утверждая: То, что некогда называлось девичьей добродетелью, исчезает гораздо быстрее, чем их привязанность. Любовник похищает у вас не только невинность вашей дочери, но и ее самое: вот тут и начинаешь думать, что главное — это не допустить, чтобы дитя всерьез увлеклось. Пусть позабавится малышка Агата, пусть поиграет с опасностью, лишь бы только поразмыслила над примером самой Алины, столь ясно доказавшим, что самое большое несчастье часто таится именно в законном браке; бабушка, конечно, прожила всю жизнь в условиях воздержания и законного супружества, потому и написала: *Слышала, что ты дурно отзываешься о брачной жизни; если твой союз оказался неудачным, это не значит, что надо отвращать от брака дочерей.**

Автобус проезжал одну станцию за другой, выпуская по пути лицейстов и машинисток, и добрался до района Нейн-Плезанс. Вот еще новые заботы с Розой и Ги. После того как они, нарушив материнский запрет, навестили маленького братца, пришлось держать их в узде и контролировать строже. Но попробуйте-ка урезонить детей, если их через каждые две недели может затребовать к себе отец! В семье они как-то отделились, ведут себя обособ-

ленно. Роза увлечена ролью покровительницы Ги, и он ей охотно подчиняется, слушается ее, повторяет с ней уроки, и оба они как бы находятся в изгнании, ожидая лучших времен. Ведут себя тактично и даже чересчур вежливы, стараются быть незаметными, словно призраки, но подчинить их можно лишь силой судебных решений. Выбросить блокнот с пометками, которые делает Роза? Бесплезно: она со всего сняла фотокопии в автомате на вокзале. Переводить дома стрелку стальных часов, чтобы Луи томился у двери в дни посещений? Тоже бесполезно: волшебным образом стрелки забегают вперед или же радиостанция «Люксембург» шумно сообщает точное время. Алина заставила Ги изучать в школе катехизис, чтобы донять этих безбожников Давермелей, но мальчишка заявил викарию, что в случае развода отношение ребенка к религии должно остаться без перемен и что его отец не согласен с матерью в этом вопросе. Тем не менее Ги все-таки зачислили в группу, изучающую катехизис. Но он устроил так, чтобы его оттуда выгнали, процитировал шиворот-навыворот Символ веры: *Я не верю ни в бога-отца Всемогущего, ни в Иисуса Христа, его единственного сына...* Алина знала, где искать подсказчика. Она устроила в этот день такой разнос! Но тотчас же в ответ раздался телефонный звонок от Луи и посыпались упреки мэтра Гренд, которая упорно твердила Алине: *Остерегайтесь, не давайте поводов для обвинений.* Алина остерегалась. По некоторым признакам — высокомерная повадка, частые опоздания домой, переглядывание и даже проявления подчеркнутого сочувствия к ней — она убедилась, что против нее готовятся козни.

Автобус снова остановился. Из него вышел какой-то допотопный кюре в сутане и шляпе с загнутыми полями, а затем Роза и Ги, видимо уже знакомые с этим районом, потому что, ни минуты не задерживаясь, они пересекли улицу и быстро прошли туда, где на зеленой лужайке среди круглых серых валунов, расположенных кучно, как яйца в корзине, стояло несколько домов. Здесь было несколько подъездных дорожек, и пока Алина освоилась в этом лабиринте и пристроила свою машину, дети успели исчезнуть из виду. Надписи гласили, что это действительно *Цветочный городок и сквер Ламартина*. Наконец Алина разыскала комнатку привратницы, но там никто никогда не слышал про мсье Надза, да еще проживающего в доме 18 который записан на имя мадамуазель Пьервен. Д 18

стало быть, означало совсем иное, может — *до восемнадцати часов?* Алина бродила от одного здания к другому, между игравшими здесь детьми, тщательно искала своих, а они все не появлялись. Когда стемнело, Алина решила ехать обратно, но обнаружила, что спущено колесо. Лишь к девяти часам вечера она вернулась домой, очень уставшая, готовая устроить скандал и потребовать решительных объяснений. Но Роза уже точными и бесшумными движениями кончила накрывать на стол, так что ни одна тарелка не звякнула; Агаты еще нет дома, Леона также, значит, у Алины нет союзников. Роза подошла к матери, сказала: *Извини, пожалуйста, мама! Вот, все готово. Тебе сколько яиц, одно или два?* Алину растрогало усердие этого робота: дочка, не прерывая своих трудов, поцеловала ее и, несмотря на странное опоздание матери, ни о чем не спросила. Алина решила не выдавать себя и тоже не задала ей никаких вопросов.

ИЮНЬ 1968

16 июня 1968

Жасмин и пионы не соизволили дожидаться этого дня, лепестки их преждевременно облетели на пожелтевший от летнего зноя газон. Но ласточки взмывали в небо, голубое, как по заказу. Через широко открытую калитку можно было войти в сад или уйти оттуда по своему желанию, устроиться, где захочется, постоять перед стойкой деревенского буфета с царствующим посередине бочонком «божоле», капавшим на скатерть. Праздник продумали заранее, как и состав приглашенных. Все тут учли. Надо было проявить некоторые знаки внимания к соседям, отметить с запозданием не только новоселье, устроить своего рода светские крестины Феликса, а также отпраздновать традиционный День отцов, доставить удовольствие клиентам и владельцам фирмы «Мобильяр», вернуть семье некоторых друзей; возможно, тут было еще намерение выйти из изоляции, из своего рода гетто, в коем обычно вынуждена пребывать незаконная чета, которая впоследствии становится узаконенной в ущерб предыдущему брачному союзу; поэтому необходимо какое-то время, чтобы люди привыкли к мысли, что новая семья существует.

Одиль принимала гостей в самом доме, держа на руках

своего первенца с тремя зубами — нежный залог всеобщего уважения; присутствие бабушки Давермель придавало этой картине респектабельность в глазах собравшихся дам. Луи красовался в саду, одетый с некоторой небрежностью, чтобы придать обстановке большую непринужденность при такой смеси самых разных гостей: соседей, родственников, близких и дальних знакомых, художников настоящих или тех, которые таковыми считаются. Одни были в галстуках, другие без оных, к одним надо было учтиво обращаться на «вы», другие довольствовались дружеским или родственным «ты». Луи мог быть доволен: коктейль проходил с успехом.

Это было предпоследнее, третье воскресенье июня; приглашения, посланные Луи в Фонтене, несомненно, бросили в мусорный бак — надеяться на то, что дети приедут, не стоило. Что же касается друзей, то здесь, на лужайке, их было трое или четверо. Явился, конечно, верный Габриель. Он чувствовал себя несколько одиноко и признался Луи:

— Да, друзья стали редки!— И, как обычно, сразу принялся философствовать:— Что ни говори, таков закон! Когда разводишься, теряешь половину тех, кто остался, ибо их жены боятся дурного примера. И половина из последней четверти шарахается от тебя, если надумаеть снова жениться...— И вдруг умолк, удивленный:— Смотри-ка! Наверно, Алина нынче в хорошем расположении духа: вот твои дети.

Нет, это были не младшие, а на этот раз старшие, с которыми Луи уже несколько месяцев не виделся. Но как странно они ведут себя сегодня: ни с кем не говорят, а, как бы мысленно поделив сад на квадраты, осматривают все вокруг, кого-то разыскивая. Наверно, ищут отца Луи поднимают руку, чтоб они его увидели. Агата и Леон отвечают тем же и исчезают в доме.

— Да, кстати,— говорит Габриель,— любопытное послание я получил от Розы. Похоже, что у них дома не совсем ладно.

Но Луи уже заинтригован, он тоже уходит, устремляется в холл, подымается по лестнице. Агата и Леон где-то здесь, бродят из комнаты в комнату — слышен скрип петель, хлопанье дверей. Но вот они спускаются.

— Если вы ищите брата, то он в зале, вместе с Одилью,— говорит Луи, обнимая их.

— Ги?— спрашивает Агата.— Но я его там не видела.

— Я говорю о Феликсе.

Агата недоуменно пожимает плечами.

— При чем тут он?— бросает она.— Мама вне себя.
С утра Роза и Ги исчезли из дому.

Ее подозрительный вид показался бы смешным, если бы не было этого оскорбительного поведения, нахального копания во всем доме и предвзятой убежденности в вине Луи. Значит, целью их прихода был обыск. Даже Леон, рассудительный Леон, и тот поддался, и гнев Луи быстро сменяется тревогой.

— Почему вы мне сразу не сообщили об этом? Если я не ошибся, вы пришли сюда с обыском?

— Это в твоих же интересах,— бормочет Леон,— мама намерена подавать жалобу.

Сыщики уже покидали дом. Луи открыл окно в своей комнате — дверцы шкафа в ней так и остались распахнутыми настезь — и увидел, как Агата и Леон пробежали через толпу гостей к ограде и дальше, к старому «ситрое-ну», который стоял метрах в пятидесяти от дома, в двойной цепи автомобилей, принадлежавших гостям. В нем сидела Алина, ожидавшая свой боевой отряд, нетерпеливо глядя в окно.

Рефлекс первый — умиление, второй — досада. Они, а они — это на восемьдесят пять процентов Роза и на пятнадцать Ги — придумали все сами, никого не предупредили, не побоялись последствий и полусотни сплетников которые зубоскалят там, внизу. Но беспокойство у Луи возобладало над всем остальным: где же дети? Если, не желая ставить под угрозу отца, они решили удрать к дедушке и бабушке Давермель, то там заперт дом; если они остались дожидаться стариков у привратницы, то их мать может сообразить, где они находятся, нагрянуть на улицу Вано и забрать их домой. Для нее это был бы прекрасный повод, чтобы выполнить недавнюю угрозу *Если будете валять дурака, я вас отправлю в интернат*

На какую-то секунду в душе Луи молодой муж победил отца: закрытое заведение упорядочило бы его встречи с детьми и ему было бы гораздо спокойней. Но его увлекла сама игра, желание взять реванш над Алиной. Она повержена бывшая мадам Давермель, собственные дети ее осудили она брошена ими, чрезмерно переусердствовала. Право опеки ею нарушено, кончилось время компромиссов. Роза и Ги не поймут, не простят никакого отступления.

Минуты две спустя на том же месте, откуда только что отъехал старый «ситроен», притормозил маленький «рено», весь заклеенный бумажными маргаритками; казалось, вот-вот из него выпорхнет какая-нибудь провинциальная пташка, а вместо нее вышел полный достоинства мсье Гордон. Бдительное око! И все сразу разъяснилось. По счастью, среди гостей оказался адвокат Гранса (конечно, то была чистая случайность, он мог и не прийти, но, видимо, Роза на это рассчитывала). В одну секунду Луи, проскользнув между гостями, предупредил Одиль и напуганных стариков, и в кухне уже собрался настоящий военный совет вокруг мсье Гордона, который все им и рассказал:

— Роза и Ги у меня обедали. Приехали они в полдень. До этого они часа два сидели в привокзальном кафе и писали письма: своей маме, дедушке и бабушке, судье по делам детей, прокурору республики, директорисе лицея, некоторым преподавателям. В письмах сообщалось: мы уезжаем, хотим жить у отца. Последнее время Роза уже многим знакомым писала, что в их жизни наступает перелом. Она отлично понимала, что если не удастся лично предстать перед судом во время разбора дела, то эти письма будут зачитаны. Очень организованная девочка.

— Тем не менее она поставила нас в пренеприятное положение,— сказал мэтр Гранса.— Ее мать имеет право привлечь нас к уголовному суду за похищение детей.

— Алина только что была на этой улице,— сказал Луи.

— Я это подозревал,— добавил мсье Гордон.— Поэтому решил не брать с собой детей. Возможно, мадам Ребюсто действительно пожалуется в суд, но, по моему мнению, жалоба будет необоснованной. Ведь мсье Давермель не может отвечать за этот побег — он к нему не подстрекал, ничего о нем не знал, а это вполне весомый аргумент. Вы же знаете, как судьи не любят возвращаться к уже решенным делам. И понять их легко: пересуды, доносы — все это им давно осточертело. Чтобы они вторично вернулись к делу, требуется чрезвычайный случай, и я — увь! — убедился на опыте, что иной раз они тянут, пока не произойдет попытки самоубийства или же пока наконец избитого ребенка не заберут в больницу. У нас пока, слава тебе господи, ничего подобного не случилось, но чрезвычайный случай все же произошел. Сейчас, господин адвокат, дело за вами.

— Не будем чрезмерными оптимистами,— посоветовал Гранса.— Это может плохо обернуться.

— Все равно дело уже сделано,— сказал Луи.

— Надо найти способ выгородить тебя,— добавил старый Давермель.

— Само собой разумеется,— сказал мсье Гордон.

Он вынул из кармана конверт и протянул его Гранса, но тот принял неохотно. У профессионалов любители всегда вызывают раздражение: солдатам не нравятся скауты, корпорациям — благотворительные общества, оправданием которых не может стать даже их успех.

— Моя роль окончена,— сказал мсье Гордон,— если только вы, мэтр, не сочтете необходимым вызвать меня в качестве свидетеля. Но как бы то ни было, я уже заходил в комиссариат полиции моего квартала и оставил у них заявление. Даю вам копию. На мой взгляд, мсье Давермелю нельзя терять ни минуты. Ему также следует немедленно заявить местным полицейским властям, что он поставлен перед свершившимся фактом и хочет, чтобы над детьми был учрежден прокурорский надзор.

— Отлично!— сказал Гранса, наконец сдаваясь, чтобы покрепче все взять в свои руки.— Но было бы еще лучше, если б Роза и Ги могли пойти вместе с отцом и подтвердить его показания.

В глазах мсье Гордона мелькнула хитрая искорка, но он тут же постарался погасить ее и скромно сказал:

— Они ждут вас в караульном зале. До того как прийти сюда, я поручил их одному из полицейских.

— Я иду вместе с вами,— предложил дедушка.

— Нет,— сказал Гранса,— это покажется нарочитым. Но завтра же я отправлю Алине вызов в суд: вся эта возня займет не менее пяти-шести дней, а пока мне хотелось бы, чтобы никто не знал, где дети. Пусть они побудут у кого-то из посторонних. Устройтесь как-нибудь. Я не хочу знать у кого.

— Хорошо!— хором ответили Луи и его отец.

— Отправляйся!— сказала Одиль.— Гостями я займусь сама.

Она устало ссутулилась: одно дело принять на себя тяжелую ношу, другое — вдруг ощутить, с какой силой она давит на твои плечи. В семейной жизни эта разница чувствуется так же, как в тяжелой атлетике.

Комиссариат полиции находится по крайней мере в трехстах метрах от дома, и так как движение по улице

одностороннее, то проще пройти пешком. Но Гранса этому воспротивился: *Вдруг здесь бродит Алина? Если она опередит тебя и выяснит, где дети, то полицейскому придется передать их ей; для этого ей достаточно предъявить справку о праве опеки. Единственный шанс для тебя — постараться помешать ей что-либо выведать до самого вызова в суд. Нам нужно выиграть время... приятно думать, что оно работает на нас.* Но он вовсе не выглядел веселым и был явно обеспокоен; адвокат сел в свой «таунус», по его мнению менее истрепанный, чем «ситроен» Луи Давермеля, и поехал вслед за Гордоном, втянув голову в плечи, искоса поглядывая через стекло на тротуар, словно боясь увидеть там самого старшину адвокатского сословия, мстительно готовящего западню, чтобы ему, Гранса, пришлось потом предстать перед Дисциплинарным советом. Он снова начал брюзжать:

— Все эти «деятели» из Комитета надзора часто бывают неблагоразумны. Хотите помочь нам — bravo! Но ведь в суде необходимо соблюдать формальности. Правда, в данном случае нам просто повезло, что они вмешались — это всегда производит впечатление. Показаниями папаша Гордона я, конечно, воспользуюсь!

Папаша Гордон, затормозив перед зданием с флагом, привычно въехал во двор, бесцеремонно поставил свою машину рядом с двумя полицейскими фургонами, дружески кивнул часовому и, спокойно ткнув пальцем в свободное место, зарезервированное для служебных машин, как и то, которое он уже занял, сказал:

— Начальника сегодня нет, ведь день воскресный.— Потом тихо добавил:— Он мне нравится. Хотя бывает чересчур педантичен. А вот постоянный секретарь — тот только и думает, как бы поскорее отбыть повинность и смыться.

Все было предусмотрено, как в хорошем сценарии. Появились Роза и Ги, они пытались улыбаться, но были немного напуганы и ошарашены мельканием форменных мундиров, запахом сукна, кожи и табака — запахом, в котором им пришлось мариноваться, пока они ждали отца, за которого теперь и уцепились, наконец-то почувствовали себя в безопасности.

— Представьте себе,— сказала Роза,— до восьми часов мы еще ничего окончательно не могли решить. Все из-за мамы, она заперла телефон висячим замком

— Ты это нам потом все расскажешь,— сказал Гранса.— Пошли! Я жду вас в машине.

В качестве троюродного брата он мог бы, конечно, пойти с ними вместе, но адвокату не полагается быть ни свидетелем, ни участником, а потому возглавил операцию мсье Гордон: ему совсем не обязательно считаться с судебными правилами.

— Предоставьте все мне,— шепнул он,— сделайте вид, будто вы ошарашены.

Двадцать две ступеньки. На площадке три двери. Та, которая им нужна, находится в центре, но обращаясь, оказывается, надо не к тому, что сидит за первым столом, а к тому, что за вторым, к толстому великану, который сразу протянул Гордону пухлую лапу и воскликнул:

— Уже три месяца, как вы к нам не заходили!

— Я бы предпочел вас вообще не беспокоить,— ответил мсье Гордон.

И он начал излагать дело: разъяснил ситуацию, представил отца, детей, отметил добрую волю этих граждан, которые уважают решения суда и впредь полагаются на его справедливость, сказал, что он, Гордон, может удалиться, дабы предоставить возможность высказаться тем, кто делает заявление, но думает, как и старший полицейский, что нужды в этом нет и что надо скорее помочь этим людям, потерявшим от волнения дар речи. Затем он дал толстяку прочесть свое заявление, и тот, все еще с пером в руке, спросил:

— А как же мы это сформулируем?

— Как обычно,— ответил мсье Гордон.

«Как обычно»— это, пожалуй, удачное выражение. Мсье Гордон не хочет казаться бесцеремонным и что-либо диктовать, он только напоминает, что аналогичное дело тут уже было, и у него в записной книжке оно отмечено под номером 107 от 4 января. Он даже цитирует формулировки, они, по его мнению, образец краткости и точности. Припоминает одну-две фразы, легко применимые и в данном случае. Еще несколько фраз, слегка видоизмененные, тоже могут быть здесь использованы. Но в данном случае, возможно, следует кое-что добавить. *Подойдите-ка, дети, не бойтесь.* Ну вот хотя бы что-то от них самих. К примеру: *И Роза Давермель, шестнадцати лет, и ее брат Ги, двенадцати лет, с которыми мы беседовали, подтверждают, что они без ведома отца, по собственному желанию покинули дом матери-опекуни...*

— И решительно отказываются туда вернуться,— воскликнула Роза, услышав свое имя.

— Да, ни за что не пойдем!— как эхо откликнулся Ги.

— Во избежание серьезного несчастья!— добавил Луи.

Добавили то, другое, и получился недурной финал. *И отказываются туда вернуться во избежание серьезного несчастья*, — шептал писец, покачивая головой.— *Ожи полностью доверяют суду, призванному решить их участь...*

Прочли еще раз. Запятая здесь, точка там. Как надо писать «Давермель»— с двумя «л»? У вас есть с собой удостоверение личности? Наконец все проверено и бумагу предложено подписать. Мсье Гордон заботливо отмечает у себя номер документа, чтобы сообщить его адвокату: регистр от 16 июня 1968 года, номер 287. Ну, груз как-будто свалился с плеч. Спускаются по лестнице уже более легким шагом. Но успокоение длится недолго. *Мне так грустно, как подумая о маме*,— шепчет Роза.— *Но если бы она захотела...* Отец понял мысль дочери и добавил: *Да, бедняжка! Могла бы этого избежать*. Он глубоко вздохнул, и это досказало остальное: ненависть заразительна, и каждый, кто не защищается от нее, лишь усугубляет недуг, который, как ему кажется, он подхватил от другого. Во дворе мсье Гордон наклонился к дверце автомобиля, в котором ожидал мэтр Гранса, почти сразу же выпрямился, не дослушав слов благодарности, и начал прощаться.

— Очень редко бывает,— сказал он,— что нам сообщают, чем кончилось дело. Но если б вы позвонили и сказали мне, я был бы рад.

«Таунус» мэтра Гранса двинулся за «рено» в маргаритках, потом затормозил перед виллой «Вдвоем», чтобы пересадить Розу и Ги в дедушкин «пежо» Луи вошел в сад и смешался с многочисленными гостями, которые были заняты только собой и ничего не заметили. Отличное алиби. Но разве он нуждается в алиби? После всех перенесенных испытаний этот небольшой прием казался ему просто смешным; а вот День отцов для него сегодня был особенно знаменательным.

Ни сна, ни покоя, аппетит пропал, силы на исходе. Все эти таблетки, высыпанные на ночной столик из маленьких алюминиевых тюбиков, из которых три уже совсем пустые, на мигрень нисколько не повлияли. Тщетно Алина обрушивалась на старший детей, на своих сестер, на адвоката, на полицейских, привратниц, соседей, на последних, немногих уже друзей, на мать, на членов клуба «Агарь», на преподавателей лицея; напрасно она терзала их в любое время и по каждому поводу бесконечными звонками, письмами, бурными сценами — невообразимое произошло: однажды в воскресенье утром двое детей ушли от нее и исчезли из виду, испарились, а соответствующие учреждения, власти, люди, обязанные заставить уважать закон, справедливость, любовь к родителям, и не думают особенно возмущаться. Трудно поверить? Увы, это именно так. Полицейский комиссар, его заместитель, или как его там, — словом, какой-то служащий полиции, что сидит за деревянным барьером, сколько его ни тормозили, ни умоляли, ни призывали действовать во имя закона, решения суда, выписку из которого ему показали, — да ведь это там написано: *Оказывать поддержку, если требуется*, — так вот этот полицейский осмелился заявить:

— Да, мадам, мы в курсе дела, мы об этом знаем...

Он не вскочил с места, не разослал своих агентов по пятам беглецов. Он лишь вежливо выразил сожаление, толковал о письме, в котором дети объяснили причину своего побега, как будто этому можно найти объяснение или оправдание. Он сообщил, что общественный делегат из какого-то общественного комитета, кичившийся каким-то титулом, высказал свое мнение по этому вопросу. Он утверждал, что ничего больше не знает, что сам ждет, *как и вы, мадам*, — а чего, спрашивается, он ждет? Он говорил: *Постараюсь вас держать в курсе всего, что последует*, а в данный момент, пока нет указаний, он может только принять заявление и зарегистрировать жалобу.

— Пожалуйста, если вы настаиваете, мадам, но на кого вы жалуетесь? Ведь вы мне сказали, не правда ли, что старшие дети сами ходили к отцу, но не могли там обнаружить убежавших.

На кого? Не воображает ли этот полицейский, что Луи

сам во всем признается: *Конечно, господин комиссар, я держался в тени, но подсказал детям, что надо делать, куда написать, когда, в какое время... А потом — ау! — помог им исчезнуть.* Этот комиссар вел себя в точности, как и привратник: он был под сильным впечатлением пресловутого письма, конечно от начала до конца продиктованного. Он опять внимательно перечел его и сравнил почерк с письмом, адресованным Алине, — ясно, что они были написаны одним и тем же лицом. Затем дважды прочел письмо вслух и после каждой фразы все поглядывал на Алину.

«Дорогая мама, мы уходим из дома и будем просить судей передать нас на воспитание отцу. Ты, наверно, не удивишься: ведь мы давно уже добиваемся этого. Мы оба очень тебя любим, сожалеем о том, что приходится тебя огорчать, хотим с тобой регулярно видеться. Но жить с тобой вместе не будем, и ты знаешь почему...»

Вот именно — почему? С каким удивлением смотрели на нее все эти люди! Они ждали ответа на вопрос и были поражены, когда Алина сказала:

— А я бы первая хотела узнать — почему.

Люди теперь исключительно странно ведут себя с ней: они и простодушны, и вместе с тем до того подозрительны, что с невероятным коварством извращают ее лучшие намерения. Ребенок всегда прав. Хотя отец старается внушить детям глупые иллюзии, что всем бросается в глаза, но попробуйте кого-нибудь убедить в этом! А если вы сами пытались уберечь детей от такой подрывной работы, от злоупотребления доверием, этого вам не простят. Во всяком случае, как только прозвучал глас младенца, вам следует заткнуться. Что бы вы ни сказали, все обернется против вас. Не странно ли, к примеру, что все письма написаны Розой, только Розой, а под ее подписью скромно нацарапано *Ги* ? Алина уже обратила на это внимание комиссара, добавив, что так оно бывало обычно — именно Роза возглавляла интригу, подстрекала и вовлекала в нее младшего брата, который во всех спорах прятался за ее спиной... И вдруг! Подумайте только, комиссара заинтересовало одно это слово.

— И что, вы часто спорили? А по какому поводу?

Вопрос застал ее врасплох.. Она начала бормотать: *Ну, я, право, не знаю... По каким-то пустякам, по всяким поводам, это совсем не имеет значения.* И опять — нет, вы только подумайте! *По всяким поводам?* Да это просто неудачное выражение, зачем же ее запутывать еще боль-

ше? А разве бывают семьи, где вовсе не спорят? И где матери не приходится ежедневно выполнять свой долг, чтобы не допускать всяких глупых выдумок? Разве ее роль, трагическая роль брошенной жены, состоит лишь в том, чтобы со всем соглашаться? Но право, довольно жаловаться, ни к чему это! Казалось бы, что удивительно-го в том, что из всей Четверки именно старшие наиболее разумны и поддерживают ее, а вот младшие растерялись, поддались уговорам и взбунтовались. Но к вам подступают с другой стороны:

— А может быть, вы больше покровительствуете старшим?

И вас просят подумать над этим, вам даже советуют забрать жалобу — зачем, мол, так торопиться, ведь нет еще доказательств, что дети похищены.

— И кроме того, мадам, даже если бы и были доказательства, вы ведь существуете за счет средств, зарабатываемых мсье Давермелем, а если жалоба пойдет своим ходом?.. Поможет ли вам и вашим детям, если их отец будет привлечен к суду, получит наказание? Ведь он потеряет работу, средства к жизни. Нам кажется, будет достаточно, если сейчас вы оставите заявление о розыске детей и этим ограничитесь.

Вот почему Алина, пришедшая в комиссариат с жалобой, уверенная, что получит там помощь и удовлетворение, ушла расстроенная и оскорбленная, в жалкой роли глубоко обманутой, глубоко разочарованной матери. Чтобы все-таки успеть купить провизию — ведь Агате и Леону нужно что-то есть — у лавочников, окидывающих ее любопытными взглядами, ибо они уже получили от соседей самую свежую информацию о том, что происходит у нее дома.

Чтобы вернуться домой, ощущая на себе эти взгляды — сверху, снизу со стороны, — взгляды жильцов, живущих над ней, и тех, которые всегда стучали ей в стенку и в потолок, когда ее дети допоздна плясали, или же шла слишком громкая перебранка, или Алина давала им нахлобучку, хотя все это было не более шумно, чем в их собственных семьях; и вот теперь все эти соседи начнут толковать: *А я-то думаю, что же это у них творится?* Снова и как всегда: разносу подвергается именно жертва! Ведь если не покидают без причины жену, тем более не покидают мать, и причины эти определять вовсе не обязательно, факт налицо, стало быть, зло кроется в ней.

Именно ее родные, сурово и вполне заслуженно осуждая Розу, считали, однако, нужным сделать кисло-сладким тоном свои замечания.

— Замкнуть на замок телефонный диск? Что за выдумка! — говорила Жинетта. — Ты просто гений по изобретению всяких мелких притеснений.

А какие вопли негодования вызвал рассказ Агаты — вот уж кому следовало бы молчать! — относительно этой истории с раковиной «Наутилус» — последней раковиной из коллекции Розы, оставшейся в доме матери в Фонтене: в пылу спора Алина схватила ее, бросила на пол и со злостью раздавила каблуком. Что говорить — невоздержанный поступок! Но попробуйте себя сдержать, если вас душит ревность, если ваша нежность грубо попрана, если у вас уже не хватает ни аргументов, ни нервов. Кто посмеет утверждать, что Алина не любит Розу и Ги? Она предпочла бы двадцать раз мучиться родами, лишь бы не знать столь горького разочарования — дети, вышедшие из ее чрева, теперь ушли из ее жизни.

Еще одна утрата, причем самая тяжелая, да еще обостренная тревогой — ведь до сих пор она не знает, где дети; и рядом с ней нет никого, кто бы разделил ее беспокойство. Вот и сестры несколько вяло пытаются уговорить ее:

— Ну, что с тобой? Они где-нибудь недалеко.

С такой же вялостью отвечает и директриса лица:

— Нет, мы их больше не видели. Но, откровенно говоря, мадам, мы ожидали, что нечто подобное может произойти.

Вяло реагировали Агата и Леон, хотя в какой-то степени и представляли себе тяжесть семейного раскола, понимали, что отмена двух пособий на беглецов еще уменьшит доходы семьи (увы! эта забота ляжет прежде всего на хозяйку дома); но они отчасти были довольны: зато можно будет жить попросторней, особенно обрадовалась Агата, сразу удвоившая свою жилую площадь. Только одна Эмма проявила твердость духа, показав при этом невероятное терпение:

— Луи сошел с ума! На этот раз он слишком далеко зашел.

Такое же мнение создалось и у мэтра Гренд, особенно после того, как она поговорила с мэтром Гранса и почувствовала, что готовится новая акция.

— Надо затаиться. Когда противник разоблачит себя, мы на него обрушимся, — сказала она.

А пока что Роза и Ги обретались бог знает где, может быть, находились в опасности. Но раз их не нашли у отца, то надо полагать, что благодаря его сообщничеству они где-то пристроены. Сообщничество почти желанное. Оно, конечно, лицемерно, если, судя по всему, никто не мучится при мысли, что дети — особенно Роза, уже почти девушка, — могут попасть в беду. В воскресенье известий все еще не было. В понедельник тоже. Ничего не изменилось и во вторник с утра. Ни открытки, ни телефонного звонка, даже от посторонних. Единственное, что ободряло, — это молчание их отца, которому известно, что дети исчезли, однако он не звонит, не спрашивает, есть ли какие новости.

20 июня 1968

Без двух минут десять мэтр Гранса, оставив в коридоре дедушку Давермеля и Ги, заметно подростшего и выглядящего взрослее в длинных брюках, подтолкнул вперед Розу и открыл обитую клеенкой дверь. Он не успел ни закрыть ее, ни даже вставить словечко.

— Без вас, мэтр, без вас! — сказал чей-то бас, повторив эти слова с двумя разными интонациями: первый раз весьма любезно, а второй — более категорично.

Адвокат вышел, немного вытянув шею, скрестив руки в широких рукавах мантии, торжествующий, словно кюре, который только что отважно противопоставил свое мнение епископу.

— Председатель Латур меня сейчас предупредил, — прошептал Гранса. — *Я хочу, чтоб на меня ничто не воздействовало. Это означает — никаких родителей и никаких советчиков. Поговорю с детьми по очереди, сначала с девочкой, потом с мальчиком.* Вы меня поняли? Он даже не дал мне представить Розу.

— На нее можно положиться: она в себе очень уверена, — сказал дедушка Давермель, откидывая пальцем за ухо проводок слухового аппарата.

Ги стоял слишком близко, так что старик не мог высказаться более откровенно. Выступить против матери — миссия очень неделикатная для Розы. Настроить ее на это — миссия очень неделикатная для деда. Заслони́в собой мальчика, ведь взлохмаченный, старый Давер-

мель что-то беспокойно рассматривал в глубине коридора, хотя там уже не осталось почти ни одного человека в мантии; было заметно, что он собой недоволен и встревожен.

— Да перестаньте волноваться, — сказал ему Гранса. — Даже если мэтр Гренд, новый адвокат Алины, тут случаем пройдет, то детей все равно не узнает — она ни разу их не видела. К тому же она понятия не имеет, что мне удалось добиться для них этой аудиенции, которая должна бы быть делом обычным, но пока является исключением. Если бы мэтр Гренд знала об этом, она вела бы себя гораздо сдержанней. — Он посмотрел на часы и, стремясь отвлечь клиента разговором, продолжал: — Вызов в суд Алине принесли позавчера, а мэтр Гренд сегодня утром уже мне позвонила и была весьма нервно настроена. По ее словам, весь квартал намерен подписать петицию в пользу Алины, которая сама будет ходить из дома в дом, собирая подписи; кроме того, все дамы из клуба «Агарь» поддержат ее, они готовы растерзать похитителя. По мнению мэтра Гренд, мы должны сразу же отправить детей домой, к Алине, и тогда, может быть, нам окажут милость и заберут жалобу, которая заботами мэтра Гренд недавно отослана прокурору.

— Ха! Без шуток! Если папа нас вернет домой, представляете, какой нам праздничек устроит! — сказал Ги.

— Это стоит повторить там, в кабинете! — тихо подсказал Гранса. — Не беспокойся, малыш, нас запугивают. Председатель Латур посчитается с твоим выбором; по существу, ты сам рассудишь, как быть дальше!

Над головой мальчика скрестились два взгляда; Гранса подмигнул деду: надо, мол, поднять дух у мальчишки! Адвокату хотелось выиграть дело; но взгляд старого Давермея был сдержанней — дедушку больше заботило, чтобы мальчик сохранил сыновнее почтение.

— Гм! — усомнилось заинтересованное лицо, не столь легковерно воспринявшее эти слова.

Но вот раскрылась обитая клеенкой дверь — из широкой трещины в ней выбивались волокна пакли, — и вышла Роза, мягко подталкиваемая чьей-то благожелательной рукой, потом рука поднялась с обращенным в сторону Ги пальцем и два или три раза взмахнула, поманив его в кабинет. И худышка, подстриженный под гребешок, с важностью туда прошествовал.

Между тем Роза — с нахмуренным лицом и тяжело дыша — пыталась увильнуть от расспросов.

— Ну, какое впечатление? Неплохое?

— Да!

— Что он у тебя спрашивал?

— Дед, ты не поверишь: он сразу же спросил, люблю ли я карамельки. А я по глупости взяла — и зря: зубы у меня склеились, и говорить было очень неудобно.

И Роза вдруг усердно принялась разглядывать спустившуюся на чулке петлю. Зубы у нее, видно, никак не расклеивались: беседа с председателем суда — это дело их двоих. Старый Давермель хорошо знал свою внучку и больше не настаивал. Гранса с удивлением заметил, что на Розе новое платье.

— Они уехали из дому, не захватив даже трусиков на смену, — сказал дедушка. — Бабушке пришлось им все покупать заново, пока я был занят добыванием всяких бумажек. К счастью, я уже не у дел. Луи не мог бы всем этим заняться — он работает.

— Это неплохо, — заметил Гранса. — Чем реже он будет сейчас показываться, тем лучше. Пусть считают, что он хороший отец, сбитый с толку своими детьми.

— Да, это именно так, — чистосердечно вырвалось у Розы.

— Конечно! — ответил Гранса без особой убежденности.

Адвокат улыбнулся. Правда это или только видимость ее — он будет защищать их, пустив в ход все свое красноречие.

Но похоже, это опасное дело кончится благополучно. Вот вышел Ги, толкнув плечом створку двери, которая была в два раза выше его, и, будучи менее скрытным, чем сестра, хвастливо поднял кверху большой палец.

21 июня 1968

И снова Большой зал с двумя сводами, покоящимися на прямоугольных столбах, — огромный, холодный, сумрачный, похожий на церковь, весь заполненный снующими во все стороны черными муравьями, они волокут свои лапки, как настоящие муравьи перетаскивают яйца; беспрестанные встречи, ожидание, переговоры; одни торопливо входят в комнаты судей, другие — торжествующие или понурые — возвращаются от них. Алина вновь окуна-

ется в этот холодный мир, где Фемида, изваянная из мрамора, из бронзы, из дуба, сбросила с себя одежды, предстала в образе грудастой, толстозадай дамы и пытается доказать, что она — суровая сестра Истины. Но на сей раз Алина уже не так одинока, не так робка, запугана и не уверена в своих действиях. Она направляется прямо к скамье, находящейся у ног покойного мэтра Беррье, за ней следует целая свита из одиноких женщин: мать, приехавшая из Шазе, сестры Анетта и Жинетта, дочь Агата, Эмма с дочкой Флорой, уже немного подросшей, — все они для этой цели прервали свои дела в конторе, школе или лицее. Шесть абсолютно преданных свидетельниц, собственноручные подробные заявления которых вложены в ранец Ги, использованный для этого без ведома владельца: все это лежит вместе с семнадцатью другими документами, спешно сфабрикованными, а затем отпечатанными Анеттой на ротаторе по стандартной форме.

«Я, нижеподписавшийся (аяся), свидетельствую, что хорошо знаю мадам Алину Ребюсто. Нахожу постыдным поведение ее бывшего мужа мсье Луи Давермеля, который сначала бросил ее с четырьмя детьми, а теперь пытается отобрать у нее двоих, исподтишка настраивая их против матери. Считаю позором так угнетать мать, которая может служить примером нежности, мужества и преданности своим детям».

Довольная образцом своей прозы, завизированной преподавательницей испанского языка мадам Трембле, тоже разведенной, а также владельцами лавки скобяных товаров мсье Голоном и его супругой, помощницей мэра мадам Сентонж и президентшей Губло, ободренная сознанием, что у нее есть союзники, Алина была убеждена, что вскоре предоставит им возможность полюбоваться поражением Луи; она была очень оживлена: две пилюли помогали ей держаться в форме; наконец она дошла до памятника Беррье и шепнула своей свите, которая попутно проявляла ко всему туристско-познавательный интерес: *Это их патрон!* — а потом села рядом с одетой в траур матерью, с боязливым достоинством поглядывавшей по сторонам. Но вскоре Алина вскочила, произвела разведку до самых дверей комнаты, где ее дело будет слушаться только в пять часов; она увидела ряд спин, а за ними какое-то возвышение, на котором три человека склонились к кому-то невидимому со слабым, тонким голоском. Алина повернулась, дошла до входа в гражданский суд, прочла

какое-то сообщение Федерации судебных служащих и слилась с толпой. Луи должен быть где-то неподалеку, конечно, он привел с собой детей и ясно, что он их спрятал в этом лабиринте на случай, если суд будет грозить ему арестом. Пусть же в последний раз пользуется, ибо отныне он будет видеть своих детей всего лишь один час в месяц и обязательно в присутствии их матери; это все, что мэтр Гренд может ему сейчас предложить.

Алина глянула на скамью... Скорее! Там уже ждет мэтр Гренд, а вся ее свита рассеялась — ходят, смотрят. Мантия окутала мэтра Гренд почти целиком, скрыв ее до самой шеи; локоны, пудра, губная помада создают впечатление, что голова приставлена с других плеч. Мэтр Гренд вскакивает с места и обдаёт Алину холодным душем:

— Я спешила увидеть вас. Мэтр Гранса, как обычно, сообщил мне об имеющихся у него материалах. Должна сказать откровенно: вопрос далеко не решен.

Бабушка Ребюсто обеспокоилась и подошла.

— Моя мать!— представила ее Алина, проверяя содержимое ранца, но уже настроенная против мэтра Гренд, вдруг проявившей слабость, тогда как накануне она была готова драться хоть со львом.

— Я привела вам подкрепление,— сказала Алина.

Ранец перешел в руки адвокатши, и ее тесно окружили голубые платья Эммы и Флоры, серый костюм Жинетты, зеленый Анетты, линялые джинсы Агаты...

— Зачем столько народу!— сказала мэтр Гренд.— Разве я неясно объяснила? Процедура займет всего несколько минут, будет вынесено лишь предварительное решение и рассмотрены только временные меры до обсуждения дела по существу. Даже присутствие сторон совсем не обязательно. И говорить вам не придется.

Воцарилась напряженная тишина, слышны были лишь шумное шарканье ног и гуденье голосов. Мэтр Гренд открыла ранец и перелистала бумажки, с таким трудом собранные Алиной.

— Родня, соседи, лавочники... все ясно! — прошептала она с легкой гримасой.— Тут и президентша. И еще преподавательница испанского! Куда бы ни шло, если бы Роза была ее ученицей. Но, к сожалению...

Кружок сжался плотнее, взгляды семи женщин устремились на восьмую, одетую в адвокатскую тогу, которая создавала между ними как бы двойной барьер.

— К сожалению,— продолжала мэтр Гренд,— у них есть пятнадцать писем от Розы и Ги со штемпелями на

конвертах. Написаны они в течение последних десяти месяцев и содержат одно и то же требование — переменить опеку. И еще семь свидетельств учителей такого же характера. Кроме того, послание председателя Комитета надзора, который с января встречается с вашими младшими детьми. Затем есть заявление консультанта по социальным вопросам, направившей Ги на обследование в Центр по наблюдению за психически неполноценными детьми, где дежурный психиатр, выводы которого пришлось вам не по душе, Алина, был недоволен тем, что вы дали ему ложный адрес Луи, чтоб заключение не попало к отцу.

Теперь взгляды свиты обратились на Алину.

— Ну и ну,— сказала Анетта.— Вот в этом ты вся! Все портишь своими выходками.

— Не скрою от вас, что я нахожусь в затруднительном положении,— продолжала мэтр Гранд.— Единственный веский аргумент, который можно из всего этого извлечь,— это то, что тут нет предварительного намерения. Возможно, вы были не совсем в курсе дела, но вы не представили мне всех сведений, необходимых для того, чтобы вынести суждение. Теперь, когда я ими располагаю, хоть я и рискую вас разочаровать, хочу дать вам совет: пожертвуйте малым для спасения главного. Вести заседание председатель Латур, и мне кажется, трудно доказать, что шестнадцатилетняя девушка сама не знает, чего она хочет. А вот Ги только двенадцать, его еще могли окрутить. На мой взгляд, надо разчленить эти случаи. Розу оставить в покое — она, судя по всему, вполне определившаяся, сильная индивидуальность и будет причинять вам постоянные неприятности. Единственный ваш шанс — вернуть Ги. У нас еще есть минут пять, чтобы заключить с противоположной стороной соглашение.

— Но как я могу разделить их!— пролепетала Алина.

Хватит представляться скорбящей мадонной!— однажды в сердцах крикнул ей Луи. Она и вправду представлялась тогда. Но на этот раз Алина испытывала невыносимую муку, и никакого притворства не было. Оказаться скромпрометированной в присутствии верных сторонниц, собравшихся посмотреть, как будут карать этого злодея,— уже само по себе тяжело. Но потерять одного из Четверки, чтобы не потерять двоих, встать перед подобным выбором — это все равно что отсечь левую руку, чтобы сохранить правую. Все ее дамы, потрясенные, замерли от волнения.

— Я могу вас понять, Алина,— сказала мэтр Гренд.— Но судебный чиновник не рентгенолог, он не заглядывает в сердца людей. Приговор выносят, следуя фактам или по крайней мере их видимости.

— А вы уверены, что вас выслушают?— спросила Эмма, заметив, что никто не решается задать этот вопрос.

— Отнюдь нет,— ответила мэтр Гренд,— я прошупаю почву, хотя мне может грозить отстранение от дела. Мсье Давермеля ждет вызов в суд по нашей жалобе, а вот если я предложу ему в случае договоренности, что заберу ее обратно, может, он и соблазнится, захочет избежать риска, пусть даже самого незначительного.

— Незначительного!— воскликнула Анетта.— Но речь идет о похищении!

— Если предварительное решение будет не в нашу пользу, нашу жалобу признают необоснованной и сдадут в архив. Я узнаю...

Мэтр Гренд секунду выждала и, так как никто не решался ни одобрить ее, ни возразить, повернулась, прошла через зал, ее строгий силуэт в длинной мантии, из-под которой виднелись изящные туфельки, исчез в глубине галереи Купцов.

— Она знает, где дети,— сказала Жинетта.

— Не по душе мне такой торг,— добавила бабушка Ребюсто.

— А я-то наняла ее, уверенная, что она куда решительней, чем этот адвокатишка Лере!— простонала Алина.

Консоли с пальмовыми листьями славят свою эпоху, как и потолок с золоченой лепниной; места, где она отвалилась, во времена республиканской бедности украсились лишь голыми электрическими лампочками. Слева — три высоких окна во двор. Справа — гипсовая Марианна, а чуть подальше — большие настенные часы, идущие на две минуты вперед по сравнению с часами Алины, накануне выверенными по первой телепрограмме. Осталось всего человек пять-шесть любопытных — они склонились над металлическими перилами, идущими вдоль деревянной балюстрады, отделяющей адвоката и прокурора от судей, которые, словно церковные каноники, восседают в жестких дубовых креслах с высокими спинками. Клиенты, чье дело рассматривали здесь перед этим, и их судьи уже разошлись; весь клан Ребюсто уместился

на двух скамьях около окон. В затененной же половине не было никого; Луи даже не соизволил явиться; и только лицемерный мэтр Гранса обхаживал то председателя, который перелистывал дело, то помощницу — полную даму с шиньоном, занимавшуюся тем же, в то время как секретарь суда что-то бормотал словно про себя. Но вот примчалась мэтр Гренд в сопровождении кого-то из своих коллег и без обиняков сообщила о результатах переговоров:

— Мсье Давермель ни о чем и слышать не хочет. Он мне сказал: *«Ги доверился мне, разве я могу его предать? Что же касается вашей жалобы, то эти претензии смехотворны: вот уже более двух лет Агата саботирует встречи со мной. Алина фантастическая нахалка. Я бы уже двадцать раз мог потащить ее в суд.»*

Все происходило быстрее быстрого. В стороне, примостившись на каком-то сооружении вроде кафедры, помощник прокурора — молодой человек, лишенный растительности, с большим кадыком, — даже рта не раскрыл, даже ни разу не повернул головы, сохраняя величественную позу скучающего римлянина. Мэтр Гренд, гибкость мышления которой значительно уступала гибкости стана, весьма живо обменялась малопонятными замечаниями с мэтром Гранса, расположившимся внизу, под тем местом, где сидел в кресле председатель, и нос адвоката, таким образом, находился как раз на уровне сооружения, которое на судебном жаргоне прозвали прилавком. *«Есть ли возражения? Возражений нет? Почему мэтр Гренд против? Когда приступим к существу дела?»* Алину сковало чувство, что она здесь пришлая, чужеземка, не знающая ни местного наречия, ни местных обычаев, она ощутила, как все реальное тонет в словах и чернилах, ей казалось странным, что она зависит от словесной битвы, в которой не может принять участия.

Но председатель взмахом руки попросил тишины и дал слово истцу; мэтр Гранса на этот раз без всяких замечок и обычных адвокатских приемов, даже не сойдя со своего места, в тоне непринужденной беседы приступил к краткому изложению дела:

— Что может быть проще, господин председатель! Супруги разводятся, а детей, не спросив их мнения, поручили матери, даме весьма почтенной, конечно, но тут же поставившей себе целью сокрушить авторитет отца. Двое старших — мать им покровительствует, — несмотря на требования и жалобы отца, вскоре решили не ходить

к нему, но мы не будем их осуждать. А младшие более эмоциональные, возмущаются тем, что отца постоянно бранят и поносят, хотя он выполняет все свои обязанности — регулярно встречается с детьми, платит алименты, добровольно увеличил их сумму. И вот эти дети страдают, у матери они на плохом счету, их вечно отчитывают за преданность отцу, они замыкаются в себе, успокаиваются, лишь когда приезжают к отцу, мечтают, чтобы эти встречи длились подольше, и в конце концов требуют, чтоб опеку над ними передали отцу. Это желание считают вполне обоснованным семь преподавателей, врач-психиатр, председатель Комитета общественного надзора. Что еще можно добавить? Отец вторично женился, хорошо обеспечен, доходы его возрастают. Намерения младших детей вполне определились, они естественны, на детей не оказывается никакой давлению. Вы это сами могли констатировать, господин председатель...

Гранса церемонно поклонился, сел и слегка улыбнулся. Председатель нагнулся к помощнику справа и сказал: *Да, я принимал детей у себя в кабинете!* Мэтр Гренд, вернувшаяся было на свое место, обернулась и растерянно посмотрела на него. Ауденция, которую дали детям, сама по себе не являлась секретной, но, поскольку она не занесена в протокол, не может фигурировать в деле. Однако сомнений нет: козырной туз бит, всякая болтовня по поводу того, что мальчика прибрали к рукам, теперь совершенно неуместна — ведь сам председатель убедился в обратном. Остается одно: громить отца, обрушиться на его недостойное поведение. Жаль, что одна из дочек сидит вместе с матерью тут, в суде; не надо было приводить ее, а как теперь заставить ее выйти? Мэтр Гренд встала, громко начала свою речь, излагая претензии в желчном, придирчивом тоне.

— Мы понимаем настоящую цену желания этих детей уйти из дома, детей, посмевших притащить свою несчастную, угнетенную жизнью мать сюда, в суд, господин председатель! И мы знаем также, что оно должно было диктоваться желанием другого, который терпеливо добивался этого. Но я хочу поставить главный вопрос: отбирая этих неблагодарных детей у их безупречной матери — а о ней даже мой коллега не пожелал дурно отозваться и имел на то основание, — кому же, я вас спрашиваю, кому вы решитесь доверить их воспитание? Мсье Давермелю? Этому закоренелому бабнику, пятьдесят, а может, и сто раз обманывавшему свою жену, потребовавшему

развода, чтобы жениться на любовнице, которая, если вы будете поддерживать необдуманные требования Розы, заменит детям родную мать, видимо, чтобы передать свой опыт девочке-подростку? Когда мы представляем себе, какую богемную жизнь, характерную для среды художников, собирается предложить своим детям этот безнравственный отец...

Именно этот момент безнравственный отец избрал для своего появления: он вошел, вежливо кивая по пути, на цыпочках, но туфли его все равно поскрипывали. А мэтр Гренд продолжала свою отповедь — такую длинную, такую неистовую. Председатель слушал ее, барабая пальцами по папке, немного наклонив голову, оглядывая всех и все примечая: преувеличенное возмущение на лице мэтра Гранса, откровенную усмешку Луи, смущение Агаты, открывшиеся от упоения рты мадам Ребюсто-матери и мадам Ребюсто-дочери, словно они вкушали мед. Наконец мэтр Гренд высказала свою полную уверенность в том, что суд не совершит серьезной ошибки и не заберет юных Давермелей у матери, чтобы передать мачехе, и не лишит их хорошего примера, заменив дурным, а разумную материнскую требовательность — легкомысленным отношением к воспитанию. Затем она потребовала оставить в силе status quo¹ и еще раз сказала о некомпетентности. После чего села на свое место, и все присутствующие очнулись, начали шептаться, слышно стало, как заскрипела половица, защелкали замочки дамских сумочек, кто-то шаркнул по полу. Мэтр Гранса, которому по правилам уже не полагалось выступать, делая вид, что он обращается к мэтру Гренд, громко, чтобы было слышно во всем зале произнес:

— Сожалею, дорогой друг, что за недостатком аргументов вы сочли возможным клеветать на отца в присутствии его дочери и повторили те самые лживые сплетни, которые Роза и Ги не хотят больше слушать...

— Протестую!— завопила мэтр Гренд, подскочив, как на пружинах.

Раздались три легких удара рукой по «прилавку».

— Я попрошу вас, мэтр!— сурово оборвал их председатель, не уточняя, к кому именно он обращается.

Заседатели склонились друг к другу и принялись тихо

¹ Существующее положение (лат.).

переговариваться. Послышался шелест бумаги. Палец дамы с шиньоном уперся в какой-то абзац: видимо, она не возражала, но что-то дважды пометила в тексте — документ, наверно, был заранее подготовлен или списан с другого. В зале уже почти никого не осталось. У металлических перил зевал какой-то старик. Уходящий день отражался в шестидесяти окнах, время тянулось томительно, за дверью, около которой маялся дежурный, уже затихал обычный в суде гул. Минуты три мэтр Гранса шептался с истцом, мэтр Гренд — с ответчицей и ее свитой; оба клана были одержимы одной и той же надеждой.

— *Мы, председатель суда, а также мэтр Гранса — адвокат Луи Давермеля и мэтр Гренд — адвокат Алины Ребюсто...*

Чтение судебного постановления началось без предупреждения. Все обратились в слух. Председатель читал очень торопливо, и чем дальше, тем невнятной. Иногда он останавливался, чтобы что-то подправить в тексте, затем продолжал, все ускоряя темп. И вот чтение превратилось в сплошное жужжание, в котором местами повторялось: *принимая во внимание, что*, и каждая из сторон пыталась усмотреть свою победу в благоприятном для себя аргументе, который тут же ускользал от них, как при радиопомехах. Вдруг прозвучала фраза, намеренно громко произнесенная, чтоб ее все заметили:

— *О КОМПЕТЕНЦИИ. Принимая во внимание, что органом, наиболее компетентным, является высшая судебная инстанция, мы тем не менее ввиду неотложности вопроса позволяем себе вынести решение...*

Первое поражение мэтра Гренд! И сразу следует второе:

— *ОБ ОПЕКЕ ДЕТЕЙ. Принимая во внимание, что Роза проявила достаточную рассудительность и обосновала свои намерения; принимая во внимание, что Ги нельзя разлучать с сестрой, чувства которой он разделяет, следует обоим доверить попечению их отца не в силу какого-либо неблагоприятного поступка со стороны мадам Ребюсто, а по причине ее беспомощности как воспитателя...*

Несомненно, это смягчение в конце было сделано по настоянию дамы с шиньоном. Мэтр Гранса легонько толкнул логтем своего клиента. Клан Ребюсто походил на учеников Христа, оставшихся верными ему и после снятия с креста. Мэтр Гренд с обиженным видом собирала бумаги, запихивая их в свой портфель. Помощник проку-

рора на кафедре делал то же самое. Только секретарь суда все еще поскрипывал пером. Традиционная формула завешала постановление.

— УЧИТЫВАЯ УКАЗАННЫЕ МОТИВЫ, считаем себя вправе вынести следующее решение: с настоящего времени опека Розы и Ги доверяется их отцу, Луи Давермелю; оговаривается, что мадам Ребюсто вправе посещать детей или брать их к себе во второе и четвертое воскресенье каждого месяца...

Обмен! Права, которые имел прежде Луи, теперь получила Алина, и наоборот. Документ также гласил, что *настоящее постановление утратит силу, если Луи Давермель не вступит в свои юридические права и не осуществит их на деле в течение месяца, начиная с сегодняшнего дня.* Постановление заканчивалось витиеватой юридической казуистикой: *Подлежит исполнению, согласно букве постановления, невзирая на апелляцию и даже до регистрации, ввиду срочности.*

Те, кто сидел около окна, проиграли; те, кто находились рядом с часами, выиграли. Мантии повернулись и поплыли через маленькую дверь, расположенную за кафедрой.

— Ах, какой стыд! Сколько же им заплатили?— шипит Алина, а мэтр Гренд, увлекая ее, приговаривает:

— Так ведь это только предварительное решение, мы будем апеллировать.

Победитель прошел совсем близко, под убийственными взглядами побежденных. Он в нерешительности замедлил шаг.

— Да ну иди же!— воскликнул Гранса, потянув Луи за рукав.— Что бы ты сейчас ни сказал, только подольешь масла в огонь.— Пройдя еще несколько шагов, он добавил:— Кстати, не забудь отправить мне чек.— Еще через тридцать шагов он стукнул себя по лбу:— Только сейчас вспомнил! Четвертое воскресенье ведь послезавтра, двадцать третьего июня. Конечно, детям это мало приятно, но им крайне необходимо пойти на свидание к матери. Проследи за этим! Если дети не появятся у нее, то для судебной апелляции и решения вопроса в целом у Алины будет лишний козырь против нас.

— Значит, никогда это не кончится!— вырвалось у Луи.

Ее стесняло не то, что она сидела нагая на краю кровати наедине с нагим волосатым мужчиной — у него колючий подбородок, серые с металлическим отливом глаза. После любовных ласк бывает такое состояние благодати, когда тело как бы превращается в изваяние, нагота становится гораздо целомудреннее и пристойнее, чем нетерпеливость жестов при раздевании. Даже сама эта комната, отличающаяся строгой изысканностью — с ковром, с двойными занавесями, с не пропускающими звуков стенами, — казалась Агате более невинной, чем номера в случайных гостиницах, где она бывала некогда с Марком, который так старался заполнить у портье листок только на себя; надо сказать, он не давал ей повода сожалеть об этих мелких злоупотреблениях девичьим доверием, даже когда впопыхах, быстро и опасливо они бросались на диван — на диван Ги, если случалось, что никого не было дома. Ужасно то, в чем ей сейчас признался Эдмон, то, что он только что ей сказал. *В такой момент.*

— Если мама узнает, она просто с ума сойдет! — сказала Агата.

Да, ужасно, что она, Агата, в сущности, повторяет опыт Одили. Причем с тем пылом, который обычно затмевает первое увлечение. Нет, тут ни с чем сравнивать не приходится; ведь до сих пор, чтобы выдержать родительские распри, чтобы укрыться от их ссор, чтобы иметь хоть кусочек личной жизни, у Леона был стадион, у Розы — книги, у Агаты — мальчики. Но то, что присходит теперь, много серьезней.

— Да ну, — говорит Эдмон, — твоя мать сумеет тебя понять как надо. Ведь и она прошла через это.

— Тем более она сочтет это недопустимым, — говорит Агата. — В течение многих лет у нее в личной жизни большие неурядицы. А я собираюсь еще добавить.

Широкая ладонь Эдмона — на пальце у него сверкает перстень с квадратной печаткой — берет Агату за плечо, опрокидывает ее навзничь, и восемьдесят килограммов обрушиваются на ее пятьдесят. Но на этот раз волосатый малый, знающий свою власть над ней, использовал свой вес лишь для того, чтобы удобнее слушать.

— Говорят, что я за мать заступаюсь,— шепчет ему Агата,— но я начинаю понимать и отца!

Эдмон приподнялся, оперся на локти, сжал ладонями ее маленькие груди.

— Все еще может наладиться,— говорит он.

Но ее странные глаза, не голубые, не фиолетовые, потемнели, рот полуоткрылся, обнажив мелкие, хищные зубки, и Агата восклицает:

— Только ничего не налаживай! Нам и так хорошо.

Теперь потемнели серые глаза Эдмона. Сказать мужчине, что не желаешь выходить за него замуж, даже если он сам этого не слишком хочет, даже если он сам не может на это пойти,— значит, его растревожить. Агата вывернулась, протянула длинную белую руку, подцепила лифчик и прошептала, застегиваясь:

— Я же не говорю, что не хочу с тобой жить. Но когда любовь скрепляют штампом на документе, я знаю, что это дает.

23 июня 1968

Роза и Ги в ожидании чувствовали себя беспокойно. Перед тем как отправиться голосовать, отец сказал им твердо: *Будьте с мамой милы — мы должны теперь вести себя с ней так, как ей надо было раньше вести себя с нами.* Но Роза, еще накануне переехавшая в Ножан, не удержалась и сказала: *Это совсем как в пинг-понге: когда стороны меняются местами, игра продолжается, а вот мячиком всегда служим мы.* Она уже принарядилась и, поглядывая на большую стрелку электрочасов, приближавшуюся к цифре IX, громко считала:

—...семь, шесть, пять, четыре, три, два, один, ноль!

— Стоп!— крикнул Ги и нажал на кнопку переговорного устройства, так как раздались два звонка.

В трубке послышалось какое-то кудахтанье, за которое их мать и получила свою кличку, а затем жесткая фраза, посланная в пространство тому, кто услышит:

— У вас осталось всего две минуты, отправляйте ко мне детей.

— Мигом, ребята!— крикнула сверху Одиль.— Там еще какая-то машина остановилась, и в ней кто-то сидит. Наверняка судебный исполнитель.

Был ли это судебный исполнитель или просто услужливый сосед, завербованный в качестве свидетеля, но он уже удрал, не дождавшись. Встреча была ледяной, причем самое неприятное, что лед этот начал таять. Розу и Ги целовали по другую сторону садовой решетки, как сироток на кладбище: мать и бабушка молчали, только плакали. Детей усадили в машину на заднее сиденье. Мать внимательно следила за ними в зеркальце заднего вида, и только когда машина остановилась перед бензоколонкой, где она ее обычно заправляла, чтобы долить двадцать литров бензина, Алина прошептала, поднимая ветровое стекло:

— Вот видите, вам все-таки надо встречаться со мной. Муж может бросить свою жену, но ребенок не может бросать мать.

— Алина!— шепнула бабушка Ребюсто.— Ведь это не по их вине.

Автомобиль проехал мимо школы, перед которой пестрели предвыборные плакаты, и остановился около магазина скобяных товаров, куда Алина зашла купить скребок для пола. Она вышла оттуда вместе с мадам Голон, и та, остановившись на пороге, принялась разглядывать сидящих в машине, пока Алина забежала в колбасную; хозяйка колбасной была занята, но все же, вытянув шею, тоже подошла к витрине. И наконец, уже в самом доме, проходя мимо комнаты привратницы, Роза окончательно убедилась, что мать посвятила в свои дела четырех или пятерых человек, имевших весьма расплывчатое представление о праве на встречи с детьми, в надежде, что они будут потом говорить:

Ну разве я не права была, мадам? Ей уже вернули деток. Я сама их видела сегодня утром с матерью.

— Вот вы и снова у нас, мадемуазель Роза!— сказала привратница.

— Только два раза в месяц,— ответила Роза,— так же, как прежде бывала у папы.

Алина, стараясь сдержаться, быстро прошла к лифту. По ее скупым жестам, как и раньше по ее слезам, Роза поняла, что мать даже в ярости продолжала любить своего бывшего мужа, связанного теперь другими узамы,— в этом Роза не могла сомневаться. Она не сомневалась и в том, что мать продолжала любить свою дочь, хотя эта дочь не оказала ей предпочтения. Когда родители разводятся, разве дети виноваты, что они вынуждены участвовать в разводе? Разрываясь между двумя привязанностями, разве не вынуждены они огорчать одного,

чтобы сохранить другого? Агата сделала свой выбор. Все равно ведь будешь виновата, так лучше уж следовать собственному выбору, надеясь, что в будущем тебе не придется стать перед подобной дилеммой. Когда они вышли из лифта, Роза, не совладав с собой, бросилась матери на шею, и Алина разрыдалась.

И тут же Алина стала прикидывать, строить планы. Еще не все пропало. На чем же основывалось это хоть и предварительное, но такое скандальное решение? Якобы на желании самих детей, высказанном этому судье-женоненавистнику, которого во время апелляции, возможно, заменит другой, менее пристрастный и придерживающийся буквы закона. Достаточно одного доказательства, подрывающего этот якобы добровольно сделанный детьми выбор, чтобы все поставить под сомнение; к примеру, несколько строчек, где дети заявляли бы, что очень любят маму, очень любят папу и не могли отказать ему, когда он предложил им переписать письма, которые он составил. Один из родителей науськивает детей на другого — ну не война ли это? Надо будет еще решить эту проблему с комнатами. Старшие ее союзники проявили себя настоящими эгоистами, из-за них Алине придется пренебречь своими интересами и удовольствоваться диваном в гостиной, а собственную комнату разделить на две каморки, благо два окна позволяют это сделать. Но и этого может оказаться мало: необходимо обласкать Ги, привязать к себе Розу. Алина всегда стремилась прежде всего угодить старшим, получше устроить их, хотя они все больше отходят от семьи, тогда как для матери предметом самых нежных забот должны быть именно младшие, которые долго еще будут от нее зависеть. Их и надо вновь привлечь к себе и суметь удержать... Но как? Как? Если вам не хватает жилья. Если вам не хватает денег. Если вам не хватает законов, доказывающих вашу правоту. И не хватает хладнокровия. А все потому, что не хватает счастья, самого обычного, самого необходимого, власти матери, вскормившей своих детей, а это такая сила, которую редко может победить постель.

Агаты дома не было: она провалила экзамен — еще одно огорчение! — и решила утешиться, отправившись праздновать первый университетский успех Леона; отмечалось это в доме у Соланж; она тоже сдала экзамен и была принята. Впрочем, они могли бы все это отпраздновать и у Алины, которая очень радовалась, что Леон

избрал отвергнутую его отцом карьеру фармацевта, видя в этом какую-то замаскированную обиду для Луи. Отсутствие старших давало большой простор младшим. По крайней мере так казалось. Но Роза и Ги были не в своей тарелке. Они неприкаянно бродили по комнатами — и впрямь пришли в гости, уже совсем позабыв обо всех своих делах, без особой охоты к ним вернуться. Платице Розы, костюм Ги делали их тут совсем чужими. Роза на минутку забежала к себе в комнату, заметила, что ее книги, безделушки, одежда — за исключением того, что присвоила себе Агата, — были в беспорядке сброшены в большую коробку; девочка вернулась в гостиную, не выразив никакого протеста.

— Послушай, приласкай их, чем-нибудь позабавь, не оставляй одних! А я займусь остальным, — шепнула на ухо дочери растерянная бабушка Ребюсто.

Но Роза и Ги уселись у края стола, решив поиграть в слова. Алина присела к ним, дети молчали, и она включилась в игру, упорно ища почву для сближения хоть в какой-нибудь фразе.

— Ну вот, смотрите-ка: ВОЗВРАЩЕНИЕ — а ты не догадалась? — спросил Ги.

— Да нет, догадалась, — ответила Алина, — и если ты выбрал именно это слово, а не другое, поняла, что и ты думаешь о том же.

Намек был ясен, он сопровождался нежными словами, знаками внимания: *Ну, мои дорогие, чем мы полакомимся? Может, запеканкой с черносливом?* И так как Ги любил икру кефали, а Роза обожала кровяную колбасу, это странное меню было принято и заказано бабушке, которая тут же специально отправилась за покупками, несмотря на больные ноги. Роза и Ги начали понемногу смягчаться и с раскаянием поглядывали друг на друга, но сразу после кофе началось великое стенание: *Ну скажите откровенно, мои дорогие, разве вам так плохо дома, у мамы? Вы поняли, как огорчили меня? Неужели вы на самом деле решили уйти от меня — ведь у меня нет никого, кроме вас, уйти к отцу, где вы будете мешать его новой семье? Я столько лет о вас заботилась, а теперь потеряю вас обоих?* И пошло: когда она рожала Розу, пришлось накладывать щипцы; Ги, когда был малышом, любил соски только фирмы «Гигоз», у него был какой-то бесконечный коклюш, столько пришлось провести бессонных ночей, а операции — она была совершенно изнурена родами, но все доставляло мне радость, раз у меня были

вы, а вот ваш папочка, не буду его осуждать, да вы сами об этом прекрасно знаете, проводил время в свое удовольствие. И наша прекрасная семья распалась. И нет уже нашего чудесного дома. И кончилась счастливая жизнь, все это правда, но разве я в этом виновата? А ваше необдуманное бегство? Пять дней я жила в таком страхе! А этот чудовищный процесс, который затеян от вашего имени и о котором вы уже сожалеете!

Да, они сожалели, но не о своем отъезде, а об этих последствиях, этой тоске, потоке слез, который становился все сильнее, захватил бабушку, и теперь они обе утопали в слезах. Роза однажды слышала, как отец ответил Одили, посоветовавшей ему откровенно поговорить с Алиной: *Это с ней-то? Нет, я не смогу. Ты не знаешь всей силы дакриореи*¹. Роза поискала это слово в словаре и сочла отца жестоким. Говорят, кто легко проливает слезы, тот недолго страдает. Но все же страдает. И чтобы прекратить этот поток, чтобы не испытывать к себе отвращения, ибо вы — причина слез, вы готовы растаять, утешить, согласиться с чем угодно.

— Если бы тут был ваш отец, он понял бы, что убивает меня.

Алина закрыла лицо руками, начала икать, но сквозь пальцы все же подглядывала на Розу и Ги.

— Только вы могли бы убедить его...

Убедить — но в чем? Роза заметила в шелку меж указательным и средним пальцами блестящий взгляд, исподтишка устремленный на нее. Алина сочла, что дочь уже сдалась и настал подходящий момент.

— Впрочем, лучше написать несколько слов... Я уже об этом не раз думала.

На маленьком столике лежат фломастер и школьная тетрадка со спиральной провололочкой; в тетрадке проставляли очки, играя в слова. Глаза у Алины были еще красны от слез, но она настрочила что-то и протянула тетрадку Розе:

— Вот что я предлагаю... Вы перепишите это, и оба потом подпишетесь.

Ги, который стоял за спиной у сестры, уже успел прочитать написанное. Искоса посмотрел на мать. Но Роза ни на кого не смотрела, опустила голову и углубилась в чтение, поставив на стол локти, словно усердно

¹ Обильное слезотечение.

изучала что-то, лицо ее оставалось непроницаемым. Это замкнутое лицо одержимая надеждой Алина не узнала. Бабушка Ребюсто с нескрываемым ужасом смотрела то на дочь, то на внучку.

— Дай мне минут пять,— медленно произнесла Роза.— Нам с Ги надо подумать.

Не спеша она направилась в свою прежнюю комнату, вошла туда очень спокойно, захватив с собой тетрадь, фломастер, потом позвала Ги, ничего не разъясняя ему, и закрыла дверь. Алина была удивлена, что ей не ответили сразу, но не осмелилась следовать за Розой.

Но уже там, за дверью, Роза собралась с мыслями и стала непримиримой.

— Ты, конечно, не станешь это подписывать? — взволновался Ги.

— А ты как думал!— ответила Роза со странной улыбкой, грустной и вместе с тем твердой.

Был лишь один выход, наиболее радикальный, но и самый неприятный; однако не разрешить этой проблемы сразу значило при каждой встрече снова сталкиваться со слезами, всевозможными уловками, с нажимом. Когда нормальной семьи нет, надо уметь вести себя с должной твердостью, делать так, как никогда не позволила бы себе, если бы отец и мать сами не были главной причиной этого ужасного раскола. Роза вырвала из тетради листок, сложила его вчетверо, потом в восемь раз и сунула глубоко в вырез платья, за лифчик. Затем она вырвала другой, чистый, свернула его в трубку и при помощи зажигалки Агаты, любившей иногда покурить, подожгла бумажку.

Именно этот крохотный, осыпающийся факел увидела Алина, внезапно толкнувшая дверь: больше дожидаться ей было не вмоготу. Наполовину сгоревшие бумажные хлопья взлетели в воздух. Роза отряхнула руки.

— Нет,— сказала она,— мы не можем подписаться под этим. Мы обо всем расскажем отцу. Будь логичной, мама, ведь ты же обвинила папу в том, что он диктовал нам письма и заявления, а сейчас сама начала с этого.

Габриель пришел во время ужина, чтобы обязательно заставить дома Луи, но тот еще не вернулся. Одиль подавала еду падчерице, затем пасынку, вливала кашку во влажный ротик Феликса, вскакивала, чтобы перевернуть омлет, и порой ухитрялась сама проглотить кусочек, но все еще не могла выйти из кухни, чтобы посидеть с Габриелем; она объяснила ему, что два дня из трех Луи занят портретами — ему позируют после работы, поэтому он часто освобождается очень поздно, часов в девять-десять вечера.

— Как я понимаю, он гонится за монетой,— сказал Габриель.

— А как иначе?— заметила Одиль.

Лицо у нее осунулось, глаза запали — явные следы переутомления, хотя она не признается даже самой себе, как тяжела ей такая перегрузка.

— А как иначе?— повторила она.— Нас ведь теперь пятеро, и мне нельзя пойти работать. Мадам Ребюсто вынуждает нас уже целый год непрерывно судиться с ней. Четыре процесса! Какую тьму денег нам пришлось оставить в суде — в три раза больше того, что мы тратим на летний отдых. Да еще алименты, ежегодные взносы за дом и прочее; мы уже не в состоянии сводить концы с концами. Я не понимаю, как самой Алине не надоел весь этот цирк.

— Она уже истратила ту небольшую сумму, которая ей досталась при разделе имущества, а доход с этой суммы помогал ей оплачивать квартиру,— пояснил Габриель.— Бедняжка исчерпала почти все свои средства.

— Я ее пожалею, когда у меня будет время,— сказала Одиль.— Извините, пойду укладывать маленького.

Этот толстый шарик, с четырьмя лапками, весь в теплой шерсти, урчит, сбивает с себя все, чем он укрыт, уже слегка реагирует на щекотку, а крутит головой так, будто хочет просверлить дырку в подушке. *Киска моя, душенька, милушка, зверушка*, — шепчет Одиль, щедро расточая нежные словечки, которые ласкают воздух, как поцелуи кожу. За полтора года ее пальцы привыкли нежить ребенка и мужа, то того, то другого, и все это вполне согласуется, хоть одно другого не заменяет. Вот

наступил чудесный миг: укладывание в колыбельку, погружение в сон; лежит себе там, будто у нее в чреве. Одиль задерживается в детской. *Знаешь, если б дети Алины были в твоём возрасте, я бы, пожалуй, лучше ее поняла. Но зачем же с такой яростью судиться с нами из-за своих недорослей!*

Феликс уже закрыл глаза. Теперь видны веки и длинные-длинные ресницы, трепещущие на его шарообразных щечках. Каждый вечер вместо колыбельной песенки этому маленькому соне можно исповедоваться, доверять все, что переживаешь за день. *Ты слышал? Она уже исчерпала все свои средства, эта самая дамочка. Ты сейчас скажешь, что тебе все это безразлично, что она тебе никто. Ошибаешься, мой дорогой. Если бы папочка внезапно скончался, то эта самая дама, которая тебе никто, тут же потребовала бы свою часть из твоего наследства. Не очень-то приятно, а? Она намерена выжать из нас все, что можно.*

Он уже спит, этот крохотный посапывающий человек, зарывшись носиком в плюшевого ягненка с застежкой-«молнией», который прежде был футляром для детского рожка с молоком, а потом стал самой игрушкой. Сегодня Одиль задержалась здесь дольше, чем обычно. Она погасила свет, оставила только едва светящийся ночник-цветок. Она притихла, она о чем-то раздумывает. Если Габриель пришел сделать какие-то выводы, надо ему хоть немного в этом помочь. Она подводит итог. Он весьма устрашающ.

Состоялось решение: мы выиграли. И благодаря этому выигрышу новая мадам Давермель приобрела еще две кровати в своем доме, еще две стирки, починку еще для двоих, еще два прибора в столовой. Двоих детей без всяких документов, без справок о здоровье, без метрик, без одежды, без книг, потому что мадам Ребюсто отказалась надеть их всем необходимым и стремилась, чем удастся, затруднить, замедлить переселение детей, дабы подольше получать на них алименты. Она, конечно, снова подала на апелляцию, и, естественно, Луи тоже обратился к судье. И вот еще один чек для адвоката Гранса, а за ним еще два!

Феликс повернулся на другой бочок, Одиль его снова укрыла. Лишь бы потянуть подольше, лишь бы подольше. Есть же люди, умеющие тянуть волюнку. Мадам Ребюсто имела право взять детей на июль. С Розой у нее не ладилось, и мать пристроила ее на каникулы в какую-то славную семью в Англии, где девочка однажды уже жила,

а после этого их дочка с Розой переписывалась. Оплатил поездку Луи. А мадам Ребюсто всецело занялась Ги, изолировала его, увезла в Порник, не разрешила писать отцу, скрывала от мальчика письма, которые ему слали, изводила его своей предупредительностью, сладостями, катанием на морском велосипеде, мобилизовала все свое окружение — бабушку, теток, Агату, Леона и даже их друзей (и подружек). Осада совершенно неистовая, и этот коварный малыш, который не так уж глуп, конечно, воспользовался ситуацией, чтоб заполучить себе новый велосипед, надувную лодку, фотоаппарат; впрочем, его обязали после переезда к отцу оставить все эти чудеса в квартире матери.

Все делалось наперекор. Или почти все: три жалкие открытки, написанные в минуты восторга по стандартному образцу, были отсланы: две — учителям (свидетельство учителя всегда пригодится в суде) и одна — дочке Эммы Вальду, маленькой Флоре: *«...Я так доволен, что поехал с мамой в Порник, она очень добра ко мне»*. Все эти письма, конечно, попадут в папку судебного дела. И конечно, в судебном досье соперничающей стороны тоже появится открытка — Ги отправил ее потихоньку, к тому же без марки, за что почта взяла плату с адресата: *«Меня тут очень донимают. А что, если я сбегу? Ты тогда не захочешь меня забрать к себе?»* (Ну и ловкач! По совету отца он выучил наизусть эту строчку на случай, если...)

Время идет. Наверно, пора спуститься вниз к Габриелю. Он приличный парень, этот Габриель. Не захотел пойти в свидетели ни к Луи, ни к Алине. Жаль, что он помешал Луи предъявить суду ту страничку из тетрадки, которую Роза привезла из Фонтене, целиком написанную рукой Алины, — ведь это было явное доказательство давления на дочь. Габриель кричал: *Ты хочешь совсем рассорить мать с дочкой!* Конечно, он был прав. Но как остановить эту страшную машину, зубья которой уже вцепились буквально во всех! А время шло. Восьмого августа Луи получил своих детей и отправил их в Комблу; более дальновидный, чем мадам Ребюсто, он заставил детей аккуратно писать матери и снимал фотокопию с каждого письма (отправляемого обязательно заказной почтой), чтобы Алина не могла сказать, будто она ничего не получала. Пятнадцатого числа Роза написала своей английской подружке, удивленная тем, что та к ней не приехала, как было уговорено, недельки на три в горы.

Неделю спустя пришел короткий ответ: *«Извини меня, приехать не смогу. Я написала тебе в Фонтене, чтобы поточней условиться о сроках. Но твоя мама обратилась прямо к моему отцу и отсоветовала ему посылать меня в «подобную среду, так как она сама глубоко огорчена, что в этом окружении живет ее собственная дочь».*

Вот и еще один документик, годный для папки с судебным делом! В ту же папку после возвращения из Комблу попадут еще две экспертизы детского психиатра — они были на этот раз оплачены и выглядели весьма убедительно. Безумно встревоженная мадам Ребюсто вновь пыталась договориться со своим прежним адвокатом Лере (сведения получены от Ги). Но тот отказался. Тогда Алина все оставила мэтру Гренд, но привлекла ей на подмогу одного судейского краснобая — мэтра Флокосте. Тем не менее одиннадцатого сентября он не сумел отстоять апелляцию; а чтобы выгородить себя, дал прочесть Алине ее собственное сочинение. Алина рассвирепела: *«Не хочу больше видеть Розу!»* Но это только на словах: выгнав Розу из дому во время первого после этого свидания, Алина побежала в полицейский комиссариат с заявлением, что дочь уклоняется от встреч с нею. Впрочем, этого адвокат ожидал заранее (рыбак рыбака видит издалека). В следующий раз Розу отправили к матери в сопровождении судебного чиновника, который пристроился на лестнице и мог лично констатировать, как поносила свою дочку мамаша, полагая, что эта брань останется между ними; затем она снова выгнала Розу, а Ги оставила у себя.

Так еще одна бумажка была положена в папку судебного дела, которую Гранса добавил к двум предшествующим для нового рассмотрения. Еще одно рассмотрение, зачем? Так получается. Оба предварительных решения — одно, подтверждающее другое, — пока мало соответствовали окончательному решению, как почка соответствует листу или любовь — верности. Мэтр Флокосте обходным путем добавил к главному требованию еще требование о повышении алиментов, расследовании доходов, ревизии всех счетов, блокировки любого денежного вознаграждения, полагающегося мсье Давермелю. Прошли четыре долгих месяца; за это время Ги сновал, как челнок, то туда, то обратно между родителями; мать баловала его, но заставляла разведывать намерения отца в Ножане, отец же расспрашивал о том, какие козни готовит мать в Фонтене. Мэтр Гранса парировал требования противни-

ка жалобой со стороны Луи, что старшие дети саботируют встречи с отцом, что они стали буквально невидимками, и, пока эта жалоба шествовала по судебным инстанциям, дело 14 марта докатилось до Второй палаты. Какая была великолепная потасовка! Вереница свидетелей вызывала смех, ибо одни клялись, что говорят только правду, а другие сразу же опровергали ее и называли ложью. Ухищрения мэтра Флокосте имели меньший успех у судей, чем у его коллег, облаченных в мантии. *У Алины есть одно приятное свойство: она принимает за чистую монету словоизлияния в суде!* — изумлялся Гранса, выходя из зала. Решением судей — а оно было вынесено неделю спустя при закрытых дверях — Гранса остался недоволен: Алине опять отказали в праве опеки над младшими детьми, но она добилась повышения алиментов на пятнадцать процентов и тут же немедленно обратилась с апелляцией.

И все это тянулось и тянулось... Гранса решил произвести разведку — нельзя ли положить дело под сукно. Чем дольше будет тянуться процесс, тем менее склонны будут судьи пересматривать принятые решения и снова перебрасывать детей, уже обосновавшихся в отцовском доме и перешедших в другой лицей. Но хотя Алине удалось выцарапать все, что она могла, и теперь она судится явно без надежды на успех, она же упорствует и орет на мальчишку, требуя, чтобы Ги занимался постоянными доносами: *Ну, как там справляется ваша новая нянька? По душе ей это занятие? Или же совсем напрямик: Ты им как следует объясни: буду воевать до конца. Они у меня подавятся своей новой лачугой!*

Безумие. Чистая бессмыслица. Вся семья Милобер в этом единодушна: *Наш зять слишком мало озабочен покоем в семье. Нельзя строить будущее на прошлом.* (Изречение отца.) Хозяева книжной лавки были правы. А как думает Луи, разве легко возиться с его очаровательными детишками? Замечает ли он, что привычка во всем противоречить матери отнюдь не сделала их кроткими ангелочками — теперь расплачиваться приходится маме! Занятый только своей живописью, отделяющийся нежными словечками, замечает ли он тяжкие перемены в доме, бесконечные разногласия, которые трудно переносить, трения, постоянное раздражение; взяты хотя бы эти недовольные гримасы, когда на стол подается отличное мясо с кровью — оказывается, в семье Ребюсто такого

терпеть не могли, любили пережаренное. Допустим, в каждом доме все делается на свой лад, с этим можно примириться. Но если в Фонтене главой дома считали только мать, надо ли, чтобы здесь, в Ножане, согласно этому принципу, единственным авторитетом стал отец? Семья двуглава, зачем же лишать ее одной головы? Без конца бегать в суд, непрерывно защищаться, чтобы потом опять уступать,— все это осточертело до крайности! Одиль знавала одну беспутную девицу, которая при каждой неудаче убеждала себя, что помогла восстановить семью, из-за нее чуть не распавшуюся. Но Одиль знала и другую женщину, готовую пожалеть себя и высказать, что она думает о втором браке некоего папаши, о радости бесконечных тяжб с предшественницей, и о том, что счастье двоих померкло из-за потомства этой предшественницы, и о том, что она уже грезит о счастливым времени, когда они смогут остаться втроем. Если Луи закрывает на это глаза, то, пожалуй, неплохо открыть их Габриелю.

Одиль склонилась над кроватью Феликса, вдохнула запах кислого молока, одеколона, детского крема, мягко поднялась со стула и исчезла в тени коридора. С лестницы она услышала два мужских голоса. Оказывается, Луи вернулся — она этого не знала — и что-то там обсуждал в присутствии весьма внимательно слушавших его Розы и Ги, который наверняка еще не закончил школьное сочинение. Никто не имеет права так привыкнуть к плохому, чтобы даже не замечать, что все эти разговоры для чьих-то ушей неприятны. Когда Одиль, тихо скользя в своих мягких «нянечкиных» туфлях, появилась в дверях, Луи ставил на стол кружку с пенящимся пивом.

— Конечно,— небрежно сказал он, слово речь шла о партии в бильярд,— Алина сдастся.

Он чувствовал себя по-домашнему в просторном свитере, казалось, был доволен всем на свете. Нечего и сомневаться, что Алина, уступив противнику, все равно истерзает его своими притязаниями!

— На этот раз вам помогли Агата и Леон,— сказал Габриель.— Им уже опротивела одна домашняя лапша из-за всех этих судебных издержек и гонораров. Они заставили мать пойти на попятный. Конечно, при некоторых условиях...

— Что за условия?— спросила Одиль.— Мне думается, мадам Ребусто не в таком положении, чтобы ставить какие-то условия.

— И я так думаю,— сказал Луи.— Алина понимает, что в иске ей бы отказали. Она из тех, кому нужен крепкий удар, чтобы научиться держать себя в узде.

Одиль, все еще продолжавшая стоять, наклонилась к Розе.

— Доброй ночи!— сказала она, целуя ее.— Пока, Ги! Тебе также пора идти к себе — наверно, еще много уроков осталось.

Габриелю явно понравился этот невысказанный укор, он тоже кивнул детям и, когда они удалились, продолжил разговор.

— А ты думаешь о расходах? Кто будет их оплачивать? Да все ты же, косвенным путем, через пособия. Тебе действительно хочется ожесточать Алину? В ком засядет вирус сутяжничества, того уж он не скоро отпустит. Апелляция, кассация, одно за другим — ты не перестанешь вытаскивать чековую книжку. А зачем, я тебя спрашиваю,— ведь Алина согласна на переговоры, но ей хочется немного себя обелить.

— То есть?— спросила Одиль.

Луи неприязненно посмотрел на нее. Ей-то какое дело?

— Ты заберешь жалобу,— сказал Габриель.— Алина откажется от апелляции, и весь процесс будет сведен на нет. Затем вы предоставите свободу старшим, не будете их вынуждать к встречам, а следовательно, постоянно считать их виноватыми.

— А Розу, значит, можно будет винить,— сказал Луи.

— Подпишите соглашение, предусматривающее, что ваши дети по достижении восемнадцати лет от этого обязательства освобождаются и что в ожидании этого времени Алина уже сейчас освобождает Розу от посещений. Но на Ги это не распространяется, так как он действительно слишком юн, чтобы решить этот вопрос без воли родителей. У тебя, Луи, есть возможность ликвидировать главные пункты вашего спора — сделай это. Я не говорю, что отныне вы будете избегать даже булавоочных уколов. Но хотя бы спрячьте ножи.

— Я бы хотел сначала выяснить мнения адвокатов,— сказал Луи.

Одиль подошла к Габриелю, и было заметно, что она слушает его с явной симпатией.

— Сначала реши сам!— сказал Габриель.— Знаешь, есть врачи, высказывающиеся против аборта, чтобы не потерять голорар за роды. Есть и адвокаты, намеренно подстрекающие своих клиентов. Может быть, это не отно-

сится ни к Гранса, ни к мадам Гренд. Один из них соглашается, считая, что будет разумно, другая дает согласие, так как иного выхода нет. Что касается привлеченного мэтра Флокосте, то я его немного охладил сообщением, что у Алины больше нет ни сантима.

— Ты с ним общался?— спросит Луи.— Даже не предупредив меня об этом?

— Да, я взял это на свою ответственность, рискуя вызвать твое неодобрение. Бывают случаи, когда надо оказывать услуги друзьям, даже учитывая их возможное недовольство.

Тишина. Луи раздраженно посмотрел на Габриеля. А Одиль прошептала:

— Извините, что я раньше о вас плохо думала, Габриель.— И тут же повернулась к нахмуренному супругу.— Ты извини, что я вмешиваюсь в то, что ты привык считать своим делом, раз оно касается твоей старой семьи. Самое неприятное, что твое прошлое отравляет настоящее, и после долгого молчания я хочу со всей откровенностью сказать: я потеряла терпение. Было время, когда я полностью оправдывала тебя. Ты оставил жену, ты пытался пощадить ее, чтобы хоть как-то смягчить удар. Но Алина без конца тебе досаждала, ей удалось вовлечь тебя в судебные тяжбы, началась атака за атакой, и все превратилось в состязание, кто кого превзойдет в подлости. Без конца ты бросал и деньги на ветер, но не это самое страшное. В таком удушливом воздухе задыхаются твои дети, будет задыхаться и мой мальчик, когда начнет что-то соображать, и я этого не хочу. Остановись, Сиуль, остановись.

Тишина. Одиль протянула руку, чтобы взять сковородку.

— Так!..— произнес оторопевший Луи.

— Я хочу повторить вам то, что вы только что мне сказали, Одиль!— шепнул Габриель.

Но Одиль уже разбивала яйца, чтобы накормить запоздавшего Луи, и молча стояла у плиты. Луи заметил, что она украдкой вытерла глаза.

— Моя жена решила вопрос,— сказал он сдавленным от волнения голосом.

Если вы слишком много внимания уделяете одному из детей, то другие от вас ускользают — но не бросайтесь за ними, иначе те, от кого вы отвернетесь, этим воспользуются. Наверно, удел матерей — ничего не замечать, ни в чем не разобратся вовремя. В эту субботу, завернув за угол, Алина неожиданно сделала открытие. Перед мебельным магазином в вечернем сумраке, ярко освещенная оранжевым светом неоновых ламп, стояла Агата и указывала пальцем на полированный диван-кровать со всякими искусно вмонтированными выдвижными приспособлениями. И показывала она на него какому-то господину. На этот раз — что существо — мужчине, а не мальчишке. После Марка, который у них давно уже не появлялся, а если как следует вспомнить, то и вовсе перестал бывать, Алина встречала у себя в гостиной немало других юнцов, пожалуй, не меньше десятка. Такое количество не давало оснований для беспокойства, и особенно успокаивала их непринужденность, свойственная молодым веселым зверятам, которые потрутся ласково, а потом куда-то сбегут, совершив неизбежное, то, с чем ныне мирится заботливая мать, чтобы не допустить своих детей до слишком опасной связи.

Но тут стоит высокий мужчина ростом не меньше ста восьмидесяти сантиметров, с могучим торсом, на нем хорошо пригнанный пиджак с плотно прилегающим к воротнику галстуком, аккуратные брюки со складкой, падающие на отлично вычищенные туфли; у него квадратный подбородок, от тщательного бритья щеки отливают синевой, его волосатая рука охватила плечи девушки — все это такое уверенное, такое мужское. Вероятно, ему лет двадцать восемь — тридцать. И впервые Алина увидела свою Агату другими глазами, такой, какая она есть на самом деле, или, вернее, какой она перестала быть. Волосы у нее уже не так растрепаны, шея менее хрупкая, высокая грудь словно корзинка с фруктами, чуть раздавленные бедра и что-то необъяснимо новое в походке, подчеркивающее, что ей уделяется уже некоторое внимание, — все говорило матери о совсем иной Агате, которую она долго не замечала. Но кто же этот тип? Молодой учитель из лицея, встретившийся со своей ученицей? Случайный волокита? Или старший брат кого-нибудь из

ее приятелей? Во всех случаях непонятен их общий интерес к этой витрине. Напрасно Алина пыталась уговорить себя: *Какие тут могут быть подозрения — они стоят посреди улицы на глазах у всех.* И все же что-то ее тревожило. Брошенная мужем жена, брошенная детьми мать, живущая в ожидании дальнейших потерь, — о чем еще может она думать? Что же делать? Броситься к ним, притвориться: *Ах, это ты, Агата?* — или же процедить сквозь зубы: *С кем имею честь?* Нет, об этом нельзя и помыслить: Агата оскорбится. Но вот неизвестный убрал руку с плеч девушки, повернулся к ней лицом — похоже, намерен попрощаться.

Ах, каким же неприятным оказалось это прощание! Алина задрожала всем телом. Что за поцелуй — она слишком хорошо помнит такие. Ничего общего с тем, как целуются юнцы, которые обхватят, прижмут, сцепят руки-ноги, как в кинофильмах, найдя для этого укрытие в подъезде или темной нише, где можно пустить в ход лапы. Нет, тут был поцелуй более опасный: легкое касание, сдержанное напоминание об уже освоенных глубинах, мимолетное прикосновение к любимой, с которой предстоит скоро встретиться, — словом, печать любви, будь она мнимая или подлинная, но уже принявшая обличье постоянства. Алина слышит слова: *Если б я знала, то не пошла бы.* Мать не успевает осмыслить, в какой связи находится эта фраза со всем происходящим. Агата дважды оборачивается и все машет ему рукой, а потом переходит на ту сторону, где стоит мать. Но в тот момент, когда она покидала освещенный неоновым участком тротуара, на ногах ее что-то блеснуло — какие великолепные сапоги! Последний крик моды — на такие Агата напрасно заглядывалась, напрасно просила у матери; когда дочь проходила мимо Алины, быстро отступившей в подъезд ближайшего дома, новая кожа на сапогах приятно поскрипывала.

Однако Алина пришла домой первая и тут же углубилась в копию протокола, подписанного сегодня днем у Гранса: *Между нижеподписавшимися мсье Луи Давермелем, проживающим в Ножане, с одной стороны, и мадам Алиной Ребюсто, проживающей в Фонтене, с другой стороны, ссылающихся на то, что в начале...* Далее следовало двадцать строк, излагающих историю великодушной матери, которая после ряда процессов дала, как говорилось, убедить себя в интересах своих близких. *Следуя вышеизложенному, обе стороны по взаимному*

согласию договорились о том, что... По взаимному! Алине захотелось выругаться: какое восхитительное прилагательное для достойного начала. Отказ от жалобы в обмен на отказ от апелляции, пусть так! Но окончательный отказ от воспитания младших детей взамен свободы действий, предоставляемой старшим,— и через две недели все это уже станет фактом,— об этом обещания Алина уже горько сожалела: на это она никогда не должна была соглашаться. Леону через полтора месяца исполнится двадцать один год. Агате — да это просто смешно,— что же ей надо добавить еще к той свободе, которой она уже так вольно пользуется, даже сказать трудно...

Кто-то повернул ключ в замке. Вот она, дочка, в своих новых сапожках на каблуках.

— Ну и ну!— с восхищением молвила Алина.

— Не так уж плохи, а?— спросила Агата, вертя ножкой то так, то эдак. Она соизволила даже объяснить:— Купила их на свой выигрыш.

Напустить туману, ляпнуть что-нибудь наспех придуманное — это иногда помогает и даже кажется правдоподобным. Пусть лотерея помогла дочке — что ж, Алина хотела поверить в это, хотя у Агаты не хватило бы пальцев пересчитать своих ласковых дружков. Нежная девочка сидела рядом с мамой, терлась щекой о щеку, окутывала ее ароматом своих духов. Духи тоже удалось распознать скорее, чем того, кто их подарил.

— А, это «Воздух времени»¹,— сказала, принохиваясь, Алина.— И духи тоже куплены на выигрыш от лотереи? Или же из кармана того господина, который только что целовал тебя на улице? Извини, но я шла мимо и видела.

Вряд ли мамаша Ребюсто принесла бы свои извинения двадцать пять лет тому назад, если бы подглядела на улице, как мадемуазель Ребюсто целуется! Но времена меняются. И матери меняются. И дочки тоже. Чего можно было ждать сейчас от Агаты? Что она покраснеет? Нет, это уже старомодно. Все еще ласково прижимаясь к матери, Агата улыбается, но глаза цвета лаванды стали очень, очень настороженными.

— Ты меня видела с Эдмоном?

¹ Дорогие духи фирмы «Нина Риччи».

— Мне он показался весьма солидным,— заметила Алина.

И покраснела она, мать. Сие прилагательное, некогда так высоко ценимое в семьях, неужели и оно изменило свой смысл?

— Конечно, он уже не мальчик!— сказала Агата с особой интонацией.

— Вот это меня и настораживает,— проговорила мать.

Но Агата громко засмеялась и — *Благодарю тебя, боже мой, благодарю, даже если это кажется безнравственным!*— избавила мать от произнесения столь почтенного, но вместе с тем отвратительного слова, раздраженно выкрикнув:

— А чего же ты так боишься? Что я выскочу замуж? Вот еще, хватит нам твоих удач в супружеском счастье! Никакого желания нет! Любовь — да, не буду зарекаться, я такая, как все, но останусь себе хозяйкой, свободной!

Агата поднялась, а мать продолжала сидеть, восхищенная и негодующая. Пусть во времена ее юности такие выходки вызвали проклятия, теперь же — чуть ли не благословение, но, радуясь этому, она все же не могла совсем отрешиться от тревоги: *Есть ли у меня право, желая добра дочери, сказать ей: лучше иметь любовника, чем мужа?*

Агата шептала:

— Что касается Эдмона, то я должна тебе сказать...

Она колебалась и все еще посматривала на Алину, а та и не пыталась ее подбодрить. Бывают ситуации, которые можно разделить только молчанием.

Но когда Агата, трижды обернувшись, чтобы взглянуть через плечо на мать, трижды увидев лишь ее затылок, ушла к себе в комнату, Алину снова начало лихорадить. Иногда интуиция может подвести. А если Агата хотела сказать ей что-нибудь другое? Для одних связь — развлечение. Для других — любовь. И тогда любовники отбирают дочерей не хуже, чем претенденты на законный брак. Иначе где же предполагается ставить этот диван-кровать, днем — диван, ночью — кровать? Уж конечно, не в материнском доме.

20 мая 1969

16 часов

Есть тысячи мелких способов отомстить: было уже ясно, что Алина опоздает и ей доставит удовольствие вынудить Луи извиняться перед патроном, который весьма неохотно отпускает своих подчиненных в рабочие часы. Луи уже отложил на двадцать минут одну деловую встречу, и вот у него осталось только десять минут, а надо все сидеть, изнывать от тоски на этом колченогом стуле, в этой прокуренной комнате, которую так задымили старший секретарь суда, любитель самокруток из дешевого табака, и его помощник — любитель трубки, окопавшиеся за четыремья так плотно сдвинутыми друг к другу пюпитрами, из которых два были не заняты, что они образовали самую настоящую крепость, отделявшую тех, кто излагал свои дела, от тех, кто облакал изложенное в надлежащую форму. Остальная обстановка была в том же духе, и, хотя тут стоял неизбежный бюст Марианны, а напротив нее — генерала де Голля, уже вышедшего в отставку, но еще не замененного (его августейшая физиономия была засижена мухами), комната так сильно смахивала на провинциальную контору (папки, откуда вываливались бумаги, двери, с вылезшим из-под обивки войлоком), что трое посетителей почтительно осведомились, куда ли они попали, а уж потом начали выкладывать свои дела и различные относящиеся к ним бумажки. Инстанционный суд в районе чаще всего — только придаток полицейского комиссариата.

Но вот появилась и мадам Ребюсто в сопровождении мадам Вальду: обе приветствовали Луи поворотом головы и, встав в очередь четвертыми, начали вполголоса длинную беседу бог весть о чем.

Они ведь пришли сюда выработать совместное соглашение — как же можно так себя вести! Алина даже не спросила: *Как поживают дети?* Но может быть, и она думала так же: ведь Луи тоже не осмелился подойти к ней, узнать *про двух старших*. Робость, ложный стыд, боязнь показаться неуверенным в своих правах, досадное присутствие третьих лиц, былая враждебность... Многое таилось в этой скованности. Но Луи заставил себя подойти поближе и прислушался. Нет, дамы говорили не о нем,

они обсуждали президентские выборы... Одна была за Поэра, другая — за Помпиду.

— Мсье и мадам Давермель,— позвал чиновник с трубкой.

Опять они выступают в качестве отца и матери, но ни Луи, ни Алина, несмотря на их застывшие, словно из обожженной глины, лица, не внемлют судебному секретарю, упрощающему процедуру и залпом выпаливающему стандартный, заранее отпечатанный текст, в котором остается лишь заполнить некоторые оставленные пустыми строчки перед тем, как поставят фиолетовую печать с изображением богини Правосудия, восседающей на пьедестале в пеплуме, с головой, увенчанной семиконечной звездой. *Года одна тысяча девятьсот шестьдесят девятого, двадцатого мая, в присутствии Клода Тришье, судьи по делам опеки...* Самого судьи сейчас тут не было, он находится в соседней комнате; там у него куча других забот, и он потом уже скрепит своей подписью эту, лежащую среди многих других, бумажку. *Перед инстанционным судом предстали...*

— Простите, — сказал помощник, заметив какую-то оплошность.— Я тут ошибся.

— Не имеет значения,— говорит Луи.

Чтение возобновилось. Гражданское состояние. Местожительство. *И вышеупомянутые нам предъявили...* Алина и Луи, совсем одуревшие, наконец-то согласно вздохнули. Неужели они слушают бормотание секретаря суда в последний раз? Можно было бы составить обширнейший сборник, по толщине равный большому словарю, из всех этих жалоб, ссылок, выступлений, заключений, решений, официальных уведомлений, свидетельских показаний, выводов, заявлений, экспертиз, приказов, незасвидетельствованных приглашений и прочих бумаг, которые они собрали почти за пять лет, хотя и Луи и Алина здесь для того, чтобы избежать еще одного решения суда и, возможно, еще одного обжалования. Слушая судейский жаргон, они имели возможность оценить все свои издержки и могли себя поздравить с тем, что вот наконец перед ними протокол, который поможет им перестать преследовать друг друга. Разве они здесь не для того, чтобы, выступая как бывшие законные супруги, все же сохранить родственные отношения, впервые прийти к чему-то вроде согласия и составить об этом надлежащий документ?

Секретарь все еще невнятно бормотал:

— *Принимая во внимание заявления и прошения,*

которые сему предшествуют, принимая во внимание предписания статьи 477-й Гражданского кодекса...— Вдруг он бросил взгляд на очередь ожидающих и прервал чтение.— Ладно, избавлю вас от остального.— Но, посмотрев на последнюю строчку, не удержался, чтоб не прочесть ее, и протянул им перо:— *Все, что составляет содержание этого протокола, нами прочтено, а затем подписано...* Здесь, мадам, прошу вас. Вот тут, мсье.

Под конец Эмма уселась на колченогий стул и, невольное чуть покачиваясь на нем, отчего поскрипывал паркет, в щели которого вьелась пыль, без особого удовольствия смотрела, как Давермели подписали протокол, вышли из очереди, обменявшись не только какими-то словами, но и рукопожатием. И все же ей показалось, что их короткий разговор вдруг обострился. Алина перестала привычно кудахтать, горько усмехнулась и поспешно вышла из зала, даже не сделав подруге знака следовать за ней. Метрах в двадцати она остановилась, чтобы Эмма могла ее догнать, и, посмотрев мимоходом на большую корзину с яблоками «кальвиль» в витрине фруктовой лавки, воскликнула:

— Ах, какая же я дурища! Глупа, как эти яблоки!— В ее словах не было злости, скорее — горькая насмешка над своими постоянными неудачами.— Добиваюсь раскрепощения старших, чтобы освободить их от необходимости видеться с отцом. И теперь они и вправду свободны, потому что раскрепощены.— Остановившись, Алина машет рукой, останавливая такси, но машина проезжает мимо, и она продолжает:— И поскольку они раскрепощены, будут сами управлять своими делишками. Луи уже не обязан посылать их пособия мне. Он будет вручать деньги им самим, прямо в руки. И само собой разумеется, раз у него есть на то право, предложить им раз в месяц заходить к нему за чеком.

— Ну,— говорит Эмма,— об этом еще можно поспорить!

— Где же?— спрашивает Алина.— Опять в суде? Нет уж, большое спасибо, я уйду и едва ли скоро вернусь сюда. Впрочем, можно себе представить судью, который хорошо отнесся бы к сыну или к дочери, если бы они вдруг заявили: папочкины денежки я, мол, не прочь получить, но к чему мне сам папаша! Ничего не поделаешь, видно, суждено мне вечно быть дурой!

20 мая 1969

17 часов 30 минут

Когда вы знаете, что перед вами мастерица длинных, душераздирающих, невыносимых сцен, что в споре она с еще большей яростью будет отстаивать старые доводы, многократно вами отвергнутые, вам остается только одно — уклониться! Агата не пошла на занятия и, радуясь тому, что ни Леона, ни матери нет дома и придут они не раньше шести часов, решила принять ванну, чтобы почувствовать себя чистой, добродушной, размякнуть в тепле; зеркало не отражает ваших тревог, в нем можно увидеть только вашу внешность, но и это уже кое-что и способно дать удовлетворение.

Алина всегда внимательно следила за температурой воды, измеряла ее термометром, плавающим на поверхности, бросала добрую дозу ароматической соли, проверяла, хорошо ли действует кран-смеситель; она обожала присутствовать здесь, когда дети раздевались, начинали мыться, терла их рукавицей из конского волоса, щеткой для спины, набрасывала на них пушистое полотенце: *Я тебя и вымою и вытру и буду тобой восхищаться — маленькое мое чудо, статуетка из Танагры, лучшее, что я сотворила в своей жизни!* Хотя уже требовалось быть поделикатней, мать без тени смущения продолжала милую ее сердцу процедуру и после шестнадцати лет; разве скульптор бывает смущен, видя законченное им произведение? Но можно ли всю жизнь оставаться статуей? Какое странное сравнение! Ведь и Эдмон тоже, как только у него в ванной начнут журчать краны, торопится потеревить русалку, вытащить из воды, всю еще в водяных струйках, обсушить в простынях или же сам тут же прыгнет в пенящуюся воду, чтобы, как он выражается, «предаться любви, как утка». И правда, так занимаются любовью селезни на озерах у Желтых ворот, бросаясь то на хлебные крошки, то на свои сереньких уток. Вот почему некоторые девочки, уже вошедшие в курс дела, со вниманием следили за ними. А их папаши, крепко держа дочек за руку, выглядели так, будто их забрызгали озерной грязью.

Агата уже вышла из ванны, а в трубе еще долго урчала уходящая вода. Потом она покопалась в своей заветной шкатулке, вытащила из нее тетрадку, на последней стра-

нице которой было записано: *«19 мая 1969 года. Так хотелось бы жить и радоваться, но мешают вечные слезы, крики и мольбы о пощаде. Во всяком случае, мне нужно уйти отсюда, и не только из-за того, что со мной это случилось»*. Агата разорвала тетрадь, покончив счеты с юностью, и маленькие бумажные лепестки зашуршали в трубе мусоропровода. Потом она пошла за одним из больших чемоданов, которые обычно брали с собой, отправляясь на летний отдых. Торопливо зачихала то, что ей хотелось взять, остальное небрежно бросила на пол, потом время от времени нагибалась, чтобы подобрать блузку или брюки, с которыми ей жаль было расставаться. Если Эдмон смотрит на это так же, если он находится в таком же положении — тем хуже! Кто же это на днях говорил ей о Марке? Да, Эмма, очевидно, здесь подстрекнули, и она начала расспрашивать: *Слушай, а ты не жалеешь о нем? Такой красивый парнишка*. Да, уж конечно. Красивый, любезный, вскакивает на девушку, как на свой мотоцикл. Может, пожалеть о Марке? Вернее, можно пожалеть, что он был в моей жизни. Хотя это, пожалуй, к лучшему. Только на молоденьких девчонок может произвести впечатление такое признание: *Твой отец был моим первым и единственным*. А потом они узнают и еще кое-что: число, естественно, идет в счет, хотя тут не в лото играть, но главное — найти такого мужчину, который заставил бы забыть всех предыдущих.

Агата пытается закрыть крышку, нажимает коленом на переполненный чемодан. Она долго поддерживала мать, и ей трудно найти слова, оправдывающие то, что она сейчас собирается сделать. Все объяснения бесполезны, даже с Леоном, который тем не менее будет взволнован, хотя это несколько на него не похоже — ведь он, как большой кот, верен своему дому и тем, кто обеспечивает ему жизненные удобства. Нет, пора удирать, и поскорей, оставив только эту маленькую записку, припиленную булавкой к покрывалу на кровати. *«Не беспокойся. Я на некоторое время поеду с Эдмоном на юг. Напишу тебе»*. Всегда верят в то, во что хотят верить: в недолгую отлучку, в скорое возвращение. А если отлучка затягивается, находят этому причину; а когда привыкают, становится легче принять все остальное и не судить о том, что произошло, со своей колокольни.

Агата поднимает чемодан, тащит его к двери. Уже половина шестого. Мать может скоро вернуться.

И лифт несет свою службу. Нет, иначе поступить невозможно. Но что подло, то подло; причитания, которые Агате так хорошо знакомы, теперь станут вдвое горше, и на этот раз уже по ее вине. *Если ты ко мне переедешь, то я поверю в твою любовь*,— сказал ей Эдмон. *Раз она уехала, значит, совсем не любила меня*,— зарыдает мать, войдя в дом. Вас всегда любят в ущерб кому-то другому—это урок Агата отлично усвоила. Ей было бы трудно сказать, кто бы восторжествовал—мать или Эдмон,—если бы не случай, подтолкнувший решение, случай, когда уже нельзя выжидать.

Вот и первый этаж. Агата с усилием волочит килограммов тридцать своего багажа, проходит коридор, делает шаг на улицу и тут же отступает. Она видит мать, возвращающуюся после подписания соглашения, дающего свободу действий ей и брату Леону, и именно это теперь помешает ей вернуть дочь, отныне свободную. Алина выходит из такси, остановившегося у подъезда, и просто чудо, что, расплачиваясь, она не может видеть Агату. Десять секунд, чтоб исчезнуть, иначе все пропало; возвращение, разнос, мольбы, снова водворение на шестой этаж! Другого выбора нет! Агата нажимает на дверную ручку—к счастью, дверь не на запоре—и скрывается у привратницы. Та что-то шьет на машинке, но поворачивается к ней и роняет:

— И вы тоже Агата!

Уже не думает ли она, что старшая сестра решила присоединиться к младшей? Во всяком случае, она не издает ни звука, чтоб предупредить Алину, проходящую в тот момент по коридору и ничего не заметившую. Агата прячет голову в руках и глухо стонет.

— Вы еще можете вернуться,— говорит привратница.

Но лифт захлопывается и начинает подниматься с мягким скрипом, и это звучит как предостережение: пара слов в ответ, быстрый спуск вниз, все и пяти минут не занимает. Агата бросается к тому же такси, которое только что привезло ее мать: шофер задержался, чтобы закурить сигарету.

Оба в одинаковых черных комбинезонах, оба в красных свитерах, чтобы походить друг на друга и отделить новую семью от старой, они с усердием хлопочут в мастерской; сын — маленькая копия матери, он здесь совсем без пользы, но убежден в обратном и все время тычет крохотным пальчиком в веревочные узелки. Наконец Одиль затягивает последний узел и подымается. Она уже упаковала тридцать картин — десять из них проданы, их купили любители (ставшие собственниками вдвойне, приобретая одновременно и картину, и свой портрет), девять картин принадлежат семье Давермель, в том числе портреты Розы, каких-то двух бородачей, а также Феликса, и есть еще одиннадцать самых разных: два министра, депутаты-мэры из Восточного пригорода, согласившиеся позировать своему избирателю; но — увы! — эти работы отнюдь не лучшие. Еще Дидро вопрошал: *Почему исторический живописец обычно бывает слабым портретистом?* Без сомнения, именно потому, что и в его эпоху, как и в нашу, у моделей всегда не хватало времени. Как бы то ни было, все эти прославленные личности находились тут, в мастерской, для подправки.

— Я лишую, — заявил Феликс, который еще не научился отчетливо произносить букву «р» и шепелявил — потому его трудно было понять.

— Да-да, мой козлик, — рассеянно откликнулась Одиль.

Она прикидывала. Если учесть, что надо переложить картины гофрированным картоном, понадобится четыре ящика: три ящика можно поставить на крышу машины вместе с лыжами, а один на переднее сиденье, чтобы избежать споров между Розой и Ги о том, кому досталось хорошее место, а кому плохое; их мачехе, которую можно назвать поистине святой, придется выбрать себе что похуже да еще держать на коленях этот непрерывно движущийся снаряд с двумя ножками. Она придет в Женеву совершенно измученной, и надо будет сразу развесить картины, потом устав еще сильнее, спешить в Комблу, чтобы успеть хоть чуточку вздремнуть, ибо наутро надо снова торопиться в город на вернисаж. Стоит ли жаловаться? Ведь она сама предложила объединить эту вы-

ставку с их несколько затянувшимся до масленицы зимним отдыхом.

— А свой портрет ты не хочешь брать?— спросил Леон.— Ведь он, пожалуй, самый удачный.

Одиль попробовала умерить пыл Феликса, который с увлечением «лишовал» жирным карандашом прямо на стенке, затем обернулась. Она ведь совсем забыла о том, что здесь Леон; как всегда, он был молчалив, будто не человек, а костюм на вешалке; он почти не дышал, не занимал в доме заметного места; трудно было предугадать, когда этот невидимка появится на вилле «Вдвоем», куда он наносит визит раз в месяц на два-три часа, а иногда в виде исключения задерживался на весь вечер; обычно Леон являлся в день выдачи чека, никогда о нем не спрашивал, а вежливо выжидал, затем клал в карман, учтиво благодарил — так же он благодарил и преподавателя, поставившего ему среднюю отметку за весьма умеренное усердие и не помешавшего сдать экзамены; таким поведением он сумел заслужить продление отцовского пособия, полагающегося старшему сыну, если он продолжает учение и, следовательно, вынужден успевать, чтобы этого пособия не лишиться. Он отозвался о портрете Одилы сдержанно, но точно и был полностью прав; если бы не был убежден в своем мнении, то не стал бы его высказывать вообще.

— Да, этот один из удачных,— подтвердила Одиль.— Но я его оставлю себе. Не хочу продавать этот портрет, не хочу, чтобы его разглядывали посторонние.

— Тебе тогда было столько же, сколько мне сейчас?— притворно заинтересовался Леон.

Сказано лаконично, скрытно, но и определенно, в манере, характерной для Леона,— совсем не враждебной, а скорее несколько заостренной, идущей от уверенности свойственной равнодушным людям. Пять лет незаконной связи и пять лет замужества — итого, десять лет сосуществования. Одиле было сейчас тридцать, и ей уже вовсе не хотелось, чтобы ее сравнивали с той, прежней. Пусть этот портрет остается здесь, в мастерской, как свидетельство ее «приданого», ее девичьей власти, наполовину замененной властью жены, о которой свидетельствовал этот маленький акробатик, упорно пытавшийся взобраться на запретную подножку мольберта.

— Фели!— крикнула Одиль, называя сына так, как он сам себя называл, отрубая трудное для него «кс».

Леон, стоящий рядом с мальчиком, конечно, мог бы подхватить его, чтобы тот не упал. Но на движения Леон был так же скуп, как и на слова, и он вовсе не сходил с ума от этого малыша как его брат Ги; легко было догадаться, что первородство позволяло ему рассматривать Феликса как некий глупый придаток, полигамический излишек, рожденный узаконенной фавориткой, стало быть, по иерархии много ниже его самого. Одиль, не утешая Феликса, подняла его, гордясь тем, что он не заплакал, как изнеженный потомок Алины.

— Папа вроде бы стал выше котироваться,— сказал Леон.

Еще одно утверждение: котироваться вовсе не значит иметь громкое имя. Попытка выяснить, однако не в лоб, поскольку трудно прямо задать столь деликатный вопрос: *сколько картин он теперь продает?*

— Ему нужна была поддержка,— сказала Одиль.

Она совсем не собиралась говорить ему: вы правы, молодой человек! Ваш отец, конечно, не знаменитость, но он отличный специалист по интерьеру; к тому же умеет передавать сходство, то сходство, которого хотят и за которое платят люди с деньгами, позволяющими им пренебречь хорошей фотографией, но еще недостаточными, чтобы обращаться к большей знаменитости, готовой, кстати,— они этого опасаются — легко пожертвовать их физиономией в угоду своей палитре. Тем более она не собирается утверждать, будто Луи стремится воспроизвести свою модель, подобно зеркалу, будто он достаточно уверен в себе, чтобы не потакать капризам заказчика и иметь собственные позиции в отношении модели. Истина где-то посередине.

— Есть какие-нибудь вести от Агаты?— тихо спросила Одиль.

Леон раздраженно фыркнул носом. Одиль не настаивала.

— А твоя мама как поживает?

— Так себе,— ответил Леон.

Но ему хватило присутствия духа и теплоты, чтобы выдать хотя бы несколько фраз.

— Знаешь, за этот год она в тень превратилась. Ее почти не видишь, редко слышишь. Утром, когда я ухожу, она еще спит. А когда запаздываю вечером, она уже легла. Днем почти не бывает дома. Раньше совсем не ходила в церковь, а теперь торчит там подолгу. Или сидит

в своем клубе. Она один раз сказала мне: *дом пуст, не могу этого вынести.*

Чтобы не терять времени, Одиль разбирала бумажные «кружева» — газетные вырезки, аккуратно подобранные для выставочной витринки, это обычно помогает!

— Твоя мать много пережила! — ответила она.

Во взгляде Леона мелькнуло уважение, и его вдруг словно прорвало:

— А девочки перехватывают через край! Агата пишет только раз в месяц. Отвечать ей надо до востребования. Париж, почтовое отделение тридцать восемь. Роза не соизволила появиться хотя бы на Новый год.

— Но твоя мама ее выгнала: Роза ждет, чтобы ее позвали, — сказала Одиль. — В вашей семье все такие трудные!

— Кстати, — ответил Леон, глядя куда-то в сторону, — мама не согласна уступить вам половину каникул Ги. Она посадит его в поезд только в понедельник вечером.

Вот Леон и выполнил функцию посредника: такова была новая практика мадам Ребюсто — сообщить через сына, наделить авторитетом последнего верного ей отпрыска, который, без сомнения, для того и приехал сюда, но уже целый час сидел, скрывая свою новость.

— Что делать, тем хуже для Ги! — ответила Одиль.

Неудобство: зря потратились на проездной билет до Ножана. Преимущество: теперь в машине будет больше места. Что же касается всего прочего, то, если мадам Ребюсто никак не хочет «обменять» масленицу на троицу, а предпочитает терпеть угрюмую физиономию недовольного Ги у себя, пусть так, это ее дело. Можно только пожалеть ее. Но как не задуматься, удастся ли ей — после злобных нападков впавшей в уныние — излечиться когда-нибудь от всех этих глупостей. Ее мания — не доверять никому, скрывать то, что, по ее мнению, может подорвать ее престиж, — неизлечима. Никто бы и не узнал, что Агаты нет в Фонтене, если бы не Ги, очень удивленный тем, что во время своих визитов к матери он нигде не видит старшей сестры. Ясно, это терзало Алину; но она тут же заявила, будто заболела бабушка и *ей так плохо, что Агата поехала поухаживать за старушкой.* Месяцем позже это бедное дитяtko — жертва собственной чуткости — *уже находилось в особом пансионе для подготовки к экзаменам,* чтобы восполнить пробелы к октябрьской сессии. А получив аттестат, она *тут же отбыла на стажировку в одну английскую торговую фирму* и через мать

потом сообщит, что зарабатывает на жизнь сама и не нуждается в пособии. Пришлось ждать полгода, пока Алина, уже не вспомнив ни об одном из своих прежних утверждений, сочла необходимым *известить отца, что его дурной пример — увы! — принес плоды и Агата сожительствует с каким-то неизвестным мужчиной*. Небесполезно, между прочим, упомянуть, что за все это время Леон получал каждый месяц чек, ни разу не опровергнув эти материнские басни.

— Ты дождешься отца?— спросила Одиль, уже проверившая список приглашенных.

— Если он вернется не поздно...— ответил Леон.

Леон не рассказывал об Агате, чтобы не огорчать мать. Но так как он был сыном обоих родителей и получал от отца достаточное пособие, чтобы не обижать его, решил оказать доверие своему крестному Габриелю. Чтобы тот передал этот секрет сам. Но при обязательном условии, что, ссылаясь на источники, Габриель предварительно возьмет с Луи самую страшную клятву, что тот будет держать это про себя и никогда и ни перед кем не проговорится. И до того дошло, что спустя довольно долгое время Леон уже был уверен, что все думают, будто он не знал о том, что другие узнали именно благодаря ему; среди домочадцев возникла забавная игра, в которой уведомленный уведомлял самого уведомителя, шепча ему на ухо: *У меня есть новый источник сведений; речь идет как будто о женатом мужчине*. Но Леон со свойственной тем, кто родился под знаком Близнецов, осторожностью, которая усугубилась двойственностью, присущей некоторым детям расколовшейся семьи, ни разу не разоблачил себя, а, чтоб почувствовать полное успокоение, попросил наконец Габриеля пойти к Алине и сказать ей: *Я думаю, что у Луи уже появились какие-то подозрения. Лучше его предупредить, пока он не станет упрекать тебя за молчание*.

Вдруг Одиль резко подняла с пола Феликса, с увлечением давившего тюбик сиены; из которого ползли струйки, очень похожие на дождевых червячков, вылезавших поутру из влажной земли.

— Я, пожалуй, могла бы отдать тебе чек,— сказала она, чтоб прервать удушливую атмосферу этой беседы один на один.

— Если можешь...— ответил Леон, обрадованный, что еще успеет присоединиться к своим друзьям на стадионе.

И вот, как было договорено, они сидят на застекленной террасе кафе около почты. Агата, как всегда, в линялых джинсах, Леон в сером костюме и сером галстуке. Оба сидят и ожидают, но в стаканчике сестры — джин, перед братом — апельсиновый сок. Роза в своем коричневом костюмчике, в строгой юбочке, на низких каблучках, бежит, торопится к ним.

— Привет!— говорит Леон.

Это он со всеми созвонился. Но по своей ли инициативе? Знал ли он и раньше адрес Агаты? Все эти вопросы бесполезны. Привычка жить во лжи имеет по крайней мере одно преимущество: умение ничему не удивляться, вести себя скрытно.

— Ты хотел меня видеть?— спросила Роза.

— Нет, это я хотела,— ответила Агата.— По трем причинам. Договоримся, что все останется между нами.

— Само собой разумеется,— сдержанно, но и с удовлетворением заметила Роза.

Сдержанно потому, что похождения Агаты заставляли ее мучиться сомнениями: может ли она осуждать сестру за те же самые поступки, которые простила отцу? А с удовлетворением потому, что доверие старшей сестры ей льстило, питало ее интерес к тайнам и рождало некое братское сообщничество между ними тремя.

— Для начала,— сказала Агата,— я дам тебе, Роза, мой номер телефона, в срочном случае меня там можно найти. У Леона есть этот номер. Но послезавтра он уедет на двухмесячную практику. Во всяком случае, что бы ни случилось, я хочу, чтобы ни отец, ни мать не знали, где я.

На столе появился вчетверо сложенный листок, и Роза, не читая, кладет его в карман. Агата продолжает:

— Кроме того, я хотела бы объяснить тебе, почему я так внезапно уехала...

— Должна тебе признаться,— вставила Роза,— что я никак не могла это понять. Ты больше всех нас была привязана к маме. Она на все смотрела твоими глазами, ты — ее. И вдруг ты уезжаешь, исчезаешь, бросаешь ее...

— Как и ты,— вставил Леон.

— Не думай, что это легко,— говорит Агата.— Но ты можешь представить себе меня с ребенком в Фонтене?

— Что?— не сразу поняла Роза.

— Какой бы шум подняла мама,— быстро проговорила Агата.— Она бы заставила меня сохранить малыша. Легко сказать — ребенок! Я была прижата к стене. Просто не понимаю, зачем надо непременно выходить замуж, если ты не хочешь иметь ребенка? А я не хочу детей, чтобы они не связывали меня по рукам и ногам, как это случилось с нашей мамой.

Леон опустил глаза. Роза тоже: она удивлена тем, что не чувствует в себе никакого возмущения, но ощущает потребность, так же, как и Агата, только в более невинной форме, оттолкнуть от себя пример матери.

— Мы не должны,— сказала Роза,— постоянно оглядываться на родителей и не делать того, что делали они, только потому, что мы тоже можем потерпеть неудачу.

— Впрочем, ты, Агата, могла бы вернуться *после этого*,— сказал Леон, избегая уточнений.

— Разлука быстро делает нас другими,— сказала Агата.— Если ты пожила в радости и любви, больше не хочется жить снова во мраке. Если тебе свободно и вольно дышалось, разве стерпишь опять всю эту грызню, нужду, распри, подстрекательство, мерзкое состояние между отцом и матерью... Побудешь всего полгода вдали от семьи — и все, что было, уже кажется таким нелепым. Мне и сейчас очень жаль маму, но я хочу и себя пожалеть. Пусть это звучит эгоистично,— тем хуже!— нас слишком долго этому учили. Оставаться с мамой, да еще в моем положении — нет! Был лишь один выход: порвать, и разом! А то бы она начала бегать ко мне и днем и вечером; Эдмон долго не выдержал бы. А я привязалась к нему, представьте себе...

Роза смотрела на сестру во все глаза, будто не видела ее лет двадцать. Неужели и она так же переменится после того, когда по принятому обычаю на нее наденут подвенечное платье, которое она пока заслуживает. Роза ощутила легкое отвращение и вместе с тем неясную надежду: сумеет остаться собой, для себя самой. Потом явилось ощущение горькой несправедливости — двое «папиных», двое «маминых» — подобный раздел, казавшийся ей еще недавно справедливым, сейчас показался несправедливым.

— А какова же третья причина?— проронила она. Но Леон поспешил предупредить.

— Агата уже скучает без нас,— сказал он слегка дрожащим голосом.— Она хотела бы повидать родителей, но для начала связалась с «Синдикатом».

— Единственное, что у нас осталось,— сказала Агата, почти не улыбнувшись,— это —«СМИГ»¹!

Их взгляды скрестились. Десять лет тому назад «Синдикат» был союзом Четырех, а «СМИГ»ом в шутку назывались их карманные деньги; тогда Леон, генеральный секретарь, от имени всех четырех обращался к отцу: *Слушай, пап, «Синдикат» голосует за то, чтоб провести каникулы в Сабль д'Олон, и потому просит повысить «СМИГ» на двадцать франков.*

— Мы очень виноваты, а я особенно,— призналась Агата,— что разделились на «папиных» и «маминых». Мы даже им не оказали этим услуги. Ведь семья — не только они, но и мы. Если бы мы были все заодно...

— В то время мы не все понимали,— ответил Леон.

— Может быть, сейчас?..— спросила Роза.

Ее обуревали сомнения — увы! — уже привычные. Быть всем заодно — хорошо! Но прежде всего для чего? Что это может дать? Вспомнить хотя бы, как сказала Соланж, подруга Леона, испуганная свидетельница одной ссоры: *О нет, я не хочу вмешиваться в такие истории.* В этой фразе был такой ужас! Будто семья Давермель страдает какой-то постыдной болезнью. Может, стоит согласиться с неизвестным им Эдмоном — ведь он подсказывал Агате: *Ты, дорогая, решила повидаться со своими, это совершенно естественно. Но уж лучше со всеми, и к чертям всякие дразги!*

— Мы могли бы,— сказала Агата,— видеться раз в месяц на какой-нибудь нейтральной территории, скажем, в ресторане. А потом бы пригласили туда родителей, сначала по отдельности, а затем и вдвоем.

— А они захотят?— спросила Роза.

— Нам ничего не стоит попробовать,— ответил Леон.— Во всяком случае, мы должны сами проявить инициативу, чтобы потерь было меньше.

9 февраля 1970

Иногда это походит на театральное представление, иногда — на какое-то большое собрание. В тот вечер

¹ Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG)— гарантированный минимум зарплаты.

двадцать пять юмористок решили осмеять все, что возможно, чтоб подбодрить себя, но это им не удалось. Три новые «сестры» с печальной участью (одна из них, Араманд, брошена с пятью детьми, осталась без работы, без всякой надежды на помощь бывшего мужа, безработного по собственному желанию, да и к тому же еще и пьяницы) заставили прослезиться наиболее чувствительных дам, которых тут же осмеяли более рассудительные, разделившиеся на две группы: разъяренных и мужественных; первые мечтали только о судебных тяжбах, другие рассчитывали исключительно на собственные силы. Беззлобные сплетни в таких случаях превращаются в настоящие дебаты, которыми руководят Агнесса и Эдме — дамы неодинаковой чувствительности, согласно их профессиям, но умеющие уловить момент, когда споры, вместо того чтобы спланивать аудиторию, начинают разделять ее.

Каждая жаловалась на что-нибудь свое. Каждая опиралась на личный опыт и бросала свою горсть соли в общее варево из черного хлеба повседневности и каких-то несвязных мыслей. Проклятия, разглагольствования, рассуждения, бурная и тихая критика, клевета, пережевывание одного и того же, целый поток, из которого — кое для кого это стало правилом — выбирались, потеряв голос, но зато на какое-то время успокоившись. Было слышно, как громко кричала студентка Амалия, недавно снова сыгравшая свадьбу. (Слава богу! Те, кто обретает свой дом, как правило, исчезают из клуба.)

Наилучший способ вылечиться от любви к одному — это завести другого!

— Скажи пожалуйста, а! Тебе ведь всего двадцать! — протестовала бакалейщица Мария.

Реплика Ирмы, преподавательницы английского, была изложена в другой форме, предназначенной интеллектуалам:

— Любовь — это Ахиллово копьё!

Лишь немногие рассмеялись, почти никто не понял ее. Зато запрос Эрвелины о повышении ей алиментов вызвал мгновенную реакцию.

— Она имеет право на треть!

— Вовсе нет! Он снова женился, у него теперь еще один ребенок. Будет удивительно, если ей удастся получить хоть четверть.

— Значит, если он сделает себе еще восемь деток, то Эрвелина сдохнет!

Вмешивается президентша. Она сожалеет, что «сестры» с такой злобой обсуждают этот вопрос. Она, конечно, понимает их, но ей хотелось бы, чтобы они больше заботились о своей независимости. Мэтр Гренд тотчас выложила все припасенные ею козыри.

— Надо добиваться. Немолодой возраст, много детей, профессии нет — увы! Типичный случай. Явления довольно распространенные. Алименты — это в сущности говоря, зарплата; это жалованье, которое должно полагаться всякой домохозяйке за ее огромную и — безобразие! — совершенно бесплатную работу; если этим пользуется муж — куда ни шло, что же касается бывшего мужа, то он должен платить за труд. А если бывший супруг неплатежеспособен, это обязано сделать само государство.

Аплодисменты. Проблема номер один, она всегда дает полный сбор.

— Даже если б я и не нуждалась в его помощи, все равно хочу, чтоб с него взыскивали, — злобно бросает Беатриса.

— Ну, уж это распутство! Кто это будет кланяться заднице после порки! — рубит болтушка Габриель, которую не раз призывали к порядку за грубость.

Но те, кто настаивает на взыскании алиментов в наказание за развод, берут верх над сторонницами независимости и презрения к помощи. Пятью минутами позже, возбужденные историей Тахар, которая оставила себе дочку, а сына недавно уступила бывшему мужу, клубные дамы превращаются в кудахтающих наседок; на этот раз к ним присоединяется почти две трети неуступчивого меньшинства, несмотря на происки ниспровергательниц, которые задают коварный вопрос, почему женщины постоянно приносят себя в жертву детям, почему не попытаться сбыть все потомство бывшим мужьям — пусть эти беглые папаши увязнут в грязных пеленках.

— Вы б еще им бюст пересадили, может, у них молочко заведется! — взорвалась старейшина клуба.

Спор переходил в свару.

— Не беспокойся за этих мерзавцев! Они найдут себе достойную корову, — не выдержала и вмешалась в разговор Габриель.

Страсти слишком разгорелись, и надо было положить конец неистовству разбушевавшихся женщин, так, как

делали это законники феме¹, поэтому Агнесса вскарабкалась на стул и перешла к повестке дня, подвела итог тому, что удалось осуществить за последнее время, сообщила о финансах клуба, кстати говоря, весьма худосочных, но тем не менее достаточных, чтоб поставить на голосование вопрос о немедленной помощи Арманде. Голосовали поднятием рук. Единогласно. Затем выступила Ольга по поводу статьи в журнале «Семья, год 1970», ратующей за свободу развода. Снова бурные прения. Сошлись лишь в том, что надо ликвидировать нелепую, разорительную, не имеющую конца бракоразводную процедуру и посоветовать супружеским парам разбирать свои распри в Палате по семейным делам. Но религиозные ханжи полностью отвергли развод по обоюдному согласию, а злопамятные требовали сохранить принцип выявления виновного.

— Главное, чтобы все было по совести!— сказала Ирма.

— Очень это поможет, если все потеряно!— сказала Алина, удивившись тому, что слышит свой голос.

— Во всяком случае, не от потерпевших следует ожидать разумных выводов!— сказала президентша.

И вот она вновь взбудоражила женщин проектом Национального фонда — может, его надо создать при органах социального обеспечения, может, он будет финансироваться за счет процентов, которые следует брать — в ущерб должникам — с алиментов, уплачиваемых теми, кто платежеспособен, чтобы таким образом обеспечить семьи неплатежеспособных. Снова и снова о деньгах. Вот, пожалуй, что спасет от голода пять или шесть присутствующих тут женщин. Мэтр Гренд считает нужным иметь обязательную страховку на случай развода, подписанную в мэрии, которая будет одновременно с брачным свидетельством зарегистрирована в полиции. Хор перестраивается. Голосуют за петицию с просьбой поддержать их требования. И Алина охотно поднимает руку.

Все это для нее имеет интерес чисто ретроспективный. Она перенесла развод таким, каким он был, теперь уже ничего не изменишь; в принципе она выиграла процесс, но вместе с тем утратила самое существенное, а в дальнейших столкновениях потеряла и все остальное. При же-

¹ Тайное судилище в средневековой Германии, члены которого были связаны общей клятвой.

нитьбе начало окутывают романтическим ореолом, но важно то, во что это выльется. При разводе спорят о формальностях, и важно то, что последует за этим. С тех пор как Алина активней занялась делами клуба, она уже повидала таких женщин, которым казалось, будто они имеют право на любовь, сообщая в маленьких брачных объявлениях, что они *разведены в свою пользу*, и которые очень быстро убедились, что нужно было писать *разведены себе в ущерб*. Невинность женщины мужчина рассматривает как невинность ягненка, единственная добродетель которого — что он съедобен. Остается потрепанная жизнью женщина, так как молодость уже прошла. Четыре или пять из тех, кто еще сохранил какую-то видимость свежести, может, выкарабкаются. А всем остальным останутся только иллюзии, что здесь они чем-то помогли другим, а свой случай в жизни упустили, и они смогут утешаться лишь воздаянием мести своему общему врагу.

Внезапно погасили электричество, и на экране, который Агнесса только что развернула вдоль стены, появились толстые эвансвиллские матроны — американский вариант клуба «Агарь» — невеселые, на какой-то пирушке на берегах Огайо. Под тихое потрескивание проекционного аппарата Алина вздремнула. Берега Огайо мало-помалу перешли в берега Сены. Просто наваждение. Неразрешимый, постоянно терзающий ее вопрос: *Париж, 38, улица Клода Бернара*, но почему? Почему Агата выбрала именно эту почту? Потому ли, что это близко, или же, наоборот, — потому что далеко от места, где она скрывается? Как странно, что Алине ни разу не удалось встретить там Агату, шедшую за письмами, хотя уже целых полгода, иногда вечера напролет, она бродила здесь. А чего Алина достигла, если б ей удалось повстречать свою дочь? Нежность — это привычка: тот, кто привык к фальшивой нежности, может утратить подлинную. Алина снова задремала, опустив голову на грудь, но тут же встрепенулась. Эвансвиллские сестры уже приступили к Декларации прав разведенных женщин. Агата — дочь своего отца, но она — девушка, а когда девушки надоедают, их бросают. По первому разу это, возможно, не катастрофа. Он женат? Пусть заставит его развестись. Конечно, в том случае, если сама Агата захочет выйти за него замуж. Если она сверх ожиданий сможет этого добиться, что весьма сомнительно. Согласно последним сведениям, этот Эдмон — преуспевающий владелец магазина кожаных изделий (Агата устроилась у него кассиршей), — к несчастью, не

имеет никакой возможности развестись: жена его уже пять лет находится в сумасшедшем доме и по закону, неуязвима. Впрочем, зачем настаивать? Агата ведь дочь своего отца. Она сама должна понять, что долго так длиться не может. Ничего не длится долго. Агата ни слова об этом не пишет, но мать все чувствует. *Все хорошо, целую тебя* — это слишком коротко, чтобы походить на правду. Слишком коротко в сравнении с теми восемью письмами за этот месяц, на которые она ни разу не ответила ни согласием, ни отказом, несмотря на настойчивое приглашение: *Если хочешь, возвращайся, когда тебе будет угодно! Что бы с тобой ни произошло, не считай это препятствием.* Может быть и ребенок — прекрасно, вырастет среди женщин. Ведь девушка с ребенком уже не так тянется к своему возлюбленному и может остаться дома навсегда.

— Ну что, поспали? — шепчет ей Эмма.

Алина подняла голову. Дамы начали расходиться и небольшими группками пошли к лифту. Сдержанность Эммы в этот вечер может послужить образцом — она и рта не раскрыла. Видно, она тоже как-то увяла, и ее обычная ярость сменилась ворчанием по мелким поводам. Эмма тоже неумоимо вербует себе учениц и настойчиво, но без шума учит ту или иную, как надо запутать какого-нибудь провинившегося подлеца. Комната опустела. Алина встает, вынимает из сумочки сложенную вчетверо бумагу, передает президентше, и та быстро пробегает ее глазами.

— Отлично! — шепчет она. — Вы разыскали этого типа. Кристине остается только добиться, чтоб на его имущество наложили арест.

Алина тихо внимает ее словам, на лице у нее упрямое выражение, взгляд — твердый.

— Да, это стало почти правилом, — продолжает Агнесса, — и вы можете послужить самым ярким примером. Для других всегда улаживаешь все лучше, чем для себя самой. Если бы вы могли встретиться с Жюльеттой на этой неделе и немного ее ободрить... — Ироническая улыбка появилась у нее на губах. — Знаю, знаю, вы не слишком сильны для этой роли. Но я очень прошу вас, видите ли, Жюльетту готовы обжулить, и успокоить ее трудней, чем разозлить.

— Завтра вечером зайду к ней, — ответила Алина.

Алина поторопилась уйти. Высадила Эмму на углу около здания школы, где у подруги была служебная квартира. Поехала дальше. Проехалась через лес, вернулась, набрала бензин, снова поехала, свернула к своему старому дому. Обычно она запрещает себе такое паломничество, потому что всегда возвращается очень расстроенной. Но в этот вечер желание пересилило. Впрочем, торопиться некуда — Леона дома нет, он ушел вместе с Соланж. Леон тратит половину пособия, которую оставляет себе на кормные расходы. Половина — это немало, но так получилось. Иной раз преданность Леона своей матери, своим занятиям, своему стадиону, комнате, привычному порядку жизни, своей подруге можно подвергнуть сомнению. Но бывало и иначе — он приносил Алине красивую розу, изящно завернутую в хрустящую прозрачную бумагу (это происходило обычно в воскресенье днем, и розу он покупал всегда у одной и той же цветочницы), — бывало и иначе, и тогда она говорила себе, что молодому человеку следует жениться до тридцати лет и что он, возможно, будет достаточно разумен, чтобы понять это; но так или иначе, через два года он закончит изучать свою фармакологию, отсрочка — это ведь не только для армии...

Старенький «ситроен» затормозил, отыскал свое место перед домом, как лошадь, помнящая свою конюшню. Медленно заглох мотор. Позади туи, уже выросшей на добрый метр и отчетливо рисующейся на фоне ярко освещенного окна гостиной, виднелись чьи-то туманные тени, смягченные прозрачными занавесями: это были неизвестные Алине люди, недавно купившие дом, и никогда ей не привыкнуть к тому, что они в нем хозяева. Она облизнула пересохшие губы. Соседи остались старые. И псы их так же надоедают своим лаем. И каждый уличный фонарь освещает тот же клочок земли, а за ним привычная темнота, которая к пяти-семи часам вечера совсем сгущается, и молодые парочки, возвращающиеся из кино, останавливаются в затемненных местах, где поцелуи и объятия менее заметны.

В шесть часов вечера Алина усадила Ги в скорый поезд, и теперь он уже перестал дуться. Когда же Ги наконец поймет, что эта маленькая жертва — всего два-три дня — доставляет столько радости его матери? Кто из четырех остался ей верен? О Розе и говорить нечего. Леон может просто притворяться, и все. Агата, которая прежде была готова в лепешку расшибиться... Агата! Рука Алины

схватила за сердце, словно в него вонзилась длинная игла. Глаза наполнились слезами. *Позвони же мне, дорогая! Хотя бы позвони, чтоб я голос твой услышала.* В каждом письме мать умоляет об этом Агату, но дочь все не звонит.

— Но почему же? — вырвался у нее вопль, и она дала газ.

Машина рывком подскочила, заскрежетали какие-то шестерни, покачулся свет фонарей, дома побежали назад, в ее прошлое. Алина забыла включить ближний свет и, не заметив, что приборный щиток остался темным, пересекла улицу Гамбетты и внезапно скорчилась от толчка, оглохнув от протяжного скрежета ломающегося металла.

| 11 февраля 1970

Самолет распилывал небо узкой белой полоской, холодный лазурный купол отбрасывал тень на снег, изборожденный синеватыми дорожками на склонах — они казались совсем синими под отяжелевшими ветвями елей. Драгоценный Феликс сидел верхом на спине трогательно-смешного Луи. Он подгонял отца, размахивая палочкой, чтобы направлять его к детской площадке. Одиль, которая все еще не решалась доверить своего принца заботам воспитательниц из детского сада, сейчас шла следом за ними и с сожалением посматривала на трудные горные спуски, к которым ее предназначала «бронзовая серна» — приз полученный, когда ей было пятнадцать лет. Она крикнула:

— В следующий раз, Сиуль, поставлю Феликса на лыжи!

И громко рассмеялась; отец и сын неуклюже скатились вниз, помогли друг другу подняться, почиститься и, потряхивая своими вязанными шапочками, нежно улыбаясь, поглядывали один на другого сквозь круглые, как глаза совы, темные очки.

Уже давно Одиль не дышала так вольно — короткий, но самый настоящий отдых. Погода чудная. Ничего не надо делать по дому. Ее мама, оставив в Ля-Боле отца, занятого своим магазином, приехала и занималась хозяйством, освободив от него сына с невесткой и дочку с зятем.

— А где же все другие?— спросил Луи.

— Раймон и Армель, наверно, еще в Кревкере,— сказала Одиль.

— Нет, я говорю о детях,— уточнил Луи.

— Роза в лыжной школе. А вот Ги...

Она неопределенно развела руками. С Розой было все в полном порядке, она внимательно относилась к советам своего тренера, повторяла его движения корпусом, осваивая повороты. Ги — новичок в лыжном спорте не очень способный, упорно желая догнать своего благоприобретенного кузена Жака, нередко скатывался с этих тропинок от пенька к пеньку прямо на заднем месте, но в общем-то и с ним тоже все было в порядке. Но почему у Луи напряженный вид? Слово, невольно вырвавшееся сейчас у Луи, удивило его самого: *другие*, хотя нередко так говорились и раньше, но до сих пор это не вызывало особых раздумий. *Другие* — в этом было некое отстранение. Нужно будет внимательно следить за тем, как говоришь.

— Да не терзайся,— сказала ему Одиль.— Конечно, триумфа нет, но ведь нет и провала.

...Нет провала? О, да! Конечно, она хитрит, но ее намерение вызвало у него нежную улыбку. Посмотрев на Луи и не догадавшись, отчего он нахмурен, Одиль подумала, что он все еще переживает тот сдержанный прием, который оказали его выставке женевские критики. Неважно: шесть заказов помогут вернуть затраченные средства; зато здесь светит такое славное солнышко, пять градусов ниже нуля, едва заметный парок вылетает у Одиль при дыхании, глаза у нее блестят. Бог ты мой, как временами чувствуешь, насколько лучше втроем, чем впятером! Но один из трюнов может ощущать полную радость лишь при условии, что он один из пятерых. Только об этом нельзя говорить вслух. Плод старой семьи в новой всегда будет в какой-то степени добавкой. Луи крепко обхватил Феликса. Любишь всех своих детей. Но эта любовь крепче, если жива любовь к жене.

— Уже половина двенадцатого,— предупредила Одиль.

Они скользнули к краю дороги, чтобы сбросить лыжи и сесть в вагончик, который за пять минут домчит их до площади, где то тут, то там все еще заметны серые твердые пятна земли, слегка покрытые недавним снегом. Но когда Луи, снова посадив сына верхом на плечи (несносный Феликс держит его за волосы, как за пово-

док), начинает подыматься вверх старой дорогой, ведущей в Межѐв, позади какой-то банды юнцов, направляющихся в Дом студентов, он замечает свою тещу, которая торопится к ним с телеграммой в руках. В десяти шагах от них она громко возвещает:

— Очень скверные новости из Фонтене!

— Ну конечно, она готова нам все испортить!— говорит Одиль.

Но, когда телеграмма попадает в ее руки, она краснеет от смущения.

— Это, кажется, серьезно, Луи,— говорит она.— Сейчас же в поезд. Надо отвезти к ней детей.

Луи уже торопливо уходит, еще более смущенный, чем она, оробевший, напуганный мыслями, которые пронеслись в его голове. *С мамой тяжелый несчастный случай* — что таилось в этой фразе Леона? Может, Алина умирает? Значит, конец алиментам, переговорам, нападкам? Значит, почти двадцать лет, которые тот, бывший Луи, провел с той, бывшей женой, будут стерты из памяти, избавив нового Луи от мучительных воспоминаний и предоставив ему одному управляться со своими детьми? Должен ли он идти за гробом своей бывшей жены или можно ограничиться венком? Но какую на нем сделать надпись?

Уже у двери коттеджа Луи чувствует, как у него сжимается горло, и, осторожно поставив Феликса на землю, он берет его за ручку, чтобы ощутить тепло невинного прикосновения.

| 12 февраля 1970

Он не осмелился подняться наверх; он даже не решался послать цветы, но в конце концов все же послал, однако воздержался купить розы, как делал это лет десять тому назад, отверг гвоздики, лилии и маргаритки, которые могли бы вызвать горькие толкования, а взял несколько экзотических растений, которые не числятся в списке цветов-символов. Любое внимание со стороны бывшего мужа воспринимается как намерение, и потому, чтобы отвезти детей к матери и как-то смягчить внезапное появление Розы (она пришла, значит, мои дела очень плохи), Луи отказался от услуг дедушки и бабушки,

а снова выбрал неизменного Габриеля, незанятого от двенадцати до часу, когда меньше всего риска повстречаться с кем-нибудь из семьи Ребюсто.

Внешне весьма спокойный, так как он умел себя сдерживать, внутренне очень взволнованный — *такое отличное яблоко, но с червячком внутри*, говаривал в таких случаях в его яблочном крае покойный управляющий,— Луи сновал, как челнок, то туда, то обратно; двенадцать шагов вперед, двенадцать — назад, между филодендромом на первом окне и кустиком каучуконоса на четвертом, ни на мгновение не присев в одно из удобных клубных кресел, расставленных в холле на мозаичном полу. Стеклопакетные автоматические двери беспрерывно распахивались перед посетителями, которые тут же расходились, следуя указанным стрелкам: Хирургия и Родильное отделение; примерно трое мужчин из каждых пяти шли повидать своих жен, которые во всех клиниках наряду с мужчинами пользуются услугами первого отделения, но хранят монополию во втором. Алина здесь уже восьмой раз; четыре раза она была на правой стороне, три раза приезжала на левую, в «Хирургию». Но в этот, последний раз она прибыла уже под своей девичьей фамилией, и это, кажется, удивило старых медицинских сестер. С давних пор здесь остались вежи, память о событиях, о которых нельзя вспоминать без волнения. Кажется, на этих стенах, прибитые невидимые мемориальные доски с твоим именем: «Здесь родилось четверо детей Давермель. Здесь...»

Но сейчас уже и вопроса не было о какой-нибудь новой доске: Габриель сходил с лестницы, и по его виду нельзя было заметить, что он сокрушен.

— Ну что, очень плохо?— спросил Луи, остановившись около филодендрона.

— Врач не вдавалась в подробности,— ответил Габриель.— Множественные переломы: обе ноги, руки, четыре ребра. Алина, как мумия, вся в гипсе, в повязках. Но я не очень долго тревожился. Она сразу принялась мне шептать: *Я не смогла сделать как лучше. Пусть Луи меня извинит. Ведь это принесло бы ему такую экономию. Затем добавила: Он бы смог тогда обвенчаться в церкви.* Но самое удивительное, что Алина даже не так перепугана той опасностью, которой она подверглась, как той, которая угрожала бы ей, если бы эта история произошла с тобой.

— Вся она в этом!— сказал Луи, утомленно упав в кресло.

— Ее хватило,— возобновил свой рассказ Габриэль,— чтобы расписать это самыми тщательным образом: *Предположи, что его бы убило... Ко мне вернулись бы дети, но на какие средства мы стали бы жить? Его дом оплачен только на треть, жена имеет право на половину наследства, маленький сын — на десятую долю...* Затем Алина представила себе, что было бы, если бы вследствие подобной катастрофы ты пережил Одиль. И дважды даже спросила меня: *Как ты думаешь, он бы вернулся ко мне? И добавила: Наверно, я так глупа, что согласилась бы на это!*

Луи отвернулся от Габриеля, и тот со значением произнес:

— Понимаешь ли ты, что со временем вашего развода Алина порой находится на грани безумия? Невроз покинутых — такой ведь существует. И даже столь сильный шок ничего не изменил.

— Перед детьми,— сказал Луи,— все же можно было бы...

Он не нашел определения, попробовал отвлечься, наблюдая посетителей, проходящих на цыпочках от двери к лифтам; такой тихий шаг бывает у тех, кто часто посещает церкви и больницы.

— Розу и Ги я оставил на улице,— сказал Габриэль.— Предупредил, чтоб вошли, как только их позовут.

— Это не вызовет трудностей... для Розы?— спросил Луи, немного запнувшись.

— Никаких,— ответил Габриэль.— Алина даже прошептала: *Я считаю все это просто удачей. Конечно, я не могла и предполагать, что такой трюк поможет мне свидеться с девочками, а то бы я проделала это раньше. Агата заходила ко мне вчера вечером после звонка от Розы...*

— Как!— воскликнул ошеломленный Луи.— Но ведь Роза была вместе со мной в Камблу.

— Если я правильно разобрался,— сказал Габриэль,— Розе известен номер телефона, по которому можно в срочных случаях вызвать Агату. Это она предупредила сестру, а также и Леона — ведь он был в Бове на практике.

Габриэль догадался, почему Луи оторопел. Сидя на ручке того же кресла, он наблюдал за своим другом чуть снисходительно, но с долей иронии, как это было ему

свойственно. В сущности говоря, вдовец Габриель завидовал этому разведенному мужу, еще не разобравшемуся, как вести себя со своими близкими, запутавшемуся в конфликтах, но уверенному, что он никогда не останется в одиночестве.

— Какая же скрытная! — проворчал Луи.

Он нашел нормальным — и даже достойным, — что Роза, узнав о несчастном случае, побледнела и с отчаянием проговорила: *Я не должна была так долго не ходить к маме*. Он понял также, почему она не могла есть за завтраком. Впрочем, как и Ги. Он допускал, что Роза чувствовала себя виноватой и поэтому как-то странно поглядывала на отца. Но он не мог, однако, понять зачем она с такой поспешностью помчалась в деревню, заявив, что ей якобы необходимо отменить свое участие в молодежной встрече. Уж эта ложь была ни к чему, да и тайна тоже.

— Ну что ты так расстраиваешься, — сказал ему Габриель. — Когда родители постоянно действуют в одиночку и то один, то другой повторяют: *Не говори отцу! Смотри, не проговоришь маме!* — нечего удивляться потом, почему дети стали скрытными. Твои ребята договорились между собой, что в тяжелых обстоятельствах они будут действовать во взаимном согласии, и мне это кажется весьма похвальным. Роза не обязана делиться с тобой всем лишь потому, что она уже сделала выбор — решила жить с тобой. Ты получил преимущество перед Алиной. Однако мать есть мать, вот почему Роза, не желая обидеть тебя, сочла нужным кое о чем умолчать...

Луи разозлился. Этого любителя поучений прерывать бесполезно, а он продолжает, валя все в одну кучу и утверждая, что число бед превысило всякую меру, что сама Четверка это хорошо поняла, что несчастье помогло их матери вернуть себе хотя бы часть того, что она потеряла, что есть в этом своя справедливость, что такова мудрость жизни и что Алина, естественно, не станет сразу ангелом после всего пережитого, но было бы лучше избежать... Все это были доводы разумные, но произнесенные невыносимо наставническим тоном, и у того, кто сам уже во всем этом убедился, они могли вызвать только раздражение. Наконец-то Габриель встал с кресла, подтянул брюки.

— Я пойду позову детей. Медсестра разрешила им повидаться с матерью минут десять, и я считал необходимым оставить их наедине с Алиной.

Когда Габриель вернулся, Луи опять беспокойно ходил от одного цветочного горшка к другому. Он заметил, что у Розы заплаканное лицо, и, не поняв, уязвлен он этим или нет, взял ее за руку.

— Если будешь звонить сестре, — сказал Луи, — передай ей, что я тоже не прочь ее повидать, но не собираюсь ради этого калечить себя.

НОЯБРЬ 1972

18 ноября 1972

Алина, прихрамывая, подходит к высокому трюму, с трещиной в одном углу. Как она ни пыталась храбриться, повторяя, что легче справляется со сломанными костями, чем со сломанной судьбой, что боль физическая предпочтительней, чем душевная, боли в суставах и злоба крепко сплелись в ней, и сердечные переживания и передвижение оказались одинаково мучительными. Украшенное красной розой (искусственной, ибо живые розы и особенно воспоминания, которые они вызывают в душе, — увь! — так недолговечны), ее черное шелковое платье (шелк тоже искусственный, как и роза) выразит ее суть лучше всего. Платье, ниспадающее до пола, в хорошо драпирующихся складках, просторное, прямое, как бы скрадывает ее беды: недостатки фигуры, нехватку денег, радостей и надежд; платье подчеркивает ее непримиримость, выражение лица, словно матери Гракхов — Корнелии, а эти отливающие сединой локоны живо напоминают тому, кто любит красить шевелюру, молодиться, носить яркие галстуки, что его пятьдесят тоже не за горами. Я безропотно покорилась, мсье; я (как вы говорите) смирилась; я сейчас беспомощна и полностью завишу от вас. Но и вы зависите от меня, ибо вам придется кормить меня до самой смерти; а вот в такой день, как сегодня, о котором вы наверняка никогда не вспомните, я готова в этом поклясться, который мы могли бы праздновать вместе, отмечая разом два праздника, вы всего лишь отец детей от первого брака. Пригласительный билет видели, а? *«По случаю свадьбы их детей мадам Коланж и мадам Ребюсто будут принимать гостей 18 ноября с трех часов дня в залах гостиницы «Сплендит»... Конечно, вам, мсье,*

придется кое-что заплатить по счету. Но приглашающая держава — я, мать жениха. И вдруг Алина крикнула:

— Ты когда-нибудь прекратишь драть мне чулки?

Кот номер один, серый, самый пушистый, самый мурлыка, самый резвый, отцепился от ее шуршащей юбки и помчался по комнате, чтобы на мгновение заняться бахромой от ковра, а потом не упустить случая воспользоваться открытой дверью, чтобы, совсем как Агата, удрать бродяжничать. Алина прошла несколько шагов, чтобы погладить *кота номер два*, черного, безучастного, загадочного и более близкого по чертам характера к Леону, и заодно глянула на стенные часы — большая стрелка уже перешла половину.

— Что же он там делает? — спросила Алина-вслух.

Она разглядывала фотографии Леона: вот он младенец, затем малыш, мальчишка, школьник, подросток, старшеклассник, студент, стажер и под конец тот, кто с минуты на минуту должен появиться — помощник фармацевта, в военной форме медицинской службы; все девять фотографий в ряд прикреплены кнопками к стене, а под ними по старшинству разместились серия снимков Агаты, затем — Розы, а потом уже Ги; в раннем детстве все они чем-то напоминали обоих родителей; с годами сходство определялось, и выступало что-то свое, почти не связанное ни с Луи, ни с Алиной.

— Как вы торопитесь жить, — сказала мать.

На этот раз обратила свой взгляд влево, на другой привычный ей образ, существовавший до ее детей, до нее самой, прежде ее родителей и не так давно занявший видное место в ее доме: это была фигура Христа, грубо вырезанная ножом на куске яблоневого дерева, Христа, скрючившегося, истерзанного пытками, вжавшегося в свой крест и жадно вдыхающего впалым открытым ртом — увы! — не ладан, а острый запах, оставленный кошками, смешавшийся с приторным ароматом дешевых духов их хозяйки. Он, Христос, без сомнения, знал, что хозяйка дома отнюдь не набожна и что он в опале за то, что допустил, с той поры как перестал висеть над кроватью своего покойного верного слуги мсье Ребюсто. Но он знал также, что страдание объединяет и что здесь, у этой разведенной против своей воли жены, которой не удалось снова выйти замуж, которая не нарушает закон, он служит подтверждением того, что должно было быть; он служит ей самозащитой.

Мяучит кот, наверно, он голоден, ну, уж вечером

в честь праздника его до отвала накормят фаршем. Так-то, кот, мы сейчас отправимся! Сегодня вечером мы увидим всю Четверку. И однако такой ли уж это праздник — нынешняя суббота? Вот теперь и Леон тоже будет приходить всего на час или два посидеть в этой комнате. Он будет также притворно любезен, как Агата, Роза, Ги, присядет на край стула, будет с опаской поглядывать на дверь, будто я могу встать и запереть ее на ключ. Но ведь мне не на что жаловаться. Они вернулись ко мне. Этот добрый апостол Габриель, который уговаривал меня: Больше ничего не требуй, жди, пока тебя предложат! — даже не понимал, насколько был прав. Ничего не требовать, только принимать то, что они сами, улыбаясь, предлагают, только их счастье в награду. И ни у одного из них не хватит мужества обременить себя еле волочащей ноги матерью и провести с ней две недели каникул.

Уже без двадцати. Алина не садится из боязни измять платье. До гостиницы «Сплендит» всего лишь пять минут езды. Это правда, но надо бы приехать первой, стать где-нибудь на виду, недалеко от входной двери, проявить необходимую учтивость, пожимать входящим руки. Этого требует последнее их соглашение, мучительное и неслышанно тяжелое. Алина опять ковыляет по комнате, не сводя взгляда с отцовского распятия, к которому прикреплена веточка розмарина, освященного в Шазе. О господи, что за претензии у Луи, это и представить себе немислимо: он пожелал присутствовать на свадьбе вместе с этой девкой и их ублюдком, можно ли тут не возражать? Я ее знать не желаю, боже ты мой, не хочу видеть ее; давать ей повод, да еще публично, поверить или заставлять верить других, будто я признаю ее, поскольку закон утвердил ее на моем месте, хотя Вы, господь мой, считаете это неправомочным. Вы представляете себе их обоих в церкви с их узаконенным малюткой, родившимся, однако, в гражданском браке, а стало быть, в Ваших глазах — пригульным? Я сказала «нет». Я должна была сказать «нет». Именно я — его настоящая жена. И Вы согласитесь со мной.

Уж без десяти минут. Может, надо такси вызвать? Алина набрасывает пальто. Пожалуй, лучше спуститься и ждать Леона в подъезде, это сэкономит время. Не может быть, чтоб Леон забыл обо мне, но не исключено, что таким образом он хочет выразить свое недовольство. Кто бы мог в это поверить? Леон, терпеливый Леон, вежливо выслушает, что ему говоришь, но прервет тоже вежливо

и все делает по-своему. И это письмо, которое он прислал, дышит холодком: «Извини, но, чтоб избежать возможных ссор и инцидентов, мы с Соланж решили повенчаться только при свидетелях. Это уже сделано. Через неделю устраиваем небольшой прием для семьи и близких друзей. Я предлагаю тебе прийти к нам от трех до пяти. Одиль зайдет не раньше чем от пяти до шести. Ты должна понять, что я не мог огорчить отца отказом после того, как он снял нам квартирку и сказал, что до моей демобилизации он будет выдавать Соланж следующее мне пособие. Не будем больше осложнять себе жизнь. Мне и так было очень трудно успокоить родителей Соланж».

Алина взялась за дверную ручку. Стало быть, вести себя с достоинством — значит «осложнять», и верх берут отцовские деньги. А что побудило Леона просить помощи, почему такая поспешная свадьба? Леон так сдержан, что никому не удастся выведать, была ли Соланж его любовницей.

Алина угрюмо толкает дверь, и вдруг лицо ее проясняется. Леон уже тут, он пришел вовремя, вдохнул возникший сквознячок, но промолчал о том, что в доме пахнут кошками, снял свое кепи с зеленой бархотной ленточкой, поцеловал мать, и она почувствовала его шершавую щеку.

— Ты,— сказала Алина,— в точности как твой отец. Щетинка растет так быстро, что после полудня уже надо заново бриться.

— Пошли!— поторопил ее Леон, удивленный этой ссылкой на отца.

Внимательный сын, он все время предупредительно открывал перед матерью двери лифта, двери подъезда, дверцу автомобиля и наконец толкнул вращающуюся дверь в гостинице «Сплендид», каждый раз уступая Алине дорогу, пропуская вперед, подерживая под руку. Однако все это на него так мало похоже. Чего он побаивается? Скандала? Или только вопросов, которые она может задать? Откуда, например, этот серый «фиат», кто заплатил за него? Затянутый в мундир и оттого непривычный, он сразу становится самим собой, как только начинает говорить: *Подарок родителей*,— коротко бросил он. Что касается подарков, он знает, что мать его ничем не может порадовать: у нее нет ни гроша; и если бы Луи проявил деликатность и предложил Алине для этой цели какую-нибудь небольшую сумму, то Леону все равно пришлось бы благодарить отца.

— У тебя все в порядке?— спросил сын.

Алина оперлась своей сведенной рукой на крепкие круглые бицепсы этого «сбитого» ею парня, она чувствует усилия, которые он прилагает, чтобы заботливо поддержать ее, замедлив шаг, чтобы выглядеть незаменимым, чтобы войти в зал как положено. Она ведь быстро идти не может, она почти калека; и каждый это поймет, не правда ли? У нее такое незавидное положение, что ее надо жалеть, а не осуждать за скверный характер; вот она, моя несчастная мать, непреклонная, внушающая уважение. И какой-то фрак склонился в поклоне, затем еще один, а третий, вздернув подбородок над белым галстуком, проводил мадам в зал, где собралось уже много гостей. Что-то мадам Колонж не видно у входа, она где-то среди приглашенных, которые уступают дорогу новой гостье — Алине. А вот в центре комнаты и несколько кресел — без сомнения, они предназначены увечным и старикам. Соланж в розовом платье, таком пышном, что, если бы что-то и было, все равно не заметишь, уже спешит к Алине.

— Садитесь, мама, прошу вас. Невестка целует ее и пристраивается слева возле кресла Алины, так как справа стоит ее молодой муж. В легком тумане — виной этому, возможно табачный дым — к Алине приближаются другие длинные платья: голубые, цвета соломы, зеленые, жемчужно-серые, из парчи, отливающей золотом, вперемжку с полосатыми брюками и темными мужскими костюмами. Вот Агата, она поцеловала мать, она пришла сюда одна, шепчет: *Здравствуй, дорогая мама!*— и проходит дальше. Поцелуй Розы. Вот Ги — он так вытянулся! Затем Анетта, Жинетта, Анри Фиу. Племянники. Габриэль, Эмма, Флора.

— Как обидно, что не могла приехать бабушка Ребюсто,— говорит чей-то голос.— Она ведь в постели, у нее опоясывающий лишай.

Отработанные, как в балете, движения, и мало-помалу вся семья собирается у кресла Алины; к ней уже подходят один за другим и остальные гости, на этот раз без всяких поцелуев, но каждый кланяется и протягивает руку — с маникюром или без него. А Соланж, которая, видимо, и была подлинным организатором приема (или же выполняла миссию, порученную матерью, которая проходит мимо, улыбающаяся, немного поблекшая и, похоже, своим примером призывает Алину к такой же сдержанности),— Соланж представляла Алине присутствующих. Это

семья Колонж: отец — его Алина до сих пор ни разу не встречала, — тетушка, двое дядей — они близнецы, — двоюродная сестра, сводная сестра, дочка отца от первого брака; нет, он не разводился, он овдовел. Кто-то сказал однажды в клубе «Агарь»: *Вдовство иной раз кончается тем же, но по крайней мере бывшая супруга об этом никогда не узнает!* Вот еще члены семьи Колонж, затем пошли уже Бельвенки — двоюродные братья со стороны матери, сохранившие традиции Бретани даже в костюме. И наконец, вот они трое — самые главные, хотя и стараются держаться в тени, здороваются последними; эти трое когда-то были ее свекром, свекровью и мужем, так любезны, что невольно думается: правда ли, что прекратилось это родство.

— Нет-нет, не вставайте, Алина! — говорит ей свекровь, осторожно похлопывая своими потными ладонями сухую протянутую ей руку Алины.

— Счастлив убедиться, что вы совсем оправились, — говорит свекор, не глядя на нее, и его седая как лунь голова склоняется перед седеющими локонами Алины, они кивают друг другу в память о многих прошедших годах.

— Ну вот, один уже пристроен! — вздыхает Луи, благоухая незнакомым одеколоном.

Благодаря краске для волос фирмы «Ореаль» Луи выглядит лет на десять моложе своего обычного возраста, в особенности в сравнении с Алиной, которой с виду лет на десять больше и надо задуматься, дает ли в этом случае $10+10=20$. Пристроен! Пристроен... Неудачное словцо! Искусство выйти в дамки в том и состоит, чтобы прорваться через все поле и не дать захватить себя. Кто же была та экстравагантная дама, одна из редких, довольных жизнью женщин, которая все повторяла в клубе «Агарь»: *Брак — в перспективе тот же развод, не так ли?* Но вот этот брак должен быть удачным — ведь Леон, сын своей матери, может навсегда остаться верным мужем. Алина бросает несколько слов Луи, который останавливается около нее, но не знает, что сказать.

— Вы хорошо сделали, — говорит она, — что не пригласили сюда ни судей, ни адвокатов.

Но так как Луи, который больше всего боится какого-нибудь скандала, смотрит на нее с беспокойством, она добавляет:

— Кстати, знаешь, сегодня стукнуло четверть века, как раз четверть. Если бы не этот антракт, то нам пришлось бы отмечать серебряную свадьбу.

Алина только взглянула в лицо собеседника, и у нее поднялось настроение; Леон поспешно перебивает мать и спрашивает из-за спины:

— Не возражаешь, мама, мы хотим все собраться около тебя, чтобы сфотографироваться на память.

Они уже пристроились вокруг, и фотограф приготовился, показывает жестом, чтобы встали поближе к другу другу, чтобы сдвинули кресла на переднем плане, в которых торжественно восседают предки. Луи остается стоять, но несколько отстраняется. Вот оно, восстановленное семейство — все в сборе, все как было, словно ничего не произошло. Если бы этому поверить, если бы встать, если бы чудом окрепли ноги, если можно было благословить всех и провозгласить: *Это совсем не вымысел, все тут чистая правда: теперь мы будем все вместе.* Но фотография, отпечатанная большим форматом, чтобы вставить в рамку, и форматом открыток для альбома, останется всего лишь фотографией, предназначенной проиллюстрировать важную для этого мысль: *Мы вовсе не дети распавшейся семьи.* Фотографией, которую потом, пренебрегая всем остальным, будут предъявлять как доказательство того, что *все происшедшее в счет не идет, все это было не так уж ужасно — ведь со временем многое улеглось.* Доказательство! Сами себя успокаивают, выставляют напоказ согласие, стараются изо всех сил. Вспышка, одна, вторая, третья, четвертая, освещает тридцать, если не сорок, хорошо причесанных людей — со взглядами, полными оптимизма, но горестно поджатыми губами. Чуткому уху и шепота достаточно. Слышится:

— Сегодня последняя проверка — и конец всем этим историям.

Намек старшим. Слышится:

— Держать аптеку можно с двадцати пяти лет. И кроме того, требуются деньжата, чтоб купить ее.

— Если остальные не будут очень обременительны, я тебе помогу...

Намек остальным, что они не должны быть слишком обременительны. Слышится:

— Да ну, бабушка, у вас только свадьбы на уме, а мы...

Ответ на традиционный вопрос, уже дважды поставленный. Слышится:

— Сначала надо приобрести специальность! Для деушки — это свобода.

Пример заслуживает внимания. Домашним насекомым

не по душе пенье петуха. Они долго будут относиться к этому с подозрением. А вот возьмите Леона, у него ничегошеньки нет, женился он, подтвердив в брачном контракте, что имущество супругов остается раздельным, но как знать, ведь может случиться, что аптеку запишут на его имя! Тем временем собравшиеся вокруг Алины расходятся, делятся на группки. Уже ничто не напоминает о недавнем единстве вокруг кресла — просто сосуществование. Родство — оно берет свое! — восстанавливается. Алина находится как бы в центре клевера с четырьмя листиками — Давермель, Ребюсто, Колонж, Бельвенек, — четыре листика не всегда приносят счастье, хоть и служат символом счастливой семьи. Каждый, однако, старается, как может, позаботиться о той, что сидит в кресле. Мадам Колонж замечает, что таков — увы! — закон: дети покидают нас; и глядя на юношу в военном мундире, уводящем куда-то розовое платье, она не признается, что сие множественное число для нее все еще выражается, как прежде, в единственном. Мадам Давермель, которая пока еще не успела продумать, как ей обращаться к Алине: *Алина, мадам* или *моя дорогая*, сменяет мадам Колонж и запеваает ту же песню, забыв, что после ухода сына из дому у нее остался еще муж — тот, кто делил с ней первые дни супружеской жизни и разделит последние дни, тот кто обратил брак в привычку. На смену является сестра Жинетта, сопровождаемая сестрой Анеттой: Жинетта вслух размышляет, почему бы сестре Анетте, которая живет одна, их матери — бабушке Ребюсто, которая тоже теперь одна, и сестре Алине, находящейся в том же положении, не соединиться всем вместе в этой квартире, тесной для пятерых, но слишком просторной для одной Алины и вполне подходящей для троих; к тому же почему бы не соединить небольшие доходы... Но ее мудрый замысел встречен недовольными минами; квартира может время от времени привлекать кого-нибудь из потомков, а здоровая Анетта без всякого восторга относится к идее стать сестрой милосердия в подобном трио, где рядом с вдовой-матерью и покинутой мужем сестрой она окажется в роле брошенной для ровного счета — словом, еще одним вариантом одинокой женщины.

Они отошли, подошел Луи. За ним Роза, Ги, Леон, Агата окружили черное платье с красной розой, опять утрированно любезные, но такие далекие от того, что они делают, думают, говорят, о чем умалчивают! Кажется, будто разыгрывают чужими, не свойственными им голоса-

ми финальный эпизод в фильме, где тех, кто был юн, заменили актерами взрослыми, совсем на них не похожими. И тем не менее главное, что мы сейчас вшестером! Нас шестеро! Какие тяжкие, но сладостные мгновения!...

— Дорогие мои,— говорит Алина,— у меня очень болит голова. Не поехать ли домой?

— А что, уже пять?— говорит Луи не моргнув.

В ответ на встревоженные улыбки следует предупредительный взгляд отца. Начинаются прощальные поцелуи. Да, уже пять — часы безжалостны. Вот из четырех листиков клевера осталось всего лишь три; сестры Ребюсто оставляют где придется свои рюмки и, дожевывая пирожные, направляются к двери. Кортёж Давермелей, наспех произносимые напоследок слова: *Берегите себя, Алина. Позволю вечером. Завтра заеду*,— и так до самого коридора, где Габриель берет Алину под руку, а Эмма властно поддерживает ее с другой стороны. Ей кивают, дружески подмигивают, машут руками и оказывают всякие прочие мелкие знаки внимания, принятые при прощании. Алина торопливо увлекает за собой своих спутников, а длинные платья и тонкие каблучки возвращаются обратно в зал.

Но пройдя несколько шагов, Алина останавливается. Внизу вращается входная дверь и пропускает маленькие бархатные штанишки ярко-синего цвета, а в них — веселый мальчуган лет четырех; потом всплывает платье из того же бархата, которое обтягивает ее мать, шею ее украшают бусы из ляпис-лазури. Встреча неминуема. Видно, принятая предосторожность где-то подвела. Мальчик дважды пробегает во вращающейся двери.

— Фели!— одергивает его Одиль.

Она взяла сына за руку, проскользнула мимо Алины, сделала вид, что занята мальчиком.

— Она все еще хороша собой!— сказала Алина, отступившись от прежних утверждений, и обернулась, чтобы лучше рассмотреть вошедших.

Единственное злое словечко вырвалось у нее — это *все еще*. Алина увидела, как те, кто был в зале, двинулись навстречу Одиле — не порывисто, но достаточно заметно. Конечно, *они* не станут фотографироваться с ней. *Они* не окажут ей подчеркнутого уважения. Но Четверка и их отец уже обступили малыша, а дедушка, бабушка и сводная сестра умильно ему улыбаются; и его мать расплылась в улыбке, склонилась над ним, вздрагивает

от радости и небрежным жестом отбрасывает назад черную волну волос, падающих ей на лоб. Она была одна, потом их стало двое — вот и положено начало семьи. Трое, четверо, пятеро, видите, как растет новая семья.

— Пошли,— умоляет Габриель Алину.— Я хочу тебя проводить.

Началось все как праздник, а конец грустный. В странах Востока, когда берет верх любимая жена, *старшая жена* все же остается жить во дворце. Да что вы, к чему это! Здесь *старшая жена* должна уйти в отставку. Алина покорно дает увести себя к машине. Она медленно идет, прихрамывая, сопровождаемая своими ангелами-хранителями: миролюбивым — это Габриель и воинственным — это Эмма, хотя оба они влачат по жизни поломанные крылья. А сзади семенит Флора. Анетта и Жинетта ожидают сестру на тротуаре, предлагают ей свою помощь. Нет, это уж слишком! Чрезмерно! У дверей стоит такси, его вызвал для себя Анри Фиу. Но Алина внезапно вырывается, припадая на своих искривленных ногах, и лихорадочным рывком открыв дверцу машины, захлопывает ее за собой.

— Оставьте ее в покое!— говорит Габриель.— Разве вы не видите, что ей надо побыть одной?

Одной, именно так. Подальше от этого сочувствия, которое только обостряет ее переживания, надо побыть в одиночестве — это будет разумно. Убогий калека отлично знает, на какой ноге ему нельзя танцевать. Шофер медленно отъезжает и, когда она называет адрес, начинает ворчать: к чему брать машину, когда это тут, рядом. Что за чушь! Ведь иным этот путь кажется таким длинным! Оборваны брачные узы. Оборваны одна за другой и те, что связывали их в разводе. И ей остается лишь длинная вереница дней и долгих ночей, они кажутся еще бесконечнее, когда в жизни наступает такой перелом. *Тебе платят пособие, ты никого не содержишь, дела тебя не обременяют, можешь читать, путешествовать, ходить в кино, в свой клуб — ты ведь свободна! А у той другой, теперь, кроме своего, еще двое твоих детей, она пригвождена к дому,* говорила недавно Жинетта, желая приободрить сестру. Каково! Меня освободили — освободили, как квартиру,— о чем тут толковать? Что же касается пригвожденных, моя дорогая сестрица, то много ли ты знала таких, кого собственные дети пригвоздили бы к кресту?

Такси подошло к дому. Там, наверху, Алину уже ожидают кошки с узкими, как шелки, глазами: подняв

хвосты, они пойдут за хозяйкой, когда она заковыляет на балкон, чтобы обозреть улицу, или когда примостится у телефона, чтобы услышать человеческие голоса. Все будет полно ожидания, слабых надежд и случайных радостей, боль станет затихать, как убиваемый в зубе нерв. Теперь настанет главная пора: немощи, невыносимого покоя, который сменится уже покоем вечным. Алина, друг мой, брак — всегда неудача, потому что кто-то из двоих должен умереть. Развод — это такой же конец, только более скорый. Друг мой, Алина, придет день, когда от всего этого ничего уже не останется; и твои правнуки даже не будут толком знать, от какой женщины ведут они свой род,— заметят лишь, что на их генеалогическом дереве есть раздвоенная ветвь. Но до всего этого еще далеко, а пока без борьбы и без страстей, без радости и без цели тебе остается тихо доживать свой век и медленно-медленно угасать.

Тригэр, 1974